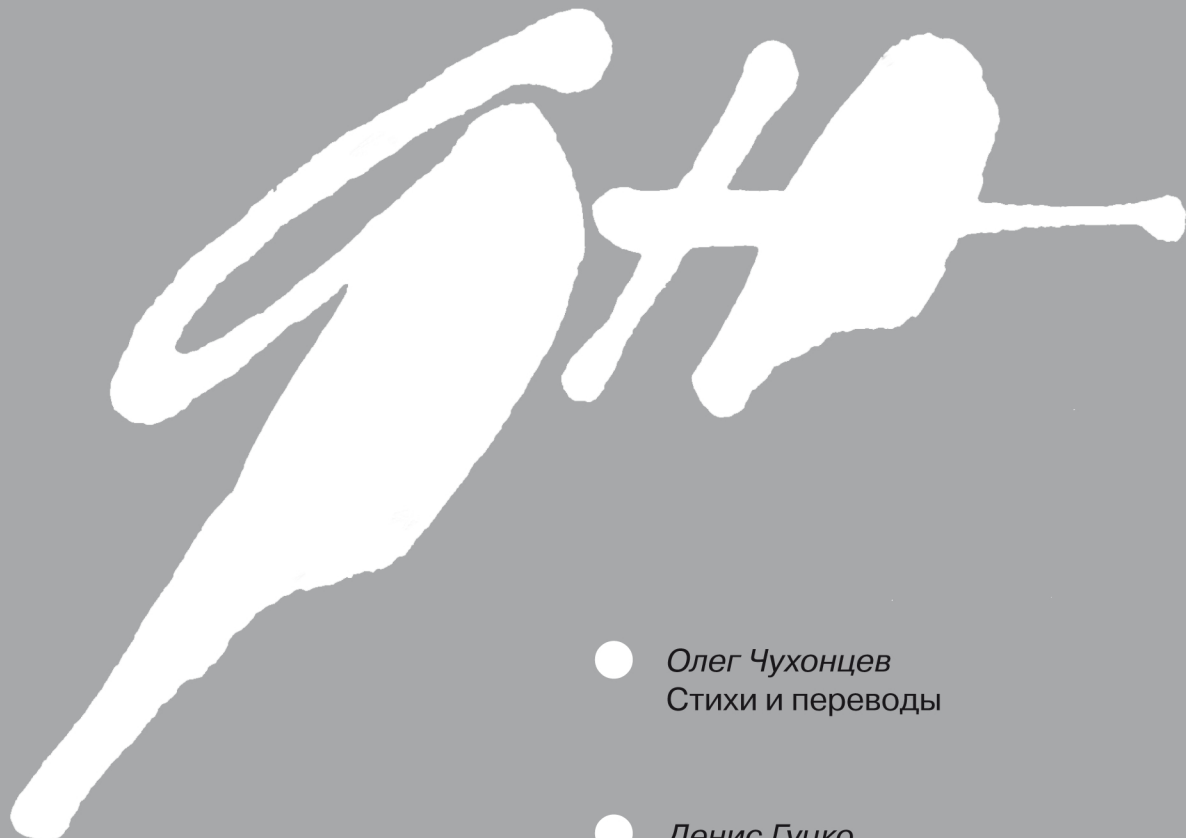


ДРУЖБА НАРОДОВ



ДРУЖБА НАРОДОВ 1/2014



1'2014

- *Олег Чухонцев*
Стихи и переводы
- *Денис Гуцко*
Палата «ноль»
Повесть
- *Имант Аузинь*
Из ярких утр гербарий
Стихи
- *Гасан Гусейнов*
Русский язык
в современном мире
- *Бомжи*
на стройке литпамятников
Заочный «круглый стол»: итоги 2013 г.

**Независимый
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13 стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzhba/
LIVEJOURNAL: http://drujba-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.
Отпечатано в типографии ОАО
«Можайский полиграфический
комбинат», 143200, Московская
область,
г. Можайск, ул. Мира, 93;
тел.: (496)20-685; (495)745-84-28;
факс: (49638)21-682;
www.oaompk.ru, e-mail:
oaompk@oaompk.ru

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 21.11.2013.
Подписано в печать 22.12.2013.
Формат бумаги 70 x 108 1/16
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отг. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 3987. Цена свободная.

Дружба народов 1'2014

Редакционная коллегия

Главный редактор

Александр
ЭБАНОИДЗЕ
Лев
АННИНСКИЙ
Леонид
БАХНОВ
Ирина
ДОРОНИНА
Наталья
ИГРУНОВА
Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ

Ответственный секретарь Сергей
НАДЕЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Резо
ГАБРИАДЗЕ
Алла
ГЕРБЕР
Денис
ГУЦКО
Иван
ДЗЮБА
Александр
КЛЯЧИН
Валентин
КУРБАТОВ
Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА
Захар
ПРИЛЕПИН
Кнут
СКУЕНИЕКС
Сергей
ФИЛАТОВ
Ренат
ХАРИС
Левон
ХЕЧОЯН
Вячеслав
ШАПОВАЛОВ
ЭЛЬЧИН
Леонид
ЮЗЕФОВИЧ

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Инна КАБЫШ. Пусть меня не ждут. Стихи	3
Денис ГУЦКО. Палата «ноль». Повесть	7
Имант АУЗИНЬ. Из ярких утр гербарий. Стихи. С латышского. Перевод Ирины Цыгальской	27
Анастасия ЕРМАКОВА. Пластин. Роман	31
Юна ЛЕТЦ. Два рассказа	107
Илья ФАЛИКОВ. Слушай классику — лес кипарисовый. Стихи	115
Лера ТИХОНОВА. Рассказы	120
Даур НАЧКЕБИЯ. Послание. Рассказы. С абхазского. Перевод автора	133
Евгений СОЛОНОВИЧ. ...летает Франческа. Стихи	149
Керен КЛИМОВСКИ. Отряд по спасению улиток. Рассказ	152

Золотые страницы «ДН»

Олег ЧУХОНЦЕВ. Стихи	164
Паруйр СЕВАК. Стихи. С армянского. Перевод Олега Чухонцева	169
Ояр ВАЦИЕТИС. Стихи. С латышского. Перевод Олега Чухонцева	172
Дмитрий БЫКОВ. Знак беды и знак надежды	174

Публицистика

Юрий КАГРАМАНОВ. На подходе ко Второму Просвещению	176
СТРАНА РОССИЯ Вячеслав ЗАПОЛЬСКИХ. Покатая глина	193

Нация и мир

Гасан ГУСЕЙНОВ. Русский язык в современном мире	207
Эмиль ПАИН. Метаморфозы политической напряженности в России. От политических митингов к этническим бунтам	220

Критика

Бомжи на стройке литпамятников. Специфика момента. Заочный «круглый стол»: итоги 2013 г.	231
--	-----

Культурная хроника

ГАЛЕРЕЯ ТАТЬЯНЫ НАЗАРЕНКО Павел КУЗНЕЦОВ. Юдифь и Олоферн: кроваво-красный цвет	247
К нашей вклейке: Татьяна НАЗАРЕНКО — живопись	

Эхо

Простор в наследие. Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ	250
---	-----

	ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ, ФОНДА «РУССКИЙ МИР», МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ (МФГС)
---	--

Инна Кабыш

Пусть меня не ждут

* * *

Я принимала её в пионеры,
эту девочку, ставшую тёткой.
Это было до нашей эры,
за чугунной большой решёткой.

И она повторяла клятву,
и звучали слова красиво
в мире без Украин и Латвий,
и, наверное, без России.

И трубили в трубу горнисты,
и горело на солнце знамя,
и не знали, хрупки, лучисты,
мы,
что сделает время с нами.

* * *

Я-то просила сына:
так —
ребенка,
дитя.
Глядь,
а уж он мужчина:
Бог даёт не шутя.

Вот он уже выше,
вот уж умней он:
днище ногой вышиб
в бочке —
и вышел вон.

Вот уже уплывает,
вот уже далеко —
жизнь моя убывает,
как в груди молоко.

...Долго молюсь Богу —
что остаётся мне? —
выйдя вон на дорогу
в вечном том шушуне.

* * *

А женщине не зря даётся тело,
а чтобы делать из него людей.
У женщин —
кто бы спорил! —
много дела:
хотя бы остановка лошадей.
Ей важные даются порученья,
ей могут дать высокий самый чин.
Но главное её предназначенье —
и день и ночь бояться за мужчин.

* * *

Здравствуй, мамочка, и прощай,
У меня всего пять минут:
Как там твой протестантский рай?
Передай пусть меня не ждут.

Здравствуй, папочка, и прощай,
У меня почти нет минут:
Как там твой комсомольский рай?
Передай, пусть меня не ждут.

А скромного я не ем
в дни поста уже много лет.
Я не знаю, кто будет с кем.
Я не верю, что Бога нет.

* * *

Памяти Паши Пухова

Не хочу жить на этом свете,
где резонам всем вопреки
раньше нас умирают дети,
умирают ученики.

Пусто место отныне свято.
Я спрошу без тебя — Москву:
по какому такому благу
я, к примеру, ещё живу?

Я спрошу без тебя — Россию,
хоть и знаю её ответ,
эту клушу, эту разиню,
для кого ты что есть, что нет.

Я спрошу, наконец, у Бога:
Он ответчик за всё один!
Впрочем, как с него спросишь много,
если умер у Бога сын...

* * *

Я всё меньше люблю жить
и всё больше люблю спать,
потому что во сне нить
всё цела — и жива мать.
Потому что только во сне
иногда навещаешь ты.
Не грущу о прошедшем дне,
а сильнее жду темноты.
И мне снится моя страна —
вся довольство и красота,
и чем глубже сон, тем она,
словно в детстве,
родная,
та...

Всё спала б я ночной порой
и дневною (хоть это дичь).
И любимый теперь герой
мой —

Обломов.

Илья Ильич.

И покуда горит звезда,
хоть зима моя всё лютей...
А вы знаете? Вы всегда
мне мешали любить людей.

Что мне вы — если годы уходят,
Русь ушла и Советский Союз,
и детей крысоловы уведат...
Все идут —
я одна остаюсь!

Денис Гуцко

Палата «ноль»

Повесть

— Если не боишься крапивы, — кричит медсестра Люда, водрузив на подоконник обтянутые белым халатом телеса. — То иди, вон. За угол туда. По тропинке.

Исчезает. Но не успевает Паншин разглядеть, следует ли ему бояться крапивы, Люда появляется на балконе.

— Стой там лучше. Щас отведу, спущусь. А то влезешь.

Смешно сказать. Готовясь к волонтерскому дебюту, Паншин немало времени потратил, решая, во что одеться. Чтобы не выглядеть пижоном. В шкафу, как назло, не обнаружилось ни одной поношенной вещи, а новые были сплошь из дорогих магазинов. Разъехавшись с Мариной, Паншин и гардероб свой обновил радикально. Последовал совету в подвернувшемся «глянце», устроил шопинг для снятия стресса. И думать не думал, что буквально через месяц ввяжется в такое. В общем, когда дошло до сборов, выбор костюма оказался задачей не из простых. Паншин опасался, что накопленные им брендовые шмотки, отрабатывающие ценник каждым стежком, каждой пуговкой, зададут между ним и больничным персоналом ненужную дистанцию. Помешают погрузиться в волонтерство по-настоящему. Хоть в секонд-хенд беги. Подумал-подумал, и решил не отвлекаться на мелочи. Так оно и вышло: зря беспокоился. Приняли его более чем по-свойски.

— Идем-идем. Мне еще карантин колоть. Седни ваще одна на два этажа.

Паншин расправляет выданный ему халат — кажется, чистый — набрасывает на плечи и отправляется следом за Людой, которая ведет его в сторону, противоположную от крапивных зарослей. За больничной высотой горизонт распаивается. Над низеньким забором светлеет лоскут воды — водохранилище. На плешивом газоне шумная воробьиная свара. Санитар везет кого-то в расположенный на отшибе морг. Каталка дребезжит и рыскает из стороны в сторону по просевшим вразнобой плитам. Колеса то и дело застревают в щелях,

Денис Гуцко — постоянный автор «ДН». Среднюю школу окончил в Тбилиси. В 1987 году переехал в Ростов-на-Дону, где окончил геолого-географический факультет Ростовского государственного университета по специальности «Экология и прикладная геохимия». Служил в Советской армии. Лауреат премии «Букер — Открытая Россия» (2005 г., за роман «Без пути-следа», впервые также опубликованный в «ДН»). Живет в Ростове-на-Дону.

Роман «Бета-самец» («ДН», № 10—11, 2012 г.) вошел в шорт-лист премии «Русский Букер»—2013.

санитар матерится уныло. То навалится на ручки, наклонившись к укрытой синим казенным одеялом голове, то дернет вверх, привстав на цыпочки. Окна морга посверкивают навстречу каталке: кто там, кого везешь?

— Тебя откуда прислали-то? — интересуется Люда.

— Прислали? — смущается Паншин. — Так я сам... добровольно.

— Ну, да, да, — не оборачиваясь, она машет рукой. — Так откуда?

— Из «Добрых людей».

— Вон туда нам. В двухэтажку, — Люда указывает на новенький флигель, втиснувшийся между больницей и поликлиникой.

Перед флигелем раскидан строительный мусор: бумажные мешки, обрезки гипсокартона, кирпич. Паншин с Людой входят внутрь, разминувшись в дверях с санитаром, чистеньким сухопарым старичком, прячущим взгляд под кустистые брови.

В коридоре, на каталке с торчащей у изголовья штангой для капельницы, лежит, высунув из-под простыни уродливые ороговевшие ступни, безразмерно-бесформенная бабка. Из открытой двери в дальнем конце пристройки доползает тяжелый, тоскливый запах пищеблока.

— Вот, значит, палата, — Люда кивает на ближайшую дверь. — Остальные... Ну, сам смотри. Завтра утром, вроде как, тоже придет кто-то от вас. А так, смена по больнице до девяти, если что.

На двери красуется золотистый пластмассовый «нолик». Следующая палата — под номером «один».

— Да собирались сначала под хознужды взять, — объясняет Люда странную нумерацию. — А комиссия ни в какую. Не для того, мол, строили, то-се. Статистика, квадратные метры. А мы номера-то не стали перевешивать, добавили вот... И получилось, — она кивает на «нолик». — Больные некоторые боятся сюда. Представляешь?! Придумали, — стучит пальцем себе по лбу. — Суеверие. Мол, ноль-то не к добру. Вот ведь... Темнота. Что возьмешь... Ну, вот. Основной фронт работы. Там из реанимации лежат. А, да! Женщины, — по-птичьи, низко и резко, скинув голову на бок, Люда заглядывает Паншину в лицо. — Тебя ж предупреждали? Женская палата. Мужики только легкие здесь. Мужиков тяжелых мы в корпусе ложим.

Он знал, разумеется. Предупреждали.

В кардиологическом отделении первой городской больницы ввели в эксплуатацию пристройку на пятьдесят коек, а штат набрать не успели. Медсестрам приходилось бегать сюда из главного корпуса. Волонтеры из «Добрых людей» вызвались помочь, и в качестве эксперимента их допустили пока во флигель, к послереанимационным пациенткам. Дополнительную эту трудность — неподготовленному человеку да в женскую палату — Паншин воспринял с некоторым даже задором.

«Боевое крещение», — сказал себе. И добавил, как нетрудно догадаться, поговорку про груздь и кузов.

— Вот вам, девчоночки, сиделка! — кричит Люда, вводя его в палату.

Девчоночкам — их в палате четверо — от пятидесяти до семидесяти на вид. Вежливо, стараясь ни на кого не пялиться, он осматривает палату. В дальнем углу дородная тетка в одной сорочке. Лекарства и посуда на тумбочках, тугая седая коса, стоптанные тапки, вскрытая упаковка памперсов.

— Тю! — удивляется тетка в неглиже; она сидит на краю кровати, в руке тонометр. — А че мужика-то?

Прикрыться, впрочем, не пытается, отвернуться Паншина не просит. И вообще, в вопросе слышится, скорее, досужее любопытство, чем недовольство.

— Так! Кого прислали, того прислали. Порассуждай мне! Это ж не просто так, это ж специально люди помочь вам. И нам. Это ж благотворительность. Вот ведь тундра!

Пациентки нулевой палаты пожимают плечами и вяло, как бы размышляя вслух, высказываются в том смысле, что лучше уж мужчина, чем совсем никого, а то не дождешься тут, на отшибе, осмотра ждать по полдня, пока кто-нибудь явится, и вообще не дай бог что, не докричишься...

— Так! — Люда прерывает коллективное ворчание. — Выписываться, видать, пора. Есть силы трендеть, значит здоровые. Пошла, — бросает она Паншину, разворачиваясь к двери. — Разберешься.

Медсестра Люда ушла, Паншин остался один на один с больными, за которыми ему предстояло ухаживать весь день, возможно, всю ночь, и еще немножко утром. Настроение было отменное. Чувствовал себя как матерый спортсмен перед началом турнира, в котором он явный фаворит. На вот, принимай — неприбранный всамделишный мир, голая реальность — а ты думал, она какая? Жизнь. Шершавый край ее. Потрогай, потрогай. Чувствуешь? Вот оно, вот такое. Ну как? Бодрит? Отрезвляет? Это тебе не с Мариной по фитнесам и клубешникам.

— Меня Леша зовут, — представился Паншин, и отметил про себя не без удовольствия: держится уверенно, хорошо держится. — Я волонтер. Пришел, чтобы...

— Ты, наверно, там, в коридорчике, лучше сядь, — предложила крашенная в ядреный рыжий цвет старушка, лежавшая слева от окна.

— О! На черта ж ему в коридоре? — откликнулась тетка в сорочке. — Там же жестко, на стуле. Потом, вам же первой вот-вот понадобится. И че, орать? Пусть лучше здесь, — кивнула на свободную кровать возле двери.

Между пациентками произошел спор — где лучше разместить волонтера, в палате или в коридоре. Тетка в сорочке настаивала, что в коридоре жесткие стулья. В то время как рыжая старушка уверяла, что нечего мужику среди баб. Паншин стоял посреди палаты, дожидаясь вердикта.

— Да чего он такого насмотрится? — под бретелькой дернулось мясистое плечо. — Он же сюда работать пришел!

— Какая работа еще? Им не платят, — качнулась рыжая с проседью шевелюра. — Это ж волонтеры.

— Леша, не знаешь, что на завтрак сегодня? — с койки напротив спорщиц сипло и вяло, с выражением то ли боли, то ли отвращения на бледном лице, поинтересовалась самая молодая на вид пациентка.

Спор тут же угас. Даже Седая Коса бросила копать у себя в тумбочке, прислушалась.

— Вот и Зоя проголодалась, — задумчиво глядя в потолок, сказала рыжая старушка.

— Выясню сей момент, — и Паншин отправился в столовую.

Наверное, это можно было назвать модным. В узких кругах, разумеется. Паншин, однако, совсем не думал в подобном ракурсе. Да хоть бы и так. Модными, бывает, становятся и самые правильные вещи. Здоровое питание, к примеру. Спорт. Чтение — это уж в самых узких кругах. Опять же, церковь. Паншин пока присматривался. Захаживал иногда. Но с чувством. Да мало ли что модно. Все определяется твоим отношением. Можно подходить формально — можно проникать вглубь. Доискиваться до настоящего. В конце концов, мир состоит из подлинников и подделок. Полтора года с Мариной открыли ему эту правду неопровержимо. Если сам ты подлинник, то тебя не могут окружать подделки. Никогда не будут окружать тебя подделки. Никогда. Не удержатся подделки возле тебя, будут выявлены рано или поздно и отправлены на помойку. А быть настоящим, между прочим, несложно. Достаточно держаться вечного, веками проверенного. Благотворительность и милосердие — ценности не последнего порядка. И не мельчи, не своди все к мышинным нескольким кликам, к перечислению кучки денег на какой-нибудь счет под замусоленной шапкой «Нужна ваша помощь». Некоторые и вовсе заводят себе банковские карты специальные: с каждой покупки отчисляется на благотворительность. Толкаешь из гипермаркета тележку — и тело есть, чем подкормить, и совесть уже полакомил. Нет, ты вот так давай, вот так попробуй — в самом что ни на есть реале, в женской послереанимационной палате. Вживую. А? Кукле Марине никогда ни за что не решиться. И у друзей ее кишка тонка.

Но началось задолго до Марины, конечно. И дело совсем не в ней.

Владелец двух торговых точек на авторынке — шины, автохимия — Паншин жил приемлемо. Но накатывала временами тревога необъяснимая, странное какое-то недовольство — всем сразу. Вокруг, внутри. Ни с того ни с сего. На ровном, что называется, месте. Ворчливый внутренний голос бубнил пренеприятнейшую какую-то абракадабру — только и понятно, что что-то обидное, оскорбительное даже... но что? Поневоле прислушиваешься, пытаешься вникнуть... Ааа, да заглохни ты! Бред собачий!

Случалось нечасто, но нервы портило основательно.

Чего-то не хватало. Чего-то вечного. Такого, что разрывало бы банальный круг «деньги-товар-деньги». Пространства не хватает, понял Паншин. Для души. Где ей дышать и действовать.

Стал наткаться в Сети на тему, зацепился: подарки детдомовцам и малоимущим. Не вообще абстрактным детдомовцам-и-малоимущим. А можно выбрать. Персонально. И персонально от себя подарить. Хоть и через посредников, а все же элемент личностный налицо. Все сделал достойно: по знакомым не трезвонил, не выпячивался. Выбрал одинокую многодетную мамашу — она просила коляску со сменными люльками — и сироту-подростка, мечтавшего получить ноутбук на день рождения. Купил подарки, приложив сверху по коробке конфет. Списался с Ритой (Ri_Ta_Ru), координатором «Добрых людей». Завез подарки в штаб. Последнее, собственно, оказалось самым простым: штаб ютился в кладовке офисного центра возле его дома, через бульвар наискосок. Крошечная комнатка, заваленная коробками и свертками, многие из которых в подарочной упаковке. Из пестрых завалов на столе белый iBook торчал как молочный зуб из пирожного. Рита оказалась студенткой, второй курс физфака. Очень благодарила, улыбалась. Наговорила любезностей.

— Да что вы, такая мелочь... хотелось бы больше...

Паншину понравилась благодатная тишина, поселившаяся в нем после визита в набитую подарками каморку. Вот — пространство. Самое то.

К Новому году появился с новыми гостинцами для многодетных и детдомовцев. Снова благодарили, говорили трогательные слова.

И, как ни крути, штаб «Добрых людей» напротив, через бульвар. Выходя на балкон — выкурить утреннюю сигарету под капучино, с видом на апельсиновый восток — или вечером, поглазеть на густеющую синеву, утопить в ней дневную нервотрепку, и шум, и суету — Паншин частенько замечал там, на бульваре, юношей и девушек, собирающихся на свою волонтерскую тусовку. Кто-то пританцовывает с наушниками в ушах. Иногда наушники делятся на двоих. Многие на роликах. Кружатся, раскидывая руки... летают... Молодость, конечно. Но ведь не только.

— Яйца вареные, манная каша, сосиска и бутерброд с маслом, — отчитался Паншин, вернувшись из столовой.

Палата задумалась.

— Мне только яйцо, — это Зоя, все тем же ватным голосом.

Паншин посмотрел на нее и предложил вызвать доктора. В ответ Зоя лишь приподняла над одеялом руку, так и не закончив движение каким-нибудь понятным жестом.

— Обход скоро, — ответила за нее тетка с койки напротив. — Чего звать-то?

Пока Паншин ходил в столовую, она надела халат.

— Тебя тошнит, наверное, Зоя? — спросила она громко, будто Зоя была глухая. — В реанимации ж наркоз давали, — это уже Паншину. — Вот ее и тошнит.

Выслушав пожелания остальных пациенток относительно завтрака, Паншин отправился обратно в столовую. Седая Коса от еды отказалась:

— У меня есть.

Как заметил вскоре Паншин, держалась она особняком, в общие разговоры не вступала. Подолгу смотрела в окно и время от времени погружалась в обернутую газетой книгу.

Очередь, состоявшая из больных и навещающих больных родственников, двигалась быстро. Минут через пять Паншин подобрался к раздаче. Он перечислил все, что заказали его подопечные и подал поднос раздатчице. Та взглянула с недоверием.

— Это кому это столько?

— Больным.

— А сам кто? Больной?

— Я волонтер.

— Кто?

— За больными пришел ухаживать, — отвечал Паншин, с досадой ощущая, как поднимается в нем глупое, совершенно ненужное раздражение.

— Не поняла. К кому пришел?

Паншин вздохнул.

— Маня! — крикнул кто-то из кухни. — Ты как с луны свалилась! Ну, волонтер! Первый раз, что ли? Ну, сколько они уже ходят-то!

— Так девки ж ходили!

— А седни мужик! Отпусти человека, не суши мозг.

Вернувшись во флигель с подносом еды, Паншин наткнулся на картину, которая заставила его сконфуженно отвести взгляд. Возле лежавшей в коридоре женщины толпились врачи. Ее перевернули на бок, лицом к стене, отбросив простыню. Обширная спина и ягодицы густо исполосованы ссадинами и синяками. Захваченный врасплох Паншин брезгливо съежился. Проходя мимо койки, чуть было не перевернул поднос: медсестра, обтиравшая тампоном избитую спину, в этот момент как раз разогнулась — и притиснула Паншина к стене.

— Тыфу, леший! — она и сама испугалась. — Подкрался!

— Проходите, проходите, — поторопил его кто-то из докторов.

Над койкой висел сложный запах лекарства, давно немытого тела, алкогольного перегара.

— Лежи, не вертись.

— А ну, замри! А то сейчас выпишем, домой почапашь.

В палате пришлось пристроить поднос на свободную тумбочку: больным ставили капельницы. Молодая медсестра, симпатичная, но с неухоженными руками, хлопотала возле Зои. В соседней палате ее коллега устраивала кому-то разгон за несмытый унитаз.

— Здравствуйте. Я Алексей. Ваш сегодняшний помощник.

Медсестра молча пожала плечами, головой покивала: ну да, да, помощник, все счастливы. Паншин, впрочем, начал привыкать к манерам здешнего персонала. Печалиться из-за такой ерунды не собирался. «Противненькие они здесь, не отнять». Главное, решил, самому нужно держаться достойно — и поинтересовался у хмурой барышни, чем может быть ей полезен. Та, на Паншина не глядя, попросила принести стойки для капельниц, оставленные у прохода в главный корпус.

— Опять холодное будем есть, — вздохнула рыжая старушка.

— Бардак тут, конечно, — согласилась ее соседка. — Я однажды в Железнодорожной лежала. Вот там порядок, я вам скажу! Не то что... Там порядок идеальный... порядок, да...

Пока расставлял и закреплял стойки, медсестра прочитала лист назначений, из которого выяснилось:

Рыжая старушка — Белько Татьяна Михайловна. Семьдесят лет, инфаркт миокарда.

Ее дородная соседка — Демурова Юлия Анатольевна. Пятьдесят три, пароксизмальная тахикардия.

Тихоня возле окна — Журавлева Алла Григорьевна. Пятьдесят восемь, инфаркт миокарда.

Наконец, самая тяжелая, только что из реанимации — Курагина Зоя Ильинична. Шестьдесят два, острая сердечная пневмония.

«И все с того света, — подумал Паншин уважительно. — Все заглянули за черту».

После ухода сестры снова попробовал завести разговор.

— Трудное, наверное, это время... первые дни после реанимации, — сказал он, как бы размышляя вслух.

Уселся тихонько на свободную кровать возле двери.

— Трудно возвращаться, наверное.

— Да уж, — согласилась Татьяна Михайловна.

— Трудно было, когда прижало, — заметила Юлия Анатольевна. — Я думала, все. Финиш. А сейчас, чего уже. Глядишь, и проживем еще.

— Да уж, — согласилась и с ней Татьяна Михайловна.

— А вы боевые, — улыбнулся Паншин как можно теплей; пришлось вспоминать в процессе, как это — «тепло улыбнулся»; нечасто в последнее время доводилось.

— С наше проживешь, тоже боевым станешь, — Татьяна Михайловна рассмеялась и вдруг испуганно ойкнула, разглядывая иглу, закрепленную лейкопластырем на предплечье.

— Повыживаешь, — подключилась Юлия Анатольевна и тоже засмеялась. — Повыживаешь с наше, вы хотели сказать.

— Что говорите?

— Повыживаешь, говорю, — прокричала Юлия Анатольевна. — Ну... В смысле, разве мы живем? Мы ж выживаем. Ну... Улавливаете, нет?

— А! Да-да-да, — уловив, согласилась Татьяна Михайловна радостно. — Это точно. Это да, да.

— Вот тебе и боевые! Всю жизнь выживаем, вот и боевые, — на всякий случай Юлия Анатольевна дополнительно растолковала свой каламбур.

Заелозила, поднимаясь повыше. Паншин слез с кровати, подкрутил колесико, регулирующее высоту изголовья.

— Так хорошо?

— Сойдет.

— Подушку поправить?

— Нормально.

— Знаете, — попробовал он снова наладить беседу. — Когда прошлой зимой, на сочинской трассе КамАЗ, груженный кирпичом...

— Никто не слышал, говорят, в Сочи взорвали что-то? — прокричала Зоя Ильинична.

— Да то не там, — возразила Юлия Анатольевна. — То где-то у них там, на Кавказе.

— Так и там уже, вроде, тоже, — без всякой, впрочем, уверенности сообщила Зоя Ильинична и выдохлась, затихла.

Пациентки одинаково помолчали, одинаково глядя в потолок. Помолчал вместе с ними и Паншин. Приноравливался.

— Эх, когда-то в отпуск в Сочи ездили, — вздохнула Юлия Анатольевна. Татьяна Михайловна отозвалась мечтательно:

— И не только.

— В «Магнолии» останавливались, — улыбалась своим воспоминаниям Юлия Анатольевна. — Недалеко от закрытого пляжа. Там сеточка была. За сеточкой и актеров можно было увидеть, и всех. Специально спустишься пораньше, поближе к сеточке займешь. Смотришь — вышел кто-нибудь. Юрия Николаева видели. Помните, «Утренняя почта»? Этого еще... как его... Лещенко! Ротару. Кого только не видели.

— А теперь шиш туда поедешь, — подытожила Татьяна Михайловна.

— Это да.

— Там где-то Путин замок себе отстроил, — вступила в беседу Алла Григорьевна, чем изрядно удивила Паншина: наблюдая, с каким отрешенным

видом Седая Коса рассматривает солнечный пейзаж в окне, ни за что бы не предположил, что она следит за разговором.

Татьяна Михайловна добавила веско, что не только Путин, но и *все они* давно уже там понастроили. И не только там.

— Просто нам не говорят. Чтобы не раздражать.

— Ой, да я вас умоляю! — Юлия Анатольевна хищно хмыкнула. — А то им не все равно.

— И то верно.

— У меня, знаете, случай был, — воспользовавшись очередной паузой, Паншин решился на новый заход. — В позапрошлом году...

— Вспомнила! Там и патриарх себе построил. Слышали, нет?

— А как же! — Юлию Анатольевну, казалось, обрадовало это сообщение. — Эти тоже губа не дура. А часы у него, слышали? Сколько-то миллионов стоят.

— А и всегда так было, — мрачно добавила Зоя Ильинична. — Всегда.

Паншин больше не встречал.

«Что ты лезешь тут со своим КамАЗом, — осадил он себя. — Примазываешься, как мальчишка. Скромнее».

Вся эта дребезга про дворцы и часики была, по правде говоря, несколько неожиданна. В таком месте. При таких обстоятельствах. Но Паншин знал, за что держаться: «У тебя здесь свое дело. У них — свое».

Постепенно разговор в нулевой палате угас, где-то на излучине между повесившимся пятилетним мальчиком и потасовкой в «Пусть говорят». Из двух соседних палат за это время успели выписаться больные — два мужичка и женщина неопределенных лет. В сопровождении родственников, протяжно шаркая подошвами, они проследовали мимо открытой двери. Несли себя сосредоточенно, осторожно. Следом за кем-то из них пронесли телевизор.

Когда палата засопела, впадая в дрему, Паншин устроился в коридоре, на стуле возле открытой двери.

По флигелю разлилась тишина.

Паншин чувствовал нарастающую растерянность. Работы, в общем, никакой. А готовился к многочасовому авралу. К большому событию. Представлял совсем иначе... Готовился — и внутри было хорошо, торжественно. Предпразднично было. А тут...

«Так! Хватит канючить. Может, Рите еще позвонишь? Попеняешь ей? Что, дескать, подсунули? Где мой аврал? Тоже мне... обманутый дольщик».

У гороподобной женщины, размещенной в коридоре... мест свободных хватало, но, видимо, чтобы не травмировать других больных — запахами, кровоподтеками, всей этой приоткрывающейся нечистоплотной жизнью — дрожали ноздри и губы. Зажмурившись, беззвучно плакала. По краю ноздрей лопнула засохшая кровавая корка. Паншин думал подойти, спросить, не нужна ли помощь. Даже привстал дважды со стула. Но не подошел.

«Вдруг в неадекват?»

И запах перегара. И вообще.

Следующие полтора-два часа Паншин караулил капельницы. Заходил в палату и смотрел, сколько лекарства осталось во флаконах: не пора ли менять. Бывало, кто-нибудь из больных звал его: «Леша, рука затекла. Поправь подушку», — или предупреждал: «Леша, уже скоро». Прикрутив поплотнее

зажим на капельнице, он шел тогда за сестрой, которая — «помощничек вызовет» — ушла ставить капельницы в палаты главного корпуса.

К лежащей-в-коридоре явился посетитель. Мужчина лет тридцати, в простеньком, но приличном костюме. Высокий. Глубокие залысины. Подошел, молча остановился над койкой. Женщина открыла глаза, взглянула — и снова закрыла. Не проронили ни слова. Сын, видимо. Повертевшись возле койки, закрепив тормоза колесиков и подоткнув свесившуюся простыню, мужчина в костюме отправился в главный корпус.

Было тихо.

Когда уходила, переставив флаконы, медсестра, они оставались вдвоем в коридоре: Паншин и побитая толстая пьянчужка, укрытая простыней. Всхрапывала, поскрипывала провисшей кроватной сеткой. Но одиночества его не нарушала.

«Ну, вот так. Что ж. Может, тебе так выпало, халявная смена. Но дело-то важное. Дело-то все равно важное».

Он любил одиночество. И не обязательно с книжкой или хорошей музыкой, любил во всех проявлениях. Любил его надежный уют, и то, с какой легкостью в одиночество вплетаются тихие — как будто случайные, мимоходом отмеченные, но так сладко и подробно потом вспоминаемые праздники.

— Валя! — раздалось под окном флигеля. — Я в морг! Там вывих перевязать надо. С утра ждут.

— Не поняла! — послышалось в ответ сверху, с открытой веранды, и уже со смехом: — Вывих перевязать? В морге?!

— Санитар там грохнулся, ногу вывихнул, — все так же размеренно, уныло в ответ.

Не иначе, тот мужичонка с бровями, который повстречался утром на входе.

— Смотри, мобильник там не берет. Не теряйся.

Ощущение смысла. Именно. Вдыхаемый, осязаемый, вливающийся в темечко как вода в кувшин... смысл... полнота, насыщенность. Вот за чем шел. Вспомнить. Как было в конце девяностых, когда понял, что — смог, закрепился. Отвоевал. Пустил корни в склизкой болотистой почве, теперь никто и ничто не сможет его просто так обломать и выкорчевать.

С прошлой зимы, когда на сочинской трассе его бросило на встречу, и машина неуправляемым чурбаком пролетела в каком-нибудь метре от огромного, жуткого трейлера, грязным обшарпанным металлом прочертившего нежданный-негаданный, чудом не грянувший финал, — или того хуже: на всю жизнь инвалидом, — Паншин жил не то чтобы «как заново родился»; нет, такого не чувствовал. Но как будто: «все, пора всерьез, набело пора, шулки в сторону». Отмахнувшись от любопытных водителей, притормозивших поглазеть на счастливого, он долго сидел, разглядывая приклеившийся к боковому стеклу сугроб. Отскочившие «дворники» судорожно шарили в сверкающей пустоте, в снежной оседающей пыли. Руки у него ходили ходуном, сердце стучалось в районе пупка. Он сначала глотал комки запоздалого страха, глядя на свои дрожащие руки. Представлял свои руки, остывающие, неподвижно втиснутые в металл и пластик... ногти синеют... Потом стал улыбаться: не унимающаяся дрожь рассмешила его. Нервное. Расхохотался, повторил движение «дворников». Приспустил окно, и полоска сугроба свалилась ему на бедро. Собрал снег, сжал

в комок, наслаждаясь отзывчивой влажной прохладой. Рычание моторов, шипение шин. Было слышно, как цокотит по асфальту щебенка, поднятая промчавшейся мимо машиной. Выбрался через пассажирскую дверь — водительская была наглухо запечатана сугробом, и, отойдя за лесополосу, в заснеженное поле, улегся навзничь, лицом к васильковому небу. Время от времени над ним искрились, пролетая, снежинки: сдувало ветром с тополей. Наверное, это было тогда счастье — несколько бездонных минут... Марине он не рассказал. Про машину наврал: с трамваем столкнулся. Через месяц они с Мариной расстались. Связи вроде бы никакой. Но Паншин точно знал: связь самая прямая.

Было тихо.

Со двора долетали обрывки фраз, оброненные вышедшими покурить медсестрами. Где-то в главном корпусе гоготал телевизор. Заскучав под капелюшниками, женщины в палате завели разговор.

— Ну, разве это у нас медицина, — вздохнула Юлия Анатольевна. — Только и знают, что вены истыкать и оставить на полдня.

— И не говори, — отозвалась Татьяна Михайловна. — Как при царе Горохе лечили, так и сейчас.

— Да уж... Народная медицина, так сказать. Для народа.

— Во-во, — подтвердила Татьяна Михайловна. — Им на нас начхать.

Юлия Анатольевна закричала — наверное, меняла позу. Паншин заглянул в палату, но не успел: улеглась, справилась без его помощи.

— Вон Пугачихе сосуды прочищали, — сказала Юлия Анатольевна. — Ага. Для профилактики. Там слегка совсем закупорилось. Еще ничего и нету, так... а ей, нате-пожалте, взяли сосуды и прочистили. Чтобы вдруг чего. Ясно вам?

Помолчав, добила задумчиво:

— И что это за операция такая: сосуды прям как ершиком — фить-фить, и прочищают... Не знаете? А нам такое делают, нет?

— Да откуда...

— Спросить бы у доктора, не забыть.

— Спроси.

Они помолчали.

— А мне нравится Пугачева, — твердо заявила Татьяна Михайловна.

— И мне.

— Только грубая она иногда бывает, — закончила Татьяна Михайловна с некоторым сожалением.

— А Киркоров ее... Смешно, ей-богу, — подхватила Юлия Анатольевна. — Ей сколько! А ему сколько.

— Ну, вы вспомнили! У нее теперь Галкин же.

— Да какая разница!

— Тот еще моложе.

— Во-во.

Они помолчали еще раз.

— Слушайте, а помирился Киркоров с той, которую побил, нет? — поинтересовалась Юлия Анатольевна. — Уже второй случай у него. Неуравновешенный какой, надо же...

— Да нет, первую он просто обозвал, а эту побил, — уточнила Татьяна Михайловна. — Разные вещи.

— Так помирился, нет? Чем у них там закончилось? Вроде, говорили, на мировую пошло, а наутро я как раз сюда загремела. Не слышали?

— Нет, не знаю. Могу дочке позвонить, если хочешь.

— Да ладно, потом...

— А таблетки? — вступила вдруг в разговор Зоя Ильинична; все это время она, казалось, сдерживалась, пыталась отмолчаться — и вот прорвало. — Насыпали, пей. А откуда мы знаем, что там — настоящее лекарство или нет? Откуда? А?

— Ооо! — согласилась Юлия Анатольевна. — Вон, показывали, как опыты на наших людях ставят. Фирмы эти, которые лекарства разрабатывают... Иностранные. На живых людях...

— Да, я тоже видела, — успела вставить Татьяна Михайловна. — Сволочи, конечно.

— Дают тебе лекарства бесплатные. Новейшие, мол, разработки. Так у некоторых ноги после этих лекарств отнимаются... Паралич! Вот так. И кожа отслаивается. Опыты. Это да, это мы знаем...

— У меня вот знакомая работает в аптеке, — голос у Зои Ильиничны немного окреп. — Так я ее спрашиваю, ты сама-то знаешь, какие лекарства настоящие, а какие нет. А она мне: да откуда я знаю. А вы говорите: лекарства... В аптеках сами не знают, чего там есть, в этих лекарствах.

— А Малахова смотрите?

— Редко.

— Нам, бывало, как завезут товар, смотришь, а срок хранения переписан. И что? Не станешь ведь отсылать. Акт составлять. К тому же все равно с начальством уладят. Ну, и принимаешь. А что делать?

— Да ничего ты не сделаешь. Ничего.

— Так что, девочки, вы обращайтесь внимание. Иногда прямо видно, что переписано.

— А я всегда смотрю. Очки надеваю.

— А я не всегда. Иногда некогда. Схватишь, и в тележку...

— Да-да, так все бежим, бежим. От того и болячки.

— От просроченного?

— Да нет. Все бежим, бежим, говорю.

— А вода в кране какая? Это ж ужас. А пьют — нормальная вода, можно пить.

— Так сами ж не пьют из крана, вот и нормальная.

Разговор ползет по удушливому кругу.

Паншин старается не вслушиваться. Но — тихо во флигеле. И он невольно скользит вслед за ними — по кругу, по кругу... И как ни старается удержать переполнявшее его совсем недавно, вот, кажется, только что, еще даже привкус остался — оно неумолимо убывает, просачивается по капле, тает.

— Леша, скоро уже! Последняя рисочка!

Он идет за медсестрой.

Медсестра приходит, меняет флакон или вынимает иглу, если все лекарства прокапаны, возвращается в главный корпус.

Он садится на стул.

В палате слово за слово заводится разговор.

По кругу.

Проголодался. Или нет? Ищет повода отлучиться?

Сколько осталось? Часов двадцать? Обалдеть.

Скорей бы закончились капельницы. Сходит в машину на перекус.

Все-таки удастся отвлечься. Перед глазами его начинают кружиться девушки на роликах. Парят, раскинув руки, — свои тонкие хрупкие крылья. Светлеет нежное брюшко под обрезом задравшейся футболки, аккуратные головки склоняются то в одну, то в другую сторону. Проплывают друг мимо друга, разбрызгиваются, перекидываются веселыми словечками.

После капельниц сводил Татьяну Михайловну и Зою Ильиничну в туалет. Под ручку, до двери. Алла Григорьевна согласилась только на то, чтобы он помог ей подняться с кровати. Стеснительная. Юлия Анатольевна все сделала сама. Больные съели остывший завтрак, заели его припасами из тумбочек, улеглись по койкам. Паншин отнес посуду в столовую, где выслушал от Мани выговор за то, что припозднился: посудомойка уже ушла, придется теперь ей самой мыть, а ей за это не доплачивают, между прочим.

Вернувшись в палату, справился, не нужна ли кому его помощь и, предупредив, что отлучится минут на пятнадцать, сбежал во двор.

И погода, как назло, чудесная. Солнце. Разлилось, рассыпалось слепящими ключьями по лесопосадке перед водохранилищем, по стенам, по больничному двору. Легкий ветерок шуршит бумажным мусором.

— Доктор никак не придет, — услышал Паншин.

Только теперь он заметил, что слева от крыльца, на асфальтовой дорожке, стоит тот самый человек, что навещал толстуху в коридоре. Человек этот, видимо, не случайно стоял там, возле окна: в окно просматривался весь коридор, так что он мог за ней наблюдать. Наблюдать, правда, было не за чем: толстуха дремала. Лежала неподвижно, огромным белым коконом.

— Никак, гадина, не удостоит, — продолжал человек.

Паншину не хотелось вступать с ним в контакт. Но человек был прилично одет, выглядел грустным.

— Поубивал бы, — вздохнул.

— За что? — полушутя спросил Паншин.

— Да разве не за что... Час назад должна была подойти, принести назначения. Жду вот...

Паншин, наконец, закурил. Незнакомец попросил угостить его сигаретой.

— Не хотели брать, — сказал он, затягиваясь и кивая на окно. — У нее перелом ребра и микроинфаркт... Устроили чехарду: кардиологи в хирургию отправляют, хирурги в кардиологию. Уроды. Сошлись, наконец, на кардиологии. Но держат, видите, в коридоре. Дескать, помыть ее некому...

Грамотная речь незнакомца выгодно отличала его от обитательниц «нулевой» палаты.

— Она выглядит очень расстроенной, — сказал Паншин участливо. — А вы, извините, кем ей приходиться?

— Я?

Вопрос, казалось, огорчил незнакомца.

— Да не важно, — махнул рукой. — Не важно.

Докурив, он поискал урну. Урны не было. Пульнул окурком в кучу бетонных осколков.

— Ни черта не меняется, — произнес он загадочно. — Ну, не меняется ни

черта. И вроде бы, по-разному бывает. То так, то эдак. Но всмотришься — нет, не меняется. Хоть ты тресни. Вот ведь в чем штука!

— Ну, что-то же меняется, — не менее абстрактно ответил Паншин. — Нужно быть справедливым.

Несколько мгновений они смотрели друг на друга.

«Кое-что неплохо бы и назад вернуть, — думал Паншин с иронией. — Привычку представляться, например. Знакомиться, елки-палки, с тем, с кем беседы беседуешь. Культурный вроде человек».

— Вы ведь волонтер, — спохватился тем временем культурный, но безымянный его собеседник. — Точно. Волонтер. Я краем уха... но не сразу понял, — в глубокой задумчивости человек обвел взглядом залежи строительного мусора. — Послушайте, я хотел бы вас попросить, — он шагнул к Паншину на крыльцо. — Мне нужно идти, я жутко опаздываю. На ночь к ней придет сиделка, я уже оплатил. Сказали, на вас лучше не вваливать. Потому что вы в первый раз, все такое. Словом, я заказал сиделку, но сиделка придет только на ночь. А мне нужно бежать. Не могли бы вы... одним глазком... Мало ли что. Начнет вставать, грохнется. Просто сестер позвать...

— Я, собственно, здесь для этого, — Паншин улыбнулся ободряюще. — Присмотрю, конечно. Не беспокойтесь.

— Вот и отлично, — кивнул и, разворачиваясь, чтобы спуститься с крыльца, ловким молниеносным движением вдвинул в нагрудный кармашек паншинского халата купюру. — Спокойного дежурства!

В машине Паншин съел бутерброды с сыром, запил чаем из термоса. Потом из другого термоса налил кофе, закурил еще одну сигарету. Любил покурить под кофе.

Парковка располагалась на пригорке за моргом. Паншин видел, как по водохранилищу неторопливо плавают утки, как мальчик на дальнем берегу ковыряется палкой в песке, а над ним стоит мама, придерживая возле уха телефон. К мусорным бакам, выстроившимся рядком на краю парковки, подошел бомж. Заглянул внутрь, привстав на цыпочки. Кто-то строго на него прикрикнул — бомж нехотя потащился прочь с парковки.

Все. Тоска и ступор окончательный. Ничем уже, кажется, не заболтать.

Заводи мотор и уезжай. Пустая трата времени. Медсестру и по мобильнику можно вызывать.

«Слабак, — снова дразнил он себя, старался настроить на нужный лад. — Не то ему, видите ли, не так, неподходяще, примите обратно».

— Так-то, дорогие мои, — вздыхала Татьяна Михайловна, когда он входил в палату.

Устав сидеть в коридоре на стуле, Паншин устроился на свободной кровати. Забрался поудобней, завалился на бок.

— От грехов все наших, от грехов, — продолжила Татьяна Михайловна прерванный разговор.

— А если честно, — заметила Юлия Анатольевна. — То я вам так скажу. Какие такие грехи... А?

— И то верно.

— Если честно.

— Верно, верно.

— У нас сосед, — сказала Зоя Ильинична. — И от жены гуляет, и пьет как мерин, и подворовывает. У соседей. И ничего его не берет! Как с гуся вода!

Последствия наркоза прошли окончательно: лицо больше не морщилось в гримасу боли и отвращения.

— Бывает. Сплошь и рядом.

— А вы говорите: за грехи.

— Ну, почему я... батюшки так говорят.

— Грехи! — от излишне темпераментного движения под Юлией Анатольев-ной заскулила кровать. — На грехи, знаете, тоже — и силы нужны, и деньги, и время...

— О! Не в бровь, а в глаз.

— А говорила: в Сочи ездила?

— Тю! Так я ж с мужем!

— Слушайте, я недавно на похоронах была, — вспомнила Татьяна Михай-ловна. — Так там кутья была с молоком. Натурально, с молоком. Кто-нибудь попадал на кутью с молоком? В первый раз. Удивилась еще: с молоком. Не знала даже, что с молоком бывает.

— Нет, я такого не встречала, — созналась Зоя Ильинична.

— Может, они молокане были? — предположила Алла Григорьевна.

— Кто?

— У кого похороны.

— Молокане?

— Ну, такая секта есть.

— Н-не-ет, — с сомнением протянула Татьяна Михайловна. — Не должны были — секта...

— Ну, и как вам с молоком? — поинтересовалась Зоя Ильинична.

— Да непривычно как-то. Не то.

— А дома супчик молочный, наверное, еще остался, — мечтательно поведала Юлия Анатольевна. — Я такие супчики молочные готовлю... ммм... с корнем сельдерея.

— На рынке сельдерей берешь? — спросила Татьяна Михайловна.

— В «Ашане», — ответила Юлия Анатольевна и насторожилась. — А что? Я на рынке и не встречала. Там дешевле?

— Да нет, попадается... А с клецками делаешь супы? Обычные, на курином бульоне?

— Умею, — кивнула Юлия Анатольевна. — Но не люблю.

— А я люблю, что ты! С клецками.

— Нет, не люблю. Я, например, сардельки люблю. Но они, блин, дорогие сейчас.

— Одна клетчатка и химикаты, — сказала Алла Григорьевна. — В ваших сардельках. И супержиры.

— А это еще что за гадость?

«Да нет же, проблема в тебе, — мучительно думал Паншин. — В тебе, в тебе. В тебе проблема. Ждал чего-то, чего ждать не следовало... Не следовало ждать ничего взамен — вот что. Да, именно: взамен. Все просто. Не жди ничего взамен. Понял? Баш на баш. Пришел, отдал, и этим успокоился. Сам виноват, сам».

Ближе к вечеру во флигеле — ох, не думал, что так ей обрадуется — появилась Рита.

— Проведать тебя пришла. Справляешься?

Ее деловитость и это товарищеское «ты» приободрили Паншина. Повел Риту на двор, курить, предварительно сбегав в машину за кофейным термосом. Мусор перед флигелем. Потасил ее за больничную высотку — туда, где густо зеленела крапива. Разлил теплый еще кофе в кружечки. Курили, прихлебывая. Крапива покачивала мохнатыми листьями. Рита расспрашивала его, все ли в порядке, и Паншин отвечал, что в полном порядке, только работы никакой, готовился вкалывать, а тут не бей лежачего.

— Разве что больным спокойней, когда кто-то рядом, — добавил, глядя в сосредоточенное ее лицо.

— И это, конечно, — сказала Рита. — Хотя, недавно на мое дежурство у мужичка как раз во время пересмены приступ случился. Хорошо, я рядом была. Койка на колесиках. В главный корпус. Втиснула в грузовой лифт — и в реанимацию. Успели. Спасли. А так бы не докричались никого. Пересмена такое дело... Правда, доктор потом: «самоуправство, больше так не делайте». Но это он так, для порядка.

Паншин слушал ее — вот этот ее ровный, ни разу не споткнувшийся голос, — и чувствовал, что завидует: «Она умеет — а я?»

Докурили. Рита скоро стала прощаться.

— погоди, — остановил ее Паншин. — Спросить хочу.

Она кивнула охотно — дескать, спрашивай, для того и пришла.

— Они меня раздражают, — хмыкнул Паншин. — До тошноты.

Рита пожала плечами:

— А я в тот раз дежурила с футбольными болельщиками.

Паншин перешел на шепот, хотя кто их здесь услышит.

— Только что с того света...

Выспрашивает, ждет врачующих пояснений.

Как это может быть? С того света — и... как будто пописать сходили... В голове не укладывается. А она пожмет плечами и в две секунды все уложит. Смотри, вот так, так и так. Просто же. А ты растерялся.

— Додежуришь? — спросила она в лоб.

— Да не о том...

— О том, о том. Нам, в общем-то, доверие оказали...

— Додежурю.

— Вот и отлично. Я тебя утром сменю, пораньше постараюсь.

Ушла.

До скорой встречи.

Никаких подсказок, сам все решай.

«А хорошо, что через таких как Рита, пожертвования передаются, — думал Паншин, глядя в дебри крапивы. — Приходишь, весь такой воодушевленный, белый такой как голубь мира. А там: Юлия Анатольевна, Татьяна Михайловна, Алла Григорьевна...»

Нужно додежурить.

К Татьяне Михайловне приехала дочка из областного городка.

— Показывали вчера артиста... Лысый такой...

Дочке лет сорок. Щеки, ляжки. Делает движение рукой, будто обмахивает себя, спасаясь от духоты.

— Такой...

— Кого показывали-то?

— Да вот вспоминаю. Лысый. Шансон поет.

— В Питере живет?

— Нет, где-то в Подмоскowie... Ну, неважно. Вспомню. Дом его показывали. Восемьсот квадратных метров, — она смеется. — Представляете? Комнаты прямо показывали. Колонны там у него, картины в три ряда.

— Да что за артист, доча?

— Ну, сейчас...

— В Питере живет?

— Нет, говорю. В Подмоскowie. Лысый. С бородой, — она хватает подбородок рукой, показывая бороду.

— То Шуфутинский, — говорит Алла Григорьевна.

— Точно! И я вот смотрю, и сама себе думаю: сколько ж у них денег, а... Уму непостижимо. Это ж им сколько за концерты платят?

— У них же еще проценты есть, — подключается Юлия Анатольевна.

Дочка:

— Со счетов, что ли?

Юлия Анатольевна:

— Да нет, другие. С проданных дисков. Как-то им отчисляют же.

Татьяна Михайловна:

— Я слышала, им триста миллионов платили, а будут пятьсот.

Дочка, непонимающе прищурившись:

— Что?

Татьяна Михайловна машет торопливо рукой — мол, неважно, ничего.

Дочка, мечтательно:

— Им, бывает, поклонники и машины дарят, и все. Так и деньги никакие не нужны.

И, помолчав:

— Я слышала, Заворотнюк за первое шоу сто тысяч дали.

Юлия Анатольевна:

— Долларов?

Дочка, извиняясь:

— Не помню. Помню только, что сто тысяч. А долларов или чего...

Дочка, со вздохом:

— Сколько им платят... уму непостижимо!

Алла Григорьевна:

— Так еще пели бы своими голосами. А то поют под фонограмму.

Зоя Ильинична:

— И не говорите!

Юлия Анатольевна:

— А бардак здесь ужасный. Сегодня опять с утренними капельницами опоздали. Завтрак холодный пришлось кушать. Обхода вообще, считай, нет.

Зоя Ильинична:

— Заскочили: все живы? Вот и весь обход.

Дочка:

— Да везде так, наверное.

Юлия Анатольевна:

— Э, нет. Я как-то в Железнодорожной лежала. Так там, не скажите, порядок. Вот прямо порядок.

Дочка:

— Да вы что?

Юлия Анатольевна:

— И еда. Борщи такие были. Прямо как дома. Seriously. И яблоки нам давали, и апельсины.

Дочка:

— Да вы что!

Юлия Анатольевна:

— Правда.

Татьяна Михайловна:

— А тут дерьмовая кормежка.

Юлия Анатольевна:

— Я, знаете, недавно йогурт научилась делать. Очень просто. Подогреваете молоко до сорока пяти градусов, йогурт туда, и в термос на ночь.

Дочка, удивленно покачав головой:

— И все?

Юлия Анатольевна:

— И все.

Дочка:

— А температуру как?

Юлия Анатольевна:

— Градусник в аптеке покупаете... Только, зараза, не всегда получается. Как молоко попадет. Иногда такое попадет — скисает, йогурт не получается. Сволочи. Бодяжут, наверное.

Алла Григорьевна:

— Это из-за антибиотиков.

Юлия Анатольевна:

— А так-то вкусно получается, когда молоко хорошее. И недорого.

Дочка, наклонившись к матери, многозначительно шепчет:

— Деньги на операцию заняли. Все нормально будет.

Сиделка к коридорной пациентке пришла, когда во флигеле выключили верхний свет. Ею оказалась та самая медсестра Люда, которая утром привела Паншина в палату.

— Стойкий, говоришь? — весело приветствовала его, как старого знакомого.

Принесла с собой ночную сорочку, мокрые полотенца. Быстро и ловко обтерла толстуху, натянула на нее сорочку.

Горели только дежурные синие огоньки, отчего коридор сделался похожим на зал кинотеатра.

Паншин подошел к Люде, сунул в ее кармашек пятисотку.

— Что это?

— Тот тип дал, который к ней приходил. Чтобы я присмотрел. Она спала все время, мне ничего не пришлось делать.

— Дают — бери, быют — беги, — устало выдохнула Люда, складывая на весу полотенце.

Предложила ему выставить в коридор кровать и прилечь. Отказался. Сна ни в одном глазу.

Переставил стул к окну, подальше от столика, на который больные складывали склянки с анализами. Сидел подавленный, самому себе противный. Будто шелухой заплевали, а стряхнуть уже нет никаких сил. Сам теперь — пациент. Ждет Риту — если и не вылечит, то выпишет, по крайней мере. И — домой, домой, на свободу. Как-нибудь все потом утрясется, рассортируется по полкам.

Ближе к полуночи за спиной послышались шаркающие шаги: Юлия Анатольевна. Из соседней палаты навстречу ей вышла Люда.

— Нет, — сказала Люда. — Мочу утром сдаем.

В руках у Юлии Анатольевны темнела баночка.

— Не могу я утром, — начала она жалобно. — Это ж ни свет ни заря вставать. Вы в шесть уже забираете.

— Правильно, — кивнула медсестра. — По расписанию. Так положено.

— А я не могу так рано. Ночью схожу, и нечем. Заранее приготвила.

— А заранее не нужно. Нужна утренняя. По утренней анализы делают.

— Ну, какая вам разница?

— Мне? Это вам — разница.

— Мне никакой разницы. Посплю лучше. И так плохо сплю.

— Странная вы женщина. Нельзя, говорю, сейчас. Не те анализы будут, неправильные. Вам же хуже.

— Да куда нам-то хуже? Хуже ж некуда уже...

— Так! Я вам еще раз повторяю. Мочу сдаем утром. По вечерней моче анализы будут неправильные. Вам лечение неправильное назначат. Вам это надо?

— Да пусть уж что-нибудь назначат. Мы не привередливые.

— Так! Некогда мне с вами. Идите спать. Утром мочу сдаем! Все.

— Ну, пожалуйста.

— Все, сказала. Спать! Я доктору на вас пожалуюсь.

— Что ж вы такая злая? Ну, нельзя так с людьми, нельзя.

Ночью, шагая по темному коридору, Паншин пытался взять себя в руки.

«Боже... Я бы не смог работать врачом. А в реанимации?! Свихнуться можно — *таких* вытаскивать с того света. Главное — смысл? Продлить — вот это?! Бред! Полный бред».

За выступом стены обнаружил неприметную запасную дверь, выходящую на другую сторону флигеля. Местечко там оказалось получше, чем перед главным входом: небольшой пяточок укатанной земли, без мусора, засыпанный галькой, судя по следам шин, использовался под парковку.

Вышел покурить.

«Вот ведь до чего додумался, — попытался урезонить себя Паншин. — Не ступай».

Вспомнил вдруг, как ездил к Пирамидам. Сколько разочарования... От каждого угла разит мочой, засранные верблюды, псевдобедуины лапают, суют

тебе за пазуху псевдосувениры. А когда-то зачитывался: строители пирамид, тайны фараонов...

— Не положено здесь, — услышал Паншин у себя за спиной.

Обернулся. По проходу от главного корпуса шел пожилой санитар — тот самый, с бровями.

— Не положено, — повторил строже. — Иди на ту сторону курить.

И сразу — облегчение. Будто ждал его весь день. Всю жизнь его ждал. Наконец-то.

Упругий холодок злости пополз по животу.

— Почему же? — Паншин демонстративно затынулся.

— Тут только для врачей. Остальным не положено.

— Да? — удивленно качнул головой. — А отчего так? Не положено...

— Чего?

— Долой сегрегацию. Вот чего.

Санитар помолчал, ощупывая Паншина злыми колкими глазками.

— Ты это главврачу завтра расскажешь. Иди, давай, умник, — он шагнул к Паншину, потянул его за локоть.

Паншин выдернул локоть, процедил сквозь зубы:

— Вали давай, — и снова затынулся.

— Наглый, что ли?

Заводился быстро и вроде как — привычно. У меня тут, дескать, не забалуешь. Совершенно не похож на того дневного молчуна, который мелькал краем, как ящерка: то ли был, то ли почудился. Настало, видно, его время, когда начальство разошлось и спящие палаты храпят-постанывают.

— Отвали, говорю, — повторил Паншин. — Плохо слышишь?

— Мне охрану, что ли, звать?

Санитар снова схватил за локоть.

Паншин выдернул локоть.

Санитар схватил.

Паншин выдернул.

— Слышь, дядя, шел бы сам подобра-поздорову.

— Думаешь, халат надел, так кум королю?

Отступив на полшага, Паншин затынулся — глубоко, со звуком.

Санитар взмахнул рукой, пытаясь выбить у Паншина сигарету. Промазал.

— Да иди уже, клоун, — сморщился Паншин.

— Чего? Оскорблять будешь?!

— А ты не клоун разве? — сделал вид, что присматривается. — Темно тут...

Санитар напирал.

— К ментам сейчас отправишься, понял меня?!

— Напугал, боюсь.

«Вот теперь все встало на свои места. Вот теперь все в норме, — успокаивался Паншин, предвкушая, как отделает под орех мерзкого угрюмого упыря, — пусть только дернется... все-таки пусть он первым ударит, это все-таки важно... здесь, видите ли, для врачей... ка-з-зел...»

Он попробовал затынуться. Не вышло: санитар мешал, толкался. Тогда он отловил ворот халата, натянул потуже на кулак и, удерживая так, дергающегося и матерящегося, уморительно смешного, затынулся не спеша. И уже трясся от беззвучного смеха. Вот-вот расхохочется в голос.

— Последний раз говорю: убирайся на ту сторону! — вырвал халат из руки Паншина. — Не положено здесь!! Только для врачей!!!

— Пошел ты.

Да, определенно полегчало. Фуух... ну, давно бы так.

Санитар толкнул его плечом.

Паншин скроил нарочито страдальческую физиономию — дескать, ой, как больно.

Но пусть по-настоящему двинет... давай, давай, не сачкуй.

Мимо двери с баночкой в руке прошлепала Юлия Анатольевна.

— Что это вы тут топчите? — пробубнила сонно. — Не надо топотать. Тише.

Санитар взвился как ужаленный:

— Тебя не хватало! Иди, куда шла!

И, плюнув Паншину под ноги: «Ну, гад!» — стремительным спотыкающим-ся шагом рванул в сторону главного корпуса.

— Грубиян, — не отрывая глаз от переполненной баночки, равнодушно констатировала Юлия Анатольевна и двинулась дальше, к столику для анализов.

Паншин бросил презрительный взгляд вдогонку сутулой спине в заметно тесном, с чужого плеча халате — и с удовольствием, растягивая затяжки и любуясь ночными перламутровыми облаками, ждал прихода ментов.

«Что ж, обсудим. И с Ритой все упрощается».

Луна серебрила щебень, от водохранилища тянуло сырой прохладой и докатывались жидкие, не набравшие еще силы и сочности, лягушачьи трели.

«И горите вы синим пламенем. Если честно».

Ни ментов, ни санитаря.

Что-то там не сошлось.

Паншин озяб и вернулся во флигель, в душное похрапывающее тепло. Ну, так, значит так. В палате свободная койка. Лечь вздремнуть? Или ехать домой? Припрутся менты среди ночи, поднимут... хотя вряд ли, конечно... Или все же дожидаться утра?

Имант Аузинь

Из ярких утр гербарий

С латышского. Перевела Ирина Цыгальская

* * *

Что делал я, один оставшись летом?
Ты не согласишься — звёзды консервировать
пытался, из ярких утр гербарий
собирать тебе и мне
зимой на радость...

Но всё из рук валилось.
Звёзды то в пруд скользили,
то к стылой бесконечности сбегали,
а утра угасали быстро,
лишь красками блеснувши:
рдяной, белой и голубой.

А родина — какая
родина мне без тебя?
Скрипел колодезный журавль,
тявкал на опушке леса козёл,
а в липах — только ветер шелестел.

Я вязнул на обочине,
как столб дорожный:
за далью дальнею, за лесом
ты шла задумчиво по берегу
речному, как душа моя
под ношей первых моих грехов...

Тебе заря, закат вечерний,
вспыхнув, угасали,
лишь красками блеснувши:
рдяной, белой и голубой.

Имант Аузинь (1937—2013) — латышский поэт, переводчик и литературный критик. Автор около 30 книг стихов и поэм и семь книг эссе. Перевел на латышский лирику М. Лермонтова, А. Блока, М. Цветаевой, А. Кушнера, О. Сулейменова и др. Лауреат Государственной премии Латвийской ССР (1977), литературных премий им. Вилиса Плудониса (1990) и Ояра Вацietиса (2007).

Ирина Цыгальская (Аузиня) — прозаик, переводчик. Издала три книги рассказов, несколько книг переводов латышской прозы. Живет в Риге.

Где аура?

Узок мирок
и дырявый сплошь,
когда ты весь свет клянёшь:
— Ад, ни дать ни взять!
Где сиянье, скажите?
Где она, аура?
Да, где эта аура?
Нет её, не ищите.

Сердце в ответ:
— Аура там,
где однажды споткнулись, —
сияние там,
непрочтённая весть:

у брошенной школы,
у церкви в развалинах,
и, наконец —
на погосте. Здесь.

Иди, когда стихло,
иди, когда воем вьюга!
Одно обещать
вам могу я:

там светлый венец и есть,
там и аура будет,
дыханье, мерцанье,
сиянье. —

2011

Взахлёб

Взахлёб торопился.
Да не быстро летела телега.
Здравствуй!
Или я припозднился?

Что ты так нарядилась —
в белом вся, как на свадьбу?
С кем собралась ты
к венцу, совсем как невеста,
одевшись?

Я и впрямь припозднился?
Но захлёб торопился.
Что же птичьи оркестры
звонят повсюду?
Тебя, белым белую и молодую,

приветствую трепетно,
стремясь усмирить
ревнивое сердце.
Шёпотом:
— Как же, — молвлю, — могла ты?
Видишь, я здесь,
твой желанный! —

...И земля моя мне отвечает:
— Верно ты сделал!
Слышишь — Горько! —
черёмухи зов.
Пусть скорей раздаётся
бокалов с берёзовым
соком звон!

2007—2010

*На последнем льду**Ирине*

Недалеко от воды открытой,
где суда-великаны по Даугаве,
несколько пар, рискуя,
через реку по льду последнему.

Отчаянный парень и девушка!
То идут,
то встанут, обнявшись,
приникнув на миг друг к другу,
вроде целуясь...

Дивятся с моста и с берега люди.

О небо! Пускай хоть
расколется лёд на куски,
унося их в близкое море, —
они точно так же
встанут, обнявшись
и на секунду слившись
в одно двуголовое
тело, четыре руки...

— Что опять там снимают? —
кто-то дивится рядом.

И верно!
Пятясь назад, оператор
хватает камерой пару в момент сближенья.
Быть кадрам.
И чего-то становится жаль.

Выйдет ли там так сильно, как в жизни?
Будет ли видно близкую воду?
Заметно, какой хрупкий лёд
под ногами?

О чём рассуждать?
Разве часто и мы замечаем сами,
что наша последняя льдина
обоих в море несёт нас,
близкое море?

2013

Ещё в том лете

Хочется с мамой
и близкими всеми стоять
в том лете ещё — десять раз
или только пять, — в те года,
когда я не знал ещё
что такое смерть,

2012

2012—2013

Анастасия Ермакова

Пластилин

Роман

Суд Франции признал право ребенка быть нерожденным.
(Lenta.ru, 14.07.2001)

Marina

Всегда хотела узнать, о чем думают люди, которые не знают — оставить ребенка в семье или бросить... можете рассказать?

Sonja

Знайте: о годах мучений, пока ребенок жив, и о годах утраченной молодости, когда ребенок умрет, а также о годах одиночества, когда в бездетной семье умрет один из супругов.

С интернет-форума

«Каждому свое — у одних, пожалуй, и есть причины жаловаться, у других их нет, но никому не дано ожесточиться против жизни. Нельзя быть суровым, справедливым и жестоким к жизни, надо проявлять к ней милосердие, надо брать ее под свою защиту...»

Кнут Гамсун «Плоды земли»

* * *

Никогда не берите ребенка из детского дома.
Это липкое и неотвязное «мама» чужого детеныша искалечит вам жизнь.
Клещ сосет кровь, пока не отвалится пухлой серой виноградиной.
Не дайте ему пить вашу кровь.
Защититесь.
Заслонитесь.
Станьте неуязвимыми.
Не вскрывайте нарыв собственной доброты.
Будьте эгоистами.
Наслаждайтесь благами жизни.
Натягивайте на себя каждый день узкое, трещащее по швам счастье.
Думайте — что оно вам впору.

Возьмите ребенка из детского дома.
Вас никогда никто не будет любить так, как он.
Вы никогда не будете честнее и чище, чем в тот день, когда приняли это решение.
Он ни за что не предаст вас, потому что его самого предали.
Не ходите за счастьем за три моря.
Вот оно, рядом.
Будьте терпеливы к оплеухам судьбы.
Когда-нибудь она руками этого ребенка ласково погладит вас по щеке.

1

Привет, Дурында, привет. Набухший грузный живот с серо-розовыми сосками доверчиво подставлен мне — давай, гладь. Глажу. Сколько же у тебя там щенков — пять, семь? Чем меньше, тем лучше. Потому что они, моя милая Дурында, никому не нужны, а пристраивать их придется мне. Да не волнуйся ты. Топить твоих малышей никто не собирается, отдам в хорошие руки. Знакомая моей мамы, хозяйка здоровенной боксерихи, когда та родила, утопила щенков в кипятке и потом с какой-то необъяснимой удалью всем об этом рассказывала. Когда она кивала мне в знак приветствия, я отворачивалась.

На лапах между подушечками — смерзшиеся ледяные катышки. Начало марта. Осторожно пытаюсь отколупнуть их, но Дурында взвизгивает, дергается. Ну, прости, я же нечаянно. Почесываю ей живот. Успокойся. Рыжие уши распластаны на снегу, упруго постукивает, отбивая ритм радости, хвост. Карие глаза полуприкрыты, но всегда готовы вспыхнуть задоринкой: поиграем? Низко наклоняться нельзя — псина немедленно лизнет, и еще раз, и еще: порывисто и неразборчиво — куда придется.

Достаю из пакета сырники — рыхлые, румяно-изюмные. Собака пытается съесть их, не вставая, продолжая лежать на спине с раскинутыми лапами. Ну, ты и лентяйка! Косит веселым хитрым глазом, неуклюже поднимается, торопливо хватая куски с ладони, попутно облизывая ее. Я сижу на корточках, ни о чем не подозревая, и Дурында никак не может пропустить такой случай: резко подпрыгивает и ставит свои лапищи мне на плечи. От неожиданности заваливаюсь назад и тотчас подвергаюсь обработке старательного языка.

Будка ее стоит на территории интерната для детей-даунов. А раньше окрестная бездомница слонялась по улицам Малоярославца. Никого к себе не подпускала. Обычно мы встречали ее на свалке, недалеко от интерната. Волонтеры привозили ей еду и отходили подальше, только тогда собака, опасно озираясь, рыча и вздрагивая, приближалась. Постепенно она привыкла к нам, приезжающим сюда раз в месяц.

Когда моей дочери было года три с половиной, она, сильно разозлившись на меня за лишение просмотра тридцатого по счету мультика, выкрикнула: «Знаешь, ты кто? Дурында сплошная — вот кто!» Нежное ругательство незаметно прижилось в нашей семье: когда обижались друг на друга, шутливо, уже заранее прощая, так и говорили: «Ну, и дурында же ты, причем сплошная!» Это относилось к маме Полине и дочке Кате, а папа Андрей именовался — сплошной

дурынд. В мужском роде слово приобрело что-то зверьково-пушистое, похожее на бурундука.

Непокорную рыжую дворнягу, так долго не желавшую стать собакой степенной, будочной, я ласково трепала за уши: «Дурында ты моя...» Так и прилипла к ней кличка.

О том, чтобы пристроить на территории интерната Дурынду, долго договаривались с директором Тамарой Львовной, тощей, с хищным лицом, в кудрявом голубом парике. Мы сразу прозвали ее Мальвиной на пенсии. Тамара Львовна затребовала справку из ветлечебницы и оговорила ежемесячный взнос на содержание и кормление собаки, вносить который волонтеры немедленно согласились, хотя на деньги эти можно было прокормить двух взрослых упитанных мужиков. Зато как радовались наши подопечные! На прогулке окружали будку, большеголовые и улыбочивые, нагибались, отталкивая друг друга, заглядывали внутрь и звали: «ЫУ! ЫУ!» Дурында нехотя вылезала, к ней тут же тянулись глядящие и галдящие руки. Они ласкали собаку и ласкались сами об ее теплую, с медным отливом шерсть. Те дети, кому не хватало места возле Дурынды, гладили будку, будто теплого доброго друга. Собака терпеливо сносила эту густую и липкую, смолянистую любовь. Стояла, как беззащитный теленок посреди поля, мучимый привязчивыми слепнями. Виляла хвостом, время от времени лизала протянутые к ней руки, пахнущие детским снегом, и улыбалась. Иногда, если кто-то из ребят намеревался ткнуть ей палкой в глаз, незлобно рычала, уворачиваясь.

Дауны счастливы, ибо никогда не надкусывали яблока с дерева познания добра и зла, они так навсегда и остались в раю неведения, живут бесхитростно и безгрешно, с чистым сердцем, привязываясь мгновенно и навсегда к человеку, полюбившему их. Как дворняги.

В земном раю-интернате пахнет не диковинными цветами, а хлоркой, в столовой — сложной смесью запеканки и капусты. Штукатурка отслаивается от стен, на потолках после каждого дождя появляются все новые рыжеватые орнаменты, в туалетах всегда холодно — открыты настежь окна — и периодически отсутствует туалетная бумага, краны подтекают, сиротливо киснет обмылок в большой мыльнице, похожей на сталактитовую пещеру, с давними, будто окаменевшими желто-коричневыми наростами, оставшимися от прежних кусков. В комнатах-палатах на четыре человека стоят металлические койки с продавленными сетками. На них тощий матрас, шерстяное, похожее на то, какие выдают в поездах, одеялко, плоская унылая подушка, с клеймом интерната, в которой вряд ли могла уместиться коллекция красочных сновидений. Возле каждой кровати стул и тумбочка, как в больнице. Штор на окнах нет, нет и тюля, висит просто белая тряпка, грубо сшитая из кусков отслуживших свое простыней. Через все стекло идет трещина, залепленная скотчем. Будто не поспевая за поворотом трещины, скотч морщится на ее изгибах, отступая чуть в сторону, то в одну, то в другую, но в итоге все же послушно следуя по намеченному пути. Окна здесь открывают только тогда, когда дети выходят на прогулку, из соображений безопасности, ведь откуда даунятам знать, что способности человека ограничены, и он не умеет летать?..

На одном из стульев сижу я. Это стул Лики, моей любимицы, прелестной двенадцатилетней девочки. На ней белая блузка, голубая плиссированная юбочка, красные лакированные туфельки. Эти вещи ей привезла я по предвари-

тельному согласованию с недовольной нашим волонтерским присутствием Тamarой Львовной. Она вообще бы нас не пустила, пришлось припугнуть ее, дескать, я журналист, и, если она не разрешит нам посещение интерната, то напишу и опубликую такую статью, что интернатом непременно заинтересуются не только власти города Малоярославца, но и Москвы. Мальвина рассудила верно: лучше раз в месяц терпеть нас, чем быть под постоянным строгим надзором вышестоящих инстанций.

Открывалась дверь — и Лика подбегала ко мне стремительно, точнее — набегала на меня, как внезапная волна, и окатывала поцелуями: она никогда не тянулась к лицу, просто целовала то, что было перед ней: грудь, руки, мои длинные распущенные волосы. Наконец я наклонялась, и пухлые, всегда обветренные ее губы прилипали к моим, прилипали и замирали, словно боясь разрушить это теплое хрупкое соединение. Наконец девочка отстранялась и удивленно глядела на меня несколько секунд, морщила лоб, будто мучительно пыталась вспомнить что-то, но нет, не вспоминала, брала мою ладонь и прижималась к ней щекой, тихонько напевая-мыча какую-то песенку — слов не разобрать.

— Соскучилась, девочка моя? — я гладила ее по голове, чувствуя острый гостевой стыд: вот приехала и через пару часов уеду, к мужу и дочке, а Лике здесь жить, жить и жить, до самой смерти, а дауны умирают рано — немногие из них доживают до тридцати.

Лика тут же отзывалась, пытаясь просочиться в меня своей трудной речью, картавой и отрывистой, без пауз между словами. Но за полгода я привыкла к ней и различала практически все. Да, она соскучилась. И очень хочет конфет — привезла я конфеты? Сегодня солнце. Она хочет гулять. Когда я заберу ее отсюда? А подруга Кефирка заболела — лежит целый день.

Кефирка, пингвинообразная тринадцатилетняя толстуха с мучнистым лицом, лежала, отвернувшись к стене, и никак не отреагировала на мой приход. Кефиркой прозвали ее нянечки и воспитательницы за странную любовь к кефиру: на полдник она выпивала сначала свой стакан, после чего опорожняла все другие, стоящие на столах, ополовиненные, только пригубленные или вовсе нетронутые. От перекефиривания девочке становилось плохо, иногда ее рвало. Больше двух стаканов ей выпивать не разрешали — нянечки следили за этим и тут же выливали в раковину недопитое другими детьми. А если не досматривали — все повторялось.

Еще две однокомнатницы Лики, Соня и Вера, одиннадцати и двенадцати лет, улыбчивые и диковатые, смотрели на меня издали, никогда не подходя для поцелуев, а только за привезенными гостинцами — фруктами, конфетами и печеньем; украдкой, как зверьки, хватали их и отходили. Однако в забавах участвовали охотно. Я привозила игрушки своей пятилетней дочери, и они вполне годились для обитательниц интерната, ведь интеллект даже взрослых даунов приблизительно как у ребенка четырех-пяти лет. Мы складывали из кубиков слова МАМА, ПАПА, СОБАКА, КОНФЕТА, потом пробовали крупно и коряво писать их в альбоме; играли в настольные игры, бросая по очереди кубик и передвигаясь по красочному, разрисованному персонажами из известных сказок полотну: Вера всегда задумчиво останавливалась возле свирепой Бабы-яги, всерьез намеревающейся засадить в печь свой ужин — братца

Иванушку, а Соня, наоборот, проносила через все сказки без особого интереса, и только перед финишем, где прекрасная царевна с царевичем летят на ковре-самолете, зачарованно замирала и, пытаясь передать свой восторг, хватала меня за руку, показывала на картинку, бормоча что-то нечленораздельно и взволнованно. Моя Лика играла сосредоточенно и хмуро, будто решала сложную математическую задачу, расстраивалась до слез, если проигрывала, а если выигрывала, целовала сначала меня, потом игральный кубик, принесший ей победу. В игре участвовали все, кроме Кефирки; она сидела и смотрела в окно часами, почти не двигаясь и ничего не говоря, только иногда обволакивала нас своим бессмысленным и затяжным дождевым взглядом, будто опутывала невидимой, но прочной сетью. Девчонки на нее не реагировали, а я еще долго была спеленута этим взглядом; мне казалось, он устремлен в темный дороговой мир, где еще не было ее и где она вовсе не желала появляться, девочка словно заговаривала безжизненное пространство, заклинала его не производить себя, не соединять неведомые монады для зарождения новой, никому не нужной и не интересной жизни. Но ее никто не услышал. А может, и некому было услышать. Она должна была появиться на свет — и точка. Как и тысячи других, больных и брошенных своими матерями существ, пожизненно запертых в угрюмые интернаты и больницы. Если бы они могли выбирать, они, наверное, выбрали бы небытие, только кто спросил их? И кто спрашивает теперь — хотят ли они жить дальше?..

Лика схватила «Белочку», торопливо развернула, бросила конфету в рот, видно было, как та недолго барахталась, упираясь то в одну, то в другую щеку, пока ее наконец не смяли, не сломили нестойкое шоколадное сопротивление. Фантик был брошен на пол и уже разворачивался «Цитрон».

— Нет, дорогая моя, так не пойдет! Разве можно бросать фантики на пол? Ну-ка, сейчас же подбери и выброси в мусорное ведро!

Лика поджала губы и отвернулась, продолжая при этом разворачивать очередную конфету.

— Ты слышишь, я к тебе обращаюсь!

Лика показала мне шоколадный язык, нехотя нагнулась, медленно подняла фантик и крепко зажала его в кулаке.

— Молодец, теперь брось в ведро. И нечего показывать мне язык. Вот тебе за это! — и показала ей свой.

Лика расхохоталась, другие девчонки тоже, веселый фантик полетел в ведро.

Моя дочка Катя тоже была несговорчива, никогда не делала сразу то, о чем ее просили. Иногда приходилось повторять по десять-двенадцать раз. Терпение иссякало, я орала, муж успокаивал меня, дочь рыдала. Потом мы нежно мирились, обменивались поцелуями и обещаниями: я — больше не кричать, дочь — всегда слушаться. Но обе нарушали свои обещания так же легко, как и давали их.

Что ж, пора уезжать. Через пятнадцать минут детям на ужин.

Обнимаю Лику. Жди меня, моя девочка, скоро вернусь. Она прижимается, но не так пылко, как при встрече, а будто уже приучая себя к мысли о разлуке,

о том, что вот сейчас за мной закроется дверь, и ей опять достанутся лишь скудные интернатовские радости: еда, сон, прогулки с Дурындой. Вера и Соня машут мне руками, слабо и безучастно, будто деревенские старушки, глядящие в окно на уезжающих в город сыновей. Надолго. Быть может, навсегда. Кефирка, оторвавшись от окна, улыбается мне, все так же отстраненно и неприветливо — тряпичная кукла, которую дернули за веревочки, чтобы изобразить улыбку.

В коридоре встречаюсь с выходящими из соседних комнат волонтерами — у нас крепкая команда, сросшаяся за полгода: Вероника, наш куратор, молодая, каштановолосая, с озорными зелеными глазами; Тина, тонкая и капризная, фотограф лет двадцати пяти; Паша, тридцатилетний чудик, рано начавший лысеть, бывший детдомовец, неженатый, но мечтающий усыновить сразу троих, когда будет пригодное для этого жилье; Илья, добродушно-пухлый, в очках, психолог, пишущий кандидатскую, недавно сам стал отцом — два месяца назад у него родился сын.

Выходим, обмениваемся впечатлениями, прощаемся с неотрывно глядящей нам вслед беременной Дурындой, повиливающей хвостом, и двигаемся к моей красной «Тойоте».

По дороге в Москву включаем радио: в Японии устраняют последствия после взрыва ядерного реактора, подсчитывают убытки... Да еще случилось землетрясение... В Египте и Тунисе продолжаются революционные волнения... Переключаю на другую волну. Радио «Релакс FM». Ненавязчивая спокойная мелодия. Вот и славно. Это сейчас именно то, что нужно. После сложных впечатлений долгого дня. Все молчат. Вероника сидит рядом со мной, курит, глядя в окно. Пальцы у нее очень красивые, длинные, с причудливо разукрашенными ногтями. Она менеджер в какой-то строительной компании. У нас, волонтеров, не принято подробно рассказывать о своей жизни, поэтому никто ни к кому не пристает с расспросами. Если хочет человек сам что-то о себе рассказать — пожалуйста. Выпытывать никто не станет. Кидаю взгляд в зеркало заднего вида: Паша сосредоточен и печален, едва заметно шевелит губами — такая у него привычка — проговаривать шепотом то, что вещает внутренний голос; Илья улыбается отрешенно и мирно, пропуская мимо ушей все мировые катаклизмы: он сделал хорошее дело — навестил обездоленных детей, и дома его ждет маленький сын. Все хорошо. Мы едем быстро, по крайней левой полосе, сто сорок километров, мне всегда было плевать на ограничения скорости, я люблю скорость, люблю мелькающие за окном сельские пейзажи, унылые подтаявшие мартовские леса и тяжелые, бетонные тучи, давящие на крышу машины. Ничего — распогодится. Развеснится, разапрелется. Будем ходить с дочкой кататься на роликах и дуть на одуванчики. Их пушинки так весело летят в солнечном свете, и Катя так смешно их ловит. Хотя ловила она их почти год назад, и тогда ей было четыре. Сейчас — не знаю, может, будет серьезно и зачарованно смотреть на их легкий, предугаданный ветром путь и не мешать им лететь туда, куда предназначено. Мои подопечные — тоже одуванчиковые пушинки, пролетают мимо меня, грустно и невесомо, и я не могу их поймать, а только дунуть, чуть-чуть изменив их траекторию, но не нарушив цели пути...

2

Около года назад наткнулась в Интернете на объявление Благотворительного Фонда «Подари чудо»: «Нелидовской школе-интернату срочно требуются прокладки». А ведь и в самом деле, подумалось, там же девушки, а на такие интимные вещи вряд ли государством выделяются деньги. Представила, как девчонки ссорятся за каждую пачку этих глупых лоскутков... Объявлений такого рода было множество. Детским домам и интернатам требовались тетрадки и ручки, туалетная бумага, одежда, обувь, компьютеры и спортивный инвентарь. Хотелось выполнить все просьбы сразу.

В каждом детском доме помимо нужд публиковались списки ежемесячных именинников, например, вот таких:

Быковский д/д

Подарки именинникам

Сентябрь

Алеша К. 9.09. (2007 г.р.) На усмотрение дарителя.

Даша М. 12.09. (1996 г.р.) Сотовый телефон.

Оля З. 17.09. (1997 г.р.) Маникюрный набор, косметика.

Ариша Л. 22.09. (2005 г.р.) Кукла с сиреневыми волосами.

Кристина В. 25.09. (1994 г.р.) На усмотрение дарителя.

Боря А. 26.09. (2004 г.р.) Машинка с пультом управления.

Илья П. 28.09. (1999 г.р.) На усмотрение дарителя.

Позвонила в Фонд, спросила, куда подвезти подарки. Оказалось, на «Новослободскую».

— А заодно и посетите собрание волонтеров, оно состоится как раз в понедельник, в 18 часов, — сказал мне улыбчивый женский голос.

— Собрание? Но я же не волонтер...

— Ну, кто знает, может, вы решите вступить в их ряды? А нет — так просто слушаете.

Благотворительный Фонд «Подари чудо» располагался в трехэтажном особняке недалеко от метро.

— Я на собрание волонтеров, — объяснила вялому, нехотя оторвавшемуся от кроссворда вахтеру.

Он безразлично кивнул, снова погрузившись в свою нехитрую головоломку.

Поднялась на третий этаж. В аккуратном офисе, напичканном современной техникой, сидела столь же аккуратная с зачесанными назад блестящими волосами девушка. Бывают лица, будто стерильные. Образцовые черты лица, образцовая улыбка, образцовая вежливость.

— Вы по какому вопросу? — спросила она, в меру улыбаясь.

Если бы она недоулыбнулась, это было бы невежливо, а если бы переулыбнулась — выглядело бы чересчур фамильярно. Все выверено — никаких лишних движений.

— А чем конкретно занимается Фонд? — поинтересовалась я.

— У нашего Фонда широкое поле деятельности, — уклончиво ответила девушка, — но в основном — благотворительность.

— А как это конкретно происходит?

Она взглянула на меня настороженно:

— Ну, нам приходят на счет деньги благотворителей, а мы их перенаправляем нуждающимся.

— Понятно. То есть, конечно, не совсем...

— Вы все-таки по какому вопросу? — уже без улыбки прервала она меня.

— Я хотела передать подарки детям Быковского детского дома, тем, у кого день рождения в сентябре.

— Отлично, отлично, — снова заулыбалась девушка, будто внутри нее включили улыбочную лампочку. — Положите, пожалуйста, вот сюда, — указала на стол, на котором лежали еще какие-то пакеты и свертки. Спасибо большое!

— А вы разве не будете записывать имена детей? — удивилась я.

— Каких детей?

— Ну, которым подарки-то передать...

— Ах, да, конечно, — спохватилась она.

Я продиктовала, положив на стол сотовый телефон для Даши, маникюрный набор для Оли и машинку с пультом для Бори.

Куклу с сиреневыми волосами для маленькой Ариши внезапно решила отвезти сама.

Захотелось самой подарить куклу этой девочке, почти ровеснице моей дочери, с такими же, наверняка, с такими же шелковистыми волосами. С нежной картвинкой.

— А на собрание куда идти? — спросила у офисной улыбальщицы.

— Второй этаж, зал № 3.

Собрание уже началось, за большим столом буквой П сидели человек пятнадцать. В основном — женщины. Молодые и средних лет. Только одной — явно за пятьдесят. Двое мужчин. На вид — лет двадцати пяти-тридцати. Прямо как в бальных танцах — там тоже всегда недобор по мужской части, партнерши только что не дерутся за партнеров, и даже если те совсем неказисты, им все равно достаются самые красивые женщины. И в жизни все идет к этому: женщин в природе заметно больше, чем мужчин, а потому даже самый захудалый экземпляр считает, что он достоин только красотки...

Вела собрание белокурая, хрупкая, похожая на мышонка Олеся Вилоч — так она представилась еще раз специально для опоздавших, то есть для меня. На большом экране, висящем на стене, громоздилась таблица, повествующая о деятельности Фонда. Сводилось все к тому, что Фонд, как мне и сказала офисная девушка, занимается перераспределением поступающих на его счет средств благотворителей — как частных лиц, так и организаций, покупая на них по возможности все необходимое для детских домов и интернатов. Одна из программ — волонтерское движение.

— Мы придаем очень большое значение волонтерскому движению, набирающему сегодня популярность особенно среди молодежи, и считаем его одним из главных направлений деятельности Фонда, — старательно объясняла Олеся, — так что желающие могут присоединиться, будем вам рады! У каждого детского дома есть свой куратор, который организует поездки к детям и программу мероприятий: всевозможные мастер-классы, соревнования и так далее. У нас, знаете, интересный был случай. Один мужчина вот так же, как вы, на собрании, все выслушав, заявил: «Все эти ваши мастер-классы — полная ерунда! В XXI веке

самая важная профессия — землекоп. Вот я приеду и научу детдомовских мальчишек копать землю! Чтобы они выросли достойными землекопами!»

Все засмеялись.

— А одна женщина, — продолжала перечень курьезов Олеся, — представляете, переписывалась с воспитанником из детского дома года полтора по программе «Друг по переписке», а потом, когда он вышел оттуда и получил квартиру, выскочила за него замуж. Она его старше лет на двадцать! Ну, сразу же и прописалась туда. Понятное дело — вскоре развелись. И — вытряхнула парня из квартиры! Представляете?! После этого случая мы закрыли программу «Друг по переписке». Так что надеюсь, вы все люди порядочные и с чистыми намерениями. А теперь я хочу предоставить слово кураторам, кто хочет что-нибудь сказать новичкам?

— Ну, давайте я, — поднялась мешковато одетая женщина с усталым, словно вылинявшим, лицом. От стула к стулу бегала и хулиганила ее собственная дочь лет шести. — Светка, не мельтеши! — одернула она ее, — сядь и посиди тихонько. Так вот что я хочу сказать... Знаете, когда первый раз люди едут, думают: сейчас они привезут детям какой-то подарок и те сразу кинутся их благодарить и обожать... На самом деле все совершенно не так. Многие дети замкнуты и необщительны, иногда даже грубы. Они могут вообще не пойти на контакт. И что уж точно их обидит и оттолкнет — так это жалость. Жалость им не нужна... Ни в коем случае! Тепло, участие, искренний интерес — вот что им необходимо. Только не рассчитывайте на быстрый результат! Его не будет. Имейте терпение. И даже если в первой поездке все произошло не так, как мечталось, не бросайте начатое дело. Ведь это не развлечение или заполнение своей личной пустоты, это дело всей жизни...

Через неделю я привезла в офис тридцать упаковок прокладок. Мало, конечно, но лучше, чем ничего. Как ни странно, почти столько же привез один из бывших на собрании волонтеров мужчин — долговязый, с сальными волосами и нелепо висящими длинными руками. Представился Виталием.

Олеся Виллок посмотрела на его «дары» несколько настороженно, но все же улыбнулась, поблагодарила. Когда Виталий ушел, я поделилась с ней своими опасениями:

— Похож на тайного педофила...

— Ой, ну что вы! — хихикнула Олеся и тут же нахмурилась: — Хотя кто его знает... А вообще, вы знаете, наши мужчины-волонтеры очень чуткие, к ним так тянутся дети, особенно мальчишки...

— Да я не сомневаюсь. Но этот уж очень похож на извращенца. Он напоминает мне одного типа. Знаете, когда я после школы захотела поступить в цирковое училище и приехала туда на просмотр, ко мне подошел вот такой же и сказал, что, дескать, по конкурсу пройти очень сложно, но он может мне в этом помочь, у него есть необходимые связи. Кем я хочу быть? Воздушной гимнасткой? Нет проблем. Что для этого нужно? Да просто поехать с ним туда, где он может посмотреть, гожусь ли я для цирка.

— Господи, и что? — замерла с вытаращенными глазами Олеся.

— Ну, что... Завел по пути в подъезд какой-то высотки, поднялись на чердачный этаж...

— Изнасиловал?!

— Да нет. Попросил сесть на шпагат. Я села. «Прекрасно, прекрасно», — приговаривал он. Вдруг начал гладить мои ноги. А я была в такой коротенькой клетчатой юбочке... Потом полез в трусы. Не нагло, а робко так, будто случайно. Тут я вскочила и закричала. Громко. Он испугался — и в лифт. Вот, собственно, и все.

— А дальше-то что было? — Олеся по-старушечьи поднесла руки к щекам и покачивала головой.

— Ничего. Я спустилась по лестнице и поехала домой. Больше я его не видела. Но и в цирковое училище поступать не стала.

— Да-а-а, — с облегчением вздохнула Олеся. — Бывает же... Ладно, этого, — она кивнула на стопку прокладок сальноволосого, — мы обязательно проверим!

— А как проверите-то?

— По факту.

— Это, простите, как?

— Ну, если в процессе поездок будут жалобы...

— То есть как жалобы? Это когда он кого-нибудь уже изнасилует, что ли? А вообще бывали такие случаи?

— А вы часом не журналист? — насторожилась Олеся.

— Что вы, — отреклась я, — нет, конечно.

— Был один случай три года назад. Я только пришла работать в Фонд.

— Так вот, один гаденыш заделался волонтером. Доброжелательный, услужливый такой. С машиной. А с машинами, сами понимаете, у нас всегда проблемы... Занятия по акробатике вел, сам в прошлом — мастер спорта. А потом — бац — и на тебе! Девятилетнюю девочку, оказывается, изнасиловал... Сволочь. Громкое дело было. Неужели не слышали?

— Нет. Посадили его?

— Посадили.

— А как она?

— Кто?

— Ну, девочка эта?

— Ничего вроде. Психолог с ней серьезно работал... Только теперь молчит все время. Слова не вытянешь.

— А как ее зовут?

— Вика, но в каком детском доме не скажу. Не нужно ее тревожить. А то все к ней с жалостью лезут, а ей от этого еще хуже. Помните на собрании говорили — жалость детдомовским не нужна.

— А что им нужно?

— Понимание. Участие. Если хотите — дружба. Ведь они как думают? Приехали вы к ним один раз, из любопытства там или из жалости, поглазели, подарки привезли — и все. Второго раза не будет. Они предательство заранее чувствуют и заранее переживают. Степень недоверия к миру у этих детей гораздо больше, чем у благополучных. Они уже с детства изгои, понимаете?

Я кивнула.

— Я ведь сначала сама ездила, — продолжала Олеся, — а потом поняла: больше не могу.

— Почему?

— Да мальчишка один ко мне привязался. Глеб. Из Зубцовского детского

дома, это в Тверской области. Ему шесть. Сейчас уже скоро семь... Веселый такой, доверчивый. Я как только приезжала, он кидался ко мне: «Мама, мама!» Господи, до сих пор этот крик в ушах стоит! И так мне стыдно было... Взять-то я его не могу, некуда. Живем с мужем в «двушке», у самих двое детей, да еще мать его... Куда нам? Вот так и перестала туда ездить. Понимаете, каждый раз такое ощущение было, что я предаю его, что это не мать, а я его бросила. Трудно это словами передать... Уже почти год там не была. Не могу.

— А как Глеб?

— Говорят, ждал несколько месяцев. Спрашивал обо мне. Потом перестал.

Я представила его стоящим у окна. Грустного, растерянного, переживающего свое недетское и уже не первое предательство. Почему-то с рыжими вихрами.

— А какого цвета у него волосы? — спросила Олеся.

Она удивленно взглянула на меня.

— Рыжие. А что?

— Нет, так просто.

Олеся открыла окно, закурила.

— Здесь вообще-то нельзя курить, — объяснила она, — но вы же никому не скажете?

— А можно мне к нему съездить?

— К кому?

— К Глебу.

Олеся помолчала.

— Если поедете, я передам для него подарок. Ладно?

— Угу.

— А у вас дети есть? — спросила она.

— Дочь. Ей пять.

— Ясно. Хотите совет? Никогда, слышите, никогда не привязывайтесь глубоко к этим детям. И главное — не привязывайте их к себе, как это сделала я.

— Да разве такие вещи можно как-то регулировать?

— Приходится. У нас, волонтеров, главный принцип, как у врачей: не навреди!

— Гораздо больший вред, мне кажется, причинит им неумение любить вообще. Тогда они будут не в состоянии ни принять любовь, ни отдать ее. Как мертвые цветы. С сильным стеблем, молодые. Но — мертвые. Срезанные. Вот это, по-моему, страшно.

— А знаете, — задумчиво сказала Олеся, — у меня почему-то все цветы, которые стоят на подоконнике, засыхают. Вроде и поливаю их, а они все равно гибнут. Почему так, а?

— Не знаю. Может, им не хватает воли к жизни...

— Может быть. Наверное, что-то похожее происходит и с детдомовскими детьми. Ведь ни для кого не секрет, что из десяти выпускников детских домов только один-два успешно адаптируются в дальнейшей жизни. Не потому что они такие неприспособленные, как раз наоборот, а просто они не чувствуют достаточного стремления жить...

И я пыталась.

Не привязываться.

Первое время.
Теперь уже не пытаюсь.
Я привязана так, что не продохнуть.
Когда за шею обнимают детские руки — больно дышать.
Будто в горло воткнули сотни мелких осколков.
Я проглатываю их —
И живу дальше.

3

Из Малоярославца вернулась домой поздно вечером. Усталая и опустошенная. Многие волонтеры говорят, что чувствуют после таких поездок удовлетворение, душевный подъем. Человек сделал хорошее дело — и доволен. У меня иначе. Я оказываюсь будто на самом дне пустоты, и не знаю, что надо сделать, чтобы всплыть на поверхность и продолжать дальше обыкновенно жить. И как это — обыкновенно? Находиться в состоянии, когда хватает сил только на свою собственную жизнь, на решение только своих личных проблем? Но этого недостаточно. Я все время чувствую вину перед всеми этими детьми, вину неясного происхождения, она сочится, как кровь, и когда она вытечет вся, я стану мертвой.

...Дочка спит. А точнее — нам с Андреем хочется так думать. Еще с полчаса из темноты детской комнаты слышится ее пение, смех и шепот. Ребенок беседует с куклами, будто заговаривает пространство, чтобы пришел счастливый завтрашний день, чтобы настало завтра, которое всем для чего-то нужно. Всем — даже тем, кто не знает зачем.

Андрей сидит рядом. Экран ноутбука затягивает его как в воронку. Мои вопросы с трудом выдергивают его оттуда, приходится переспрашивать по два-три раза. Я смотрю на его красивый профиль. Хочется провести пальцем по этому рельефу, потом поцеловать пунктирно всю линию, дойти до губ и замереть.

— Побудь со мной... — прошу его.

— Я и так с тобой, — не отрываясь от экрана, говорит Андрей.

— Ты не со мной, а с ним, — киваю на ноутбук. — «Живой журнал» тебе нужнее живой жены...

— Ну, Полин, ну, перестань. Ты же знаешь, я люблю тебя, — раздражается муж.

— Я знаю. Но в последнее время я перестала это чувствовать. Мне не хватает твоего внимания.

— Опять ты начинаешь...

— И Кате не хватает. Ты бы хоть поиграл с ней.

— Сейчас? Она же спит.

— При чем здесь — сейчас? Вечером можно было, и вчера, и позавчера...

— А мы и так вечером играли.

— Во что?

— В монстров.

— В каких еще монстров?

— Ну, компьютерная игра такая...

— Послушай, ты что, из нее хочешь сделать компьютерного зомби?

— Поль, ну, не утрируй, пожалуйста. Все тебе не так...

Я понимала, что надо остановиться. Что я, в самом деле, придираюсь? У нас счастливая семья, замечательная дочь, своя квартира. Три-четыре раза в неделю случается близость, в принципе, нормально для пары, прожившей шесть лет в браке. Хотим второго ребенка. Ну, вроде бы хотим. Точнее — раньше хотели, а теперь разговоры об этом возникают все реже — усталость, другие заботы. Книги, которые надо написать. Его дети — стихи, которые приходят по ночам и требуют быть написанными, мои — рассказы и повести, которые пишутся долго и трудно, иногда вынашиваются как младенцы слонов, по два года, часто оказываются ложной беременностью и оборачиваются разочарованием и новой, еще более плотной пустотой. Ведь любая хорошая книга — преодоление, преобладание добра над злом, победа над пустотой и бессмысленностью.

Возможен ли счастливый брак вообще? Или люди, существуя вместе, могут только найти необходимую для дальнейшей жизни пропорцию горя-радости? Баланс приближения и отталкивания, раздражения и нежности, искренности и хитрости, преданности и предательства?.. Многие заводят любовников, годами обманывают друг друга, сохраняя при этом видимость крепкой семьи. Обрастают взаимными обидами, как лежалый хлеб — плесенью. И ничего — живут. Над верными мужьями сегодня посмеиваются, как над малахольными, не от мира сего, не умеющими получать удовольствие от жизни. Иногда трудно бывает отличить удовольствие от радости. А ведь это совсем разные вещи. Удовольствие одноразово и выветривается быстро, как нестойкие духи. Радость всегда глубинна. Как сочный лесной воздух, после прогулки остающийся с тобой на целый день.

Периодически муж впадал в депрессию, приходил к неоригинальным выводам о полной бессмысленности нашего земного существования. Ходил угрюмый, со злой решимостью приводил в порядок дела — готовился к смерти. Длилось это около недели. Сначала я пугалась, пыталась таскать его по психотерапевтам, потом стала переживать его критические дни, как он — мои.

А однажды спросила:

— Ты способ-то уже выбрал?

— Какой еще способ? — не понял он.

— Ну, как руки на себя наложишь? Петля или что-нибудь иное... Пистолет, например. А лучше — яд.

— И ты еще издеваешься! — возмутился он. — Как ты можешь! Ты же видишь — мне и так плохо!

— А чего тебе так уж плохо? Дочь, любимая жена, стихи твои...

— Стихи — полное дерьмо, — отвечивал Андрей.

— А наша дочь?!

— Ну, вырастишь как-нибудь...

— А ты тут ни при чем, что ли? Все на меня свалить хочешь?!

— Прекрати иронизировать, — обижался он, — мне не до шуток.

— Мне тоже. Слушай, но, может, хоть в чем-нибудь есть смысл? — уже серьезно спрашивала я.

— Ни в чем нет.

— Ты уверен?

- Абсолютно.
- А мы?
- Что — мы?
- Ну, мы, наша любовь.
- А что любовь? Ерунда все это. Найдешь себе другого.
- Я не хочу другого. Я хочу тебя.
- Перехочешь.
- Прекрати хамить!
- Тогда не говори глупости.
- А твои мысли о самоубийстве очень умные...
- Да уж получше, чем твои — о вечной жизни и вечной любви!

Кончались такие диалоги обычно смехом, поцелуйной возней, долгими нежностями и просьбами мужа — простить его, дурака.

Я прощала, уверяла, что его стихи самые лучшие на свете. Он делал вид, что не верит, но я знала — на самом деле он так и думает. Просто ему постоянно нужно было подтверждение. Дочери нужно было подтверждение любви, мужу — подтверждение гениальности. Вот так я и лавировала между их настроениями, мало заботясь о своем собственном. А оно менялось постоянно — от легкого и веселого до тягостно-мрачного, и это изматывало больше, чем самая тяжелая работа.

Все время нужно было кого-то утешать и поддерживать.

Кому-то надо быть сильным.

Или — хотя бы казаться.

4

Шесть лет назад, после смерти моего отца, мать внезапно увлеклась фэн-шуй, патологически уверовав в него как в действенную философию благополучия и полной гармонии. По всей ее квартире пузатились статуэтки разнокалиберных Будд, многоруких Ганеш, лупоглазых лягушек, со спинами, облепленными монетками. На стене висели картины из красной бархатной ткани с изображением плывущего корабля, парящего орла, вздыбившегося коня. Лягушек было три. Глаша, Маша и Даша. Каждый день мать, называя по именам, говорила с ними, гладила, раз в месяц благодарила за пенсию, вовремя полученную. Позвякивали многочисленные колокольчики, нежной трелью отзывалась музыка ветра.

На самом видном месте — собрание сочинений Ольги Истины, рассказывающей простодушным дамам о том, как стать богатой без денег и счастливой без любви. На обложке фото автора безапелляционно утверждало обратное: холеная, ухоженная и дорого одетая женщина с продуманно наивными белокурыми кудряшками улыбалась хитро и словно подмигивая: «Видите, у меня получилось! И у вас получится, если будете покупать и читать мои книги».

Мать выучила наизусть множество мантр на все случаи жизни и произносила их как молитвы по многу раз в день. Какую-то, особенно могущественную, аж сто восемь. Она монотонно долдонила ее минут сорок, потом с чувством выполненного долга пила чай с халвой, приговаривая: «Ну вот, теперь все будет хорошо!»

Если я жаловалась ей на здоровье, она тут же, как микстуру, прописывала мне чудодейственную мантру.

— Не забудь, читать надо двадцать семь раз и обязательно при полной луне, — напутствовала она, — а то не подействует!

Уборка квартиры производилась под одну мантру, поездка в машине — под другую, прогулка с собакой — под третью.

Когда мы попадали в пробку на МКАДе, а это происходило практически каждый раз по пути на дачу, она распевала мантры до тех пор, пока, наконец, мы не доезжали до места аварии или сужения дороги, после чего пробка благополучно рассасывалась.

— Вот видишь, как мантры работают! — простодушно восхищалась она, — а ты не верила!

— Мам, ну при чем тут твои мантры? Целый час ведь в пробке торчали! И потом, другие же водители не читали мантры, а из пробки выскочили точно так же, как и мы...

Она поджимала губы:

— Не хочешь — не верь! Я-то знаю, что пробка не сама собой рассосалась! Вот если бы я не пела мантры... тогда...

— Что — тогда?

— Еще бы час или два пришлось простоять!

Если я делилась с ней проблемами на работе, рецепт оглашался незамедлительно.

— Значит так. Записывай: Гатэ гатэ поро гатэ поро сом гатэ бодхи сваха. Повторишь девять раз, а еще лучше — двадцать семь.

— А может уж сразу восемьдесят один? — иронизировала я. Чтобы уж наверняка...

— Дурачишься? — обижалась она. — Ну и сиди со своими проблемами!

В ту пору я общалась с одним молодым человеком, Алексом, у которого стремительно и бесповоротно сходил на нет хилый бизнес в захудалом окраинном кафе с одноименным названием «У Алекса». Место было непроходное и неприглядное. Неподалеку стояли три лавки, с некоторых пор облюбованные бомжами; скамеечные жители пребывали на деревянном лежбище почти круглосуточно, удовлетворяя свои скудные жизненные потребности: еду, сон, прогулку, курение и громкоматерное, приправленное алкоголем общение. Вследствие чего человека, решившего посетить это кафе, неизбежно окутывала плотная вонючая завеса, прежде чем он, зажав нос и брезгливо морщась, прорывался внутрь заведения.

Алекс пробовал договориться с бомжами разными способами: уговорами, деньгами (а их, понятное дело, не напасешься), с помощью заранее оплаченного наряда милиции. Бомжи казались сговорчивыми и уходили довольно быстро, но на следующий день неизменно возвращались на лавки, как к себе домой, и к вечеру уже сидели, балагурили и тискали осоловевшую, с заплывшими глазами и мочалковыми, давно немывыми волосами общую безотказную подругу.

Мама, строившая насчет моего кавалера далеко идущие планы, обычно сопровождаемые маршем Мендельсона, узнав, что потенциальный жених на грани разорения, сунула мне в руку бумажку и таинственно наказала:

— Вот, отдашь своему Алексу. Пусть читает на ночь в течение месяца три, а лучше девять раз. Действует стопроцентно — проверено!

— На ком?

— На кошках! — съязвила мать. — На ком, на ком! На хороших людях, ясно?!

— А что случилось с этими хорошими людьми? — поинтересовалась я. — Они еще живы?

— Тьфу на тебя!

Я развернула. На бумажке аккуратным почерком была написана мантра на полстраницы. Почему-то три раза повторялось слово сваха.

— Это приворот, что ли?

— Какой еще приворот! Это для процветания бизнеса. Пусть сначала свое дело наладит, а то было бы чего привораживать!

— А мантры эти адаптированы для России? — поинтересовалась я.

— В каком смысле?

— Ну, в смысле, что у нас ведь бизнес строится несколько по иным законам, чем в других странах...

— Очень остроумно! Пойми, это же воздействие на пространство, а законы пространства одинаковы везде, в любой точке земного шара.

— А... Тогда понятно.

Я честно передала бумажку Алексу. Он недоверчиво и внимательно прочитал, насторожился:

— А чего это тут все время про сваху?

— Ну, понимаешь, это мантра такая. Для успеха в делах.

— Брачных? — уточнил он.

— Да нет, — смутилась я. — Ну, как тебе объяснить? Это типа порчи на бомжей твоих. Чтобы свалили побыстрей.

— Почему это моих? — оскорбился Алекс.

— Но они же сидят возле твоего кафе?

— Сидят, — вздохнул он, — чтоб их черти взяли!

— Вот тут примерно то же самое пожелание, — ткнула я в бумажку. — Ладно, что тебе, трудно, что ли? Почитай — вдруг правда поможет?

Не знаю, читал ли Алекс эту мантру, но кончилось тем, что через пару месяцев попросту стало нечем платить за аренду, и кафе закрылось. Чтобы расплатиться с долгами, Алекс пошел работать в автосервис сварщиком (когда-то он закончил ПТУ по этой специальности), а бессменные бомжи как ни в чем не бывало продолжали тусоваться на прокуренных лавках.

Однажды, когда у моего мужа не ладилась работа и грозило увольнение, мать велела выстричь у него с головы три небольших пряди, пошептать над ними мантры для привлечения денег и пустить по ветру.

— При луне? — уточнила я.

— При полной луне, — серьезно поправила она.

Отрезала, пошептала, пустила по ветру.

Может, обрезала не так, может, нашептала что-то не то, может, луна была не совсем полная, — только на следующий день в метрополитеновский час пик у мужа вытащили кошелек. Благо там было всего полторы тысячи рублей.

— Ну вот, — рассердился муж, — а если бы не стригла, не вытащили бы!

— Но это, знаешь, тоже фатализм, — заметила я.

— И все же лучше, чем идиотизм!

Рассказала маме про кражу. Но она ничуть не смутилась:

— Это потому, что вы не верите!

— Кому? Ольге Истине?

— Нет, мирозданию. Его благодатной силе.

— Мам, а свою веру в благодатные силы мироздания надо обязательно подкреплять обрезанием волос? Хорошо еще, кстати, что только волос...

— Не ерничай, — строго сказала она. — И вообще — дело не в этом.

— А в чем?

— Кровать-то у вас как стоит? Я ведь сколько раз говорила!

Это была давняя и абсурдная история. Несколько лет назад мать пришла к нам с каким-то китайским компасом, после чего, держа его бережно на ладони, как диговинного жука, тщательно обследовала две комнаты и пятиметровую кухню. Ходила долго, будто заблудилась в дремучем лесу. После придирчивого осмотра прозорливым фэн-шуйским оком нашей скудной хрущевской жилплощади были сделаны следующие выводы: супружеская кровать стоит неправильно, кровать ребенка тоже (поэтому он так часто и болеет), а плиту со стиральной машинкой на кухне надо немедленно поменять местами — огонь ни в коем случае не должен находиться рядом с водой!

— А, по-моему, наоборот, гармонично, — возразила я, — огонь и вода — две мощные стихии...

— Не болтай ерунду! — вскипела мать. — Ты что, хочешь, чтобы у тебя все в жизни шло наперекосяк?

Я помотала головой.

— Так вот, — напирала она, — тогда переставь в другом направлении обе кровати и поменяй местами плиту с раковиной. А лучше — всунь между ними какую-нибудь тумбочку. Пока еще не поздно!

— Не могу, мам, в такой тесноте все стоит единственно возможным способом.

Когда ей перечили, она мгновенно выходила из себя.

— Ах, так! Не хочешь, значит? Ну, хорошо! Когда будете болеть всей семьей, придете ко мне — только я знаю, как вам помочь!

Я поняла, что с какого-то момента невинное на первый взгляд увлечение приняло угрожающий, агрессивный характер. И, кстати, довольно затратный.

— Я записалась на курсы самой Ольги Истины! — однажды радостно сообщила мама. — Дорого, правда. Ну, ничего — оно того стоит!

— А дорого — это сколько? — осторожно осведомилась я.

— Два занятия — одиннадцать тысяч.

— Сколько?!

— Одиннадцать, — гордо повторила она. — Я богатая женщина, я могу себе это позволить!

«Я богата, я богата, я богата», — любимое мамино заклинание, Ольга Истина советовала твердить его каждый день, объясняя это тем, что мысли формируют будущее. Будешь так думать — и вправду разбогатеешь.

— Беру с собой все, что накопила с пенсионных, — заявила мама, отправляясь на курсы, — тридцать тысяч!

— Все не трать, — предостерегла я.

— Вложенные в доброе дело деньги вернутся удвоенными! Или даже утроенными!

— Ну, так это если в доброе...

Боже мой, как дурачат одиноких несчастных баб, подумалось тогда. Целая система работает. Идеологический конвейер по отъему денег. Спекуляция на извечной человеческой мечте о счастье. По сути, та же самая секта. Засосало — и не выдернешь уже оттуда человека. И в преступлении организаторов не уличишь. Вроде все делается добровольно. А это даже страшнее принудиловки, потому как протеста не вызывает, наоборот, овцы идут на заклание, чувствуя моральное удовлетворение: они приобщились к сакральным знаниям, они избранные, теперь в их жизни будет сплошная радость и много-много денег. А любую проблему — от мелкой до серьезной — можно мантрами заговорить, как змею зачаровать волшебной дудочкой. Только дудочка-то ненастоящая, хоть и купленная задорого...

— Все, я побежала, — вспыхнула уверенной улыбкой, — с собакой погуляешь?

— Угу.

Старый Туман (помесь лайки с дворнягой) спокойно и мудро глядел на сумасбродства своей хозяйки, никак не реагируя на легкодоступные рецепты счастливой жизни от Ольги Истины. На прогулке подволакивал слабые задние лапы, подолгу стоял и прощально нюхал живой воздух, время от времени покусывая чахлую московскую траву, бултыхался по лестнице, самоотверженно и безуспешно карабкаясь на четвертый этаж — приходилось нести его наверх на руках, вяло опорожнял содержимое миски и спал, спал, спал. Вздрагивая и храпя, на старом одеяле в коридоре, редко и хрипло таявкая на торопливые лестничные шаги...

Вечером мать вернулась возбужденная, таинственная.

Катя уже в пижаме, нацепила недавно купленные ей ролики, и, натываясь на мебель, падая и хохоча, каталась по квартире. Резко затормозив, уткнулась в бабушкин живот.

— Тише ты, тише, все мне перебеешь тут! — замахала она руками.

Катя, не обращая внимания на предостережения, пыталась закружить бабушку в своем роликовом вальсе, оглашая пространство вопросом:

— Ну как, бабушка, фен шуй!

— Отлично! — просияла та. — Да погоди ты, утомонись, перебеешь все!

— Да что она перебьет-то, ты что, хрусталия накупила? Чего там на лекциях-то было? — спросила я.

— Собирали вазу богатства, — загадочно и почему-то шепотом сообщила мать. — Я тебе тоже купила.

— Что купила?

— Да говорю же — вазу богатства!

— А что это такое? Мне-то она зачем?

Шепот мгновенно взвился до крика:

— Слушай, ты богатой хочешь быть или нет?

— Богатой? Не знаю даже. Нет, деньги, конечно, нужны...

— Короче, — мать пихнула мне в руки увесистый пакет, — вот тебе ваза, завтра приду, собирать будем! Три тысячи, между прочим, за нее отдала!

— Зачем?! И что значит «собирать вазу»?

- Слушай, Полин, не идиотничай! Кстати, у тебя рис есть?
- Рис? Круглый или длинный?
- Господи, да какая разница! Не варить же мы его будем!
- А что же с ним еще делать?
- Что-что? В вазу засыпать! Только туда сначала, на дно, фигурку Будды надо положить, потом кристаллы разноцветные, ну, в общем, там много всего, у меня в тетрадке записано. Завтра приду, все сделаем.
- А может, не надо?
- Как это не надо! — обиделась мать. — А зачем же я тогда деньги потратила! Специально ведь для тебя купила!
- Ну ладно, — сдалась я, — ваза так ваза. Слушай, а денег-то много угрохала?
- Все, какие были. А, вот еще что. Чуть не забыла. Купила тебе талисман удачи, а себе — талисман здоровья. Мой стоит шестнадцать тысяч, а твой — девять пятсот. Вот, — протянула она мне кулон, похожий на монетку с отходящими от нее вниз лучами-цепочками.
- Красивый. Спасибо.
- Деньги-то сразу отдашь или потом?
- Потом, с зарплаты.
- Только не затягивай. Мне на следующие лекции скоро понадобится.
- Мам, может, не стоит так часто? Пойми, это же профанация...
- Это не профанация! Это бесценные знания для избранных!
- А ты, значит, избранная?
- Она плеснула обидой, как кипятком:
- Иронизируй, сколько хочешь, а я иду своей дорогой. Дорогой истины! И никому не позволю мне мешать!
- Ну, тогда — счастливого пути!

На следующий день мы с мамой целый час собирали эту самую вазу богатства. Оказалось — собирать — это значит насовать туда всякой магической всячины. В дело пошли фигурки, бумажки с мантрами и желаниями, разноцветные кристаллы, и все это было засыпано доверху рисом. Я послушно бубнила вслед за матерью трудновыговариваемые слова длинных мантр и думала о том, что вот прошли миллионы лет, а человечество, в сущности, столь же наивно и простодушно, как в доисторическую эпоху, при всех хваленых нанотехнологиях.

И мать, умная и тонкая женщина, перечитавшая всю классику, влюбленная в живопись, исходившая Третьяковку вдоль и поперек, и сама — художник, совершенно помешалась после смерти мужа на своих фэн-шуйских делах.

Она так и осталась одинокой. Никого не захотела впустить в свою жизнь. Не захотела нуждаться ни в ком. И сама не захотела быть кому-то необходимой.

А может, просто никто не встретился.

5

На работу идти не хотелось.

Отвела в сад капризничавшую Катю, сломив окончательное сопротивление только тем, что пообещала повезти ее на санках, хотя снег уже почти растаял.

Обещание было дано необдуманно, виной тому — утренние слабость и раздражение. В результате — тащила санки на себе и еще волокла упирающуюся дочь.

Мужа провожать было никуда не нужно, он работал на дому, получив заказ от издательства на написание книги о криминальных группировках 90-х годов прошлого века. Дурацкая тема, но что поделаешь? Таков удел талантливых писателей: две трети своего времени тратить на написание ерунды, чтобы оставшееся время — и то неслыханная роскошь! — потратить на свое, по-настоящему важное.

Состав редакции журнала «Женские советы» был, как практически все дамские коллективы, склочный и болтливый. Я раздражала всех. Молчаливым неучастием в разжигании и подогреве сплетен. Для коллег, в основном дам от сорока до пятидесяти лет, дерзкое сочетание молодости, красоты и ума было невыносимым. Каждое из этих качеств по отдельности они, может, и вынесли бы, но вместе это оказалось смертельной дозой.

В мои обязанности входило написание в каждый номер трех-четырёх любовных историй непременно со счастливым концом и редактирование всех остальных материалов из разделов: мода, кулинария, гороскоп.

Замужних женщин, кроме меня, в редакции было две: главный редактор Софья Николаевна, грузная дама пятидесяти двух лет, с рыхлым медузообразным лицом, замурованная в долгий и унылый бездетный брак, и уборщица Татьяна, мать троих детей, веселая, крепко сбитая, с тяжелой сказочной косой и огромными ножищами в мужских домашних тапках. Остальные дамы, наэлектризованные одиночеством, с вампирически длинными ногтями и шпильками, ярко красились, срывались по пустякам, страстно интриговали, курили и болтали целыми днями напролет.

Юля Семужкина, сорокапятилетняя кокетка, с тремя штормовыми разводами за плечами, вела раздел «кулинария», хотя сама терпеть не могла готовить. В редакционных кулуарах раздел этот назывался «рецепты для дур», а коротко — «рецепдура». Переписывались рецепты из потрепанной книги 70-х годов «В помощь молодой хозяйке», где на обложке миловидная советская женщина, аккуратная как школьница, в опрятном фартучке и косынке, бережно и внимательно склонилась над кастрюлей, будто над колыбелью. В рецепт добавлялись современные сленговые словечки, чтобы текст пришелся по вкусу молодежи, интонация из педантичной трансформировалась в бойкую и — блюдо почти готово. Читательницам «Женских советов» оставалось только купить журнал.

Раздел «мододура» вела Инга, крепко накачанная в фитнес-клубах невысокая брюнетка, демонстрирующая из-под коротких юбок рельефные, с выразительными мышцами ноги. Нежное лицо с зыбкими, акварельными чертами и незабудковыми глазами казалось приставленным к этому телу случайно, по ошибке, оно явно должно было принадлежать хрупкой чахоточной девушке из девятнадцатого века. Она, единственная в редакции, относилась ко мне по-доброму, звала на бесконечные перекуры, в которых я, как некурящая, участвовала терпеливо и бессигаретно, в роли слушателя, реже — собеседника. Основная тема перекуров — очередной ухажер Инги, ее шансы на его приручение и его шансы на побег.

Она безапелляционно заявляла:

— Конечно, мужики все козлы, но, согласись — ведь и с козлами можно жить! Вот ты же живешь!

— Но мой муж не козел, — протестовала я.

— Не скажи, — махала она рукой. Ну, вот смотри. Давай по порядку. Денег он много зарабатывает?

— Да нет, честно говоря, не очень.

— Ну вот! Теперь. С дочкой занимается?

— Ну, понимаешь, у него мало времени, и он так устает...

— Та-а-ак, — удовлетворенно кивнула Инга, — прекрасно. И последний вопрос: сколько раз в неделю вы занимаетесь сексом?

— А на этот вопрос обязательно отвечать?

— Полька, не жмись, давай выкладывай!

— Ну, раза три примерно.

— Ха, всего-то! Я же говорила — самый настоящий козел! И не спорь, пожалуйста. Нечего его защищать! Господи, ну, какие же мы все-таки дуры... Еще и защищаем их! Да мужиков дрочить надо, понимаешь — дрочить!

Инга ловко передирала модели с западных журналов, меняла цвет, иногда — длину, добавляла кое-какие аксессуары — поясок, бусы и все — новая модель готова.

Я же сочиняла сентиментальные истории о счастливых и судьбоносных встречах. И писала примерно такую белиберду: *«Ольга загнала машину в ангар автосервиса. В мастерской играла приятная музыка, что-то из мелодий ее молодости, у девушки сладко защемило сердце.*

— Что случилось с вашей машиной? — услышала она приятный мужской голос.

Обернулась. Перед ней стоял рослый плечистый парень в синем комбинезоне.

— Да, вот, — смутилась обомлевшая Ольга, — что-то машина плохо заводится стала...

— Это не проблема, — широко улыбнулся мастер и многозначительно пообещал: — Сейчас мы ее заведем! — после чего, сексуально изогнувшись, склонился над капотом.

По Ольгиному телу побежали возбужденные мурашки, но девушка тут же устыдилась этого и взяла себя в руки. Парень, будто почувствовав немой призыв, обернулся и внезапно спросил:

— А что делает прекрасная хозяйка машины сегодня вечером?

— Я... Я... — смутилась Ольга. — Я — ничего...

— Тогда, — просиял бравый слесарь, — пошли в кино!

— В кино, — умилилась девушка, — я со школьных лет не ходила в кино...

— Решено! — победно взмахнул он гаечным ключом. — Кстати, меня зовут Иван.

— А меня — Оля.

"Как в сказке, — подумалось девушке, — неужели это он и есть, мой суженый?"

"Суженый" деловито и по-хозяйски копался в ее автомобиле, будто в ее, Ольгиной, судьбе, которую так хотелось доверить в его сильные, не боящиеся машинного масла руки...»

Я пыталась сделать из этих рассказов пародии на любовные истории, но не знаю — заметил ли это кто-нибудь из читательниц, большинство, конечно же,

приняли за чистую монету. Но только такие тексты проходили строгий контроль главного редактора Софьи Николаевны, женщины неглупой и начитанной, но убежденной, что именно низкосортные публикации способны увеличить и без того уже немаленькие тиражи журнала «Женские советы». Время от времени я пробовала предложить туда свои рассказы-миниатюры, которые уже несколько лет писала и регулярно публиковала в «толстых» журналах. Но приличная проза не проходила. А в тех текстах, что отбирали для журнала, все живое заменялось штампами, привычными для массового восприятия.

...Сиюю, копаюсь в интернет-свалке, выискиваю сюжеты для историй. От затхлых новостных блоков смердит, мои руки по локоть в осклизлых ошметках бытовых и государственных ужасов, кругом — опарыши пошлости. Ничего — разгребу. Кто-то ведь не побрезговал навалить эту кучу, очень многие читают, жаждут скандально-интимных подробностей, как в «Доме-2» или передаче «Детектор лжи». Что можно сказать о будущем России, прочитав, например, вот эту новостную ленту?

Ребенка выбросили в мусоропровод за то, что мешал смотреть телевизор

Гинеколог лишил девушку невинности во время осмотра

Многодетная мать и все ее малыши погибли одновременно! Это была страшная смерть...

Жуткие кадры с Фукусимы! Этого не видел никто!

Бомж целый месяц «любил» свою умершую подружку

Сокамерники обезглавили маньяка, 12 лет истязавшего дочь

Правда о землетрясении в Японии: сотни трупов

Подсчитано, сколько людей убьет Фукусима. Счет на сотни тысяч!

Пьяная любовница откусила мужчине яички

Жертва знаменитого футболиста рассказала жуткие секс-подробности!

В Москве ожидается землетрясение

Видеоиздевательство над учительницей: даже родители извергов плакали

Школьники выложили в сеть ролик, как они издеваются над ветераном

Наташа Королева разделась для Николаева

Прошлое нового мужа Лолиты шокирует

Волочкова рассказала, как занимается сексом

Страшное сообщение от Павла Глобы: «Конец света произойдет 21.12.2012...»

Нами управляют 9 человек, среди которых нет Путина и Медведева

Уничтоженный Умаров дозвонился на радио и дал жуткое обещание

Ученые обнаружили жуткие последствия просмотра порнографии

Свой метод похудения К. Бородина раскрыла для всех!

Может, думаю, и к лучшему, если бы предсказание Павла Глобы сбылось? Непонятно, как жить со всем этим.

Начинаю монотонно барабанить: *«Анна ничего не ждала от этого путешествия. Она хотела просто отдохнуть. Но судьба не собиралась давать ей передышку. Она подстерегала ее, как Раскольников свою старуху...»*

Чушь какая-то. Про Раскольникова лучше убрать.

Смотрю на часы — пора забирать дочку из сада.

6

А началось все полгода назад.

Выехали в субботу на двух машинах. Встретились у метро «Кузьминки» и двинулись в сторону области. В машине Ильи — парикмахеры, в моей — фотографии и куратор Вероника, предложившая провести сегодня день красоты.

Миновали Люберцы, свернули с Волгоградки, и вдоль дороги начали появляться невысокие дачные домишки, огороженные деревянными, с облупившейся краской блеклыми заборами. Стоило отъехать недалеко от Москвы, как все стало камерным, уютным, сельско-добродушным. Попадались, конечно, и кирпичные, трехэтажные особняки, горделивые и роскошные, с выставленными как щиты, высокомерными сплошными заборами, но чувствовалось, что не они главные в этом пейзаже, не они.

Мне всегда были милее маленькие домики в стародачном стиле времен советской уравниловки со стопкой отсыревших газет возле печки, пестрящих заголовками давно сопревших новостей, с ворчливым продавленным диваном у стены, легкомысленными, выгоревшими на солнце занавесками, томным абажуром лампы, кисловатым запахом слежавшейся безлюдной зимы и прошлогодними мухами, безмятежно заснувшими между облупившихся рам. А потом, весной, когда хорошенько протопишь — так славно чувствовать, как оживают добрые верные вещи и смотреть в окно, за которым блаженствует майский сад, с сиренью и жасмином, влажно-сладкими после дождя... Жить, жить и жить там, в бездумной и беспечальной каникулярной лени, и слушать, как по вечерам, лето напролет, бессмертно кукует кукушка и звонко стрекочет незатейливый кузнецик, а в августе, по ночам, собирать пригоршнями звезды и бросать их, как монетки в пруд, надеясь вернуться жить снова бог знает в который раз.

И не загадывать никаких желаний. Потому что и так все сбудется. Или — не сбудется. Это все равно. Ничего не желать — тоже желание. Самое мудрое и трудное желание.

Домик детства сторел. Пьяный дядя, папин брат, заснул, не затушив сигарету. Наутро уже не было ни его, ни дома.

А еще через шестнадцать лет не стало и папы.

Потом отстроили новый, двухэтажный, обили сайдингом, начали год за годом обживать. А я еще долго грустила по тому, ставшему пеплом и проросшему через несколько лет неутомимыми сорняками. Цепкими сорняками вечности.

Они росли нагло и самоуверенно, как хозяева на своей земле, не желая уступать место застенчивым тюльпанам, прихотливым пионам и ранимым лилиям.

Был тут, на наших дачах, и еще один дом, такой же простенький, похожий на наш, сгоревший. Мимо него я до сих пор не могу проходить спокойно.

Даже теперь, спустя двенадцать лет.

Два предыдущих брака, промежуточные увлечения, когда-то казавшиеся яркими, теперь были похожи на пыльную рухлядь, валявшуюся на дачном чердаке: подростковый велосипед, со спущенными колесами и покореженными спицами, старая тележка, затянута тиной времени — плотной шершавой ржавчиной, куски скрюченной проволоки, прогоревший чайник с отбитой эмалью и разнокалиберные, схваченные сонной паутиной банки, скучающие по своему компотно-маринадному прошлому...

И только одна любовь стояла особняком — не пылилась и не ржавела. Не блекла от натиска последующих. Уступила им место спокойно и гордо, будто знала: ее не заменит ничто, никогда.

И длилась она всего ничего — пару месяцев.

Мне было тогда двадцать три. Юре — двадцать восемь. Музыкант. Гитарист. Учитель в музыкальной школе. Он играл для меня на пианино, стоявшем в одной из трех комнат его дачного дома.

Я приходила к нему каждый день и оставалась на ночь.

Из его окна мир был совсем другим: свежим и влажным, как только что нанесенная на бумагу акварель. Корявые старые яблони, покрытые нежным салатово-серебристым лишайником, высокая, с огнедышащими узорчатыми листьями крапива, отбрасывающая на подножную траву теплую, подрагивающую от ветра тень, звонко-синее небо, где сновали счастливые ласточки. И верилось: все будет хорошо. Так хорошо, как вообще не бывает.

Юра играл Бетховена. Играл Моцарта и Шопена. Звуки плыли по комнате, от него ко мне и обратно, и утекали за окно, не исчезая, а переливаясь в яблоню, в крапиву, в дрожание тени и света на ее листьях, в золотистые потоки солнца, насыщающие все вокруг. Счастье было осязаемым и сочным, как арбуз, и было сладко, и текло по подбородку и по рукам, и хотелось еще и еще.

Юра был огромен — под метр девяносто, с большими ладонями — на его одной умещались мои две — и при этом с подвижными музыкальными пальцами; лицо грубое и доброе, настоящий русский богатырь из сказок про Иванушку, победившего Кошея.

Он так легко поднимал меня на руки (Юра, не Кошей, конечно!), когда нес в другую комнату на узкую, скрипучую и жутко тесную для двоих кровать. Был щедр и простодушен до идиотизма. Верил людям на слово, верил в Бога, верил в нас.

— Поленька, может, чайку? — заботливо спрашивал, когда за окном синевели сумерки и пахло травянисто и грустно.

— Ага. Давай.

И был горячий чай в больших кружках, прошлогоднее, засахарившееся, будто обсыпанное раскрошенным градом клубничное варенье, деликатные

бруски чопорной пастилы и маслянисто-роскошное печенье «курабье» с запекшейся, словно пластмассовой, повидловой маковкой.

О чем мы говорили? Господи, да обо всем. О том, как устроен мир, и откуда в нем зло, и как преодолеть страдание, если уж нельзя избежать его совсем. В то лето мы оба увлекались Кантом и Шопенгауэром. Говорили о милосердии и юродивости... По вечерам читали Чехова, старенький, пахнувший пыльным слежавшимся временем двухтомник, ночью смотрели на звезды в телескоп: они были неправдоподобно крупными, размером с большое яблоко. Потом спорили до утра о том, есть ли еще где-нибудь жизнь, пытались открыть сообща, как миллионы людей до нас, способ легкого и радостного существования. И совсем не расстраивались, что он не находился. Рассуждали о своих будущих детях, двух сыновьях, для них уже были придуманы имена: Матвей и Гордей.

Прервалась дачная идиллия внезапно — Юра поехал за продуктами на велосипеде в Клин и — не вернулся. Здоровенная фура не вписалась в поворот и просто-напросто смахнула велосипед с дороги. Падая, Юра пропорол живот торчащим из травы железным штырем... Умер почти сразу же.

Прошло много лет, а мне до сих пор больно проходить мимо его дома, хотя там давно уже хозяйничают другие люди. Висит на веревках разноцветное белье, детские штанишки и футболки... Лучше пройти, опустив голову. Глядя на шуршащий под ногами, белесый гравий. Он остался таким же, как в то время, когда мы гуляли с моим любимым по этим дорогам и думали, что им не будет конца.

Кощей все-таки победил Ивана Царевича. Отнял у царевны суженого. Но так и не раскрыл секрет своего бессмертия.

По дороге наш куратор Вероника, сидящая рядом со мной, объясняла новичкам, и мне в том числе, как общаться с детьми.

— Поймите, самое позорное для ребят — выглядеть несчастными. Жалость очень обижает их. Они, конечно, бодрятся, хотят быть сильными. Это мы, волонтеры, должны заслужить их внимание, а не они — наше. И нужны они нам гораздо больше, чем мы им. Это мы беззащитны перед ними. Ребята хотят общаться только на равных. Могут нагрубить, отвернуться, уйти. И будут правы. Значит, мы не заслужили их доверия. И никакие подарки тут не помогут, тем более что мы с вами едем в один из самых благополучных детских домов, где у ребят есть хорошо оборудованный компьютерный зал, почти у всех — мобильные телефоны. И еще такая просьба. Не давайте детям деньги. И не пытайтесь встретиться с ними незапланированно, то есть без куратора, по собственной инициативе. Это может кончиться тем, что нас перестанут пускать сюда. Все поняли?

Мы дружно кивнули.

Быковский детский дом. Красивое трехэтажное здание с колоннами. Первоначально, в 1943 году, для детей-сирот, чьи родители погибли на фронте, было построено деревянное сооружение, а в 1952-м появилось вот это, новое, похожее на старинный особняк. Сейчас в нем пятьдесят воспитанников.

Вошли. Тишина, просторный сумрачный вестибюль, над дверью в жилую часть дома надпись: «Нет ничего приятнее, чем стук гостя в дверь».

Ну вот, мы и постучались. Стоим, озираемся. Детей нет, нас никто не встречает. А казалось, только войдем — кинутся на шею. Директора, с которым

договаривалась Вероника о нашем приезде, на месте не было, поэтому общаться пришлось с заспанной и недовольной нянечкой, которая все никак не могла решить, где нам можно раздеться. Так и стояли-потели, в куртках и сапогах. Наконец нам был выдан ключ от комнаты, где мы оставили свою верхнюю одежду и сумки.

Широкая лестница, второй этаж.

— Здесь у них кабинеты для занятий, столовая, комната отдыха. А живут ребята на третьем, — пояснила Вероника.

По длинному коридору повернули налево, дошли до комнаты, дверь в которую была открыта, оттуда доносились ребячьи голоса и телевизионный бубнеж.

— Все заходим сюда, — скомандовала Вероника, — сейчас объявим о нашей программе.

В довольно просторной и ярко освещенной комнате на одном большом диване и стульях сидели разновозрастные дети и смотрели телевизор. Там вихлялся по сцене, что-то подвывая, Дима Билан. Младшие ребята явно скучали и требовали переключить на мультики. Старшие — дразнили их, пряча пульт.

— Привет всем! — громко сказала Вероника и — обращаясь к симпатичной девушке лет двенадцати: — Света, а ну-ка, зови всех сюда! Где мальчишки-то? Небось за компьютерами сидят. Давай бегом!

На бодрый призыв куратора дети отреагировали по-разному. Старшие равнодушно глянули на нас и снова уткнулись в телевизор, переговариваясь между собой как если бы посторонних здесь вообще не было. Младшие смотрели во все глаза так, что стоять посреди комнаты стало неловко, захотелось уйти, спрятаться, защититься от этих простодушно-любопытных взглядов. В комнату вошли еще несколько девчонок и мальчишек, уселись.

— Сегодня мы приехали к вам, — весело начала Вероника, — чтобы провести день красоты. Среди нас — опытные парикмахеры и фотографы. План такой: сначала мы делаем все желающим прически, а потом фотографируем то, что получилось. Так что подумайте — кто какую прическу хочет, и спускайтесь на первый этаж. Парикмахерскую устроим там.

Речь ее особого воодушевления не вызвала. Все молчали. Вдруг темноволосая девочка с короткой стрижкой, лет десяти, больше похожая на мальчишку, громко и отчетливо сказала:

— А я не хочу! Не хочу.

Вероника не растерялась. Она приезжала сюда часто и знала всех детей поименно.

— Кира, а что у нас сегодня с настроением?

Девочка насупилась.

— А ничего. Просто так.

Потом, часа через два, когда я сидела на матах в спортзале, где проходила фотосессия, оглушенная впечатлениями, новыми и трудными, и смотрела, как наш фотограф Тина, ловко и неустанно делала снимки красиво причесанных девчонок, Кира вошла, плюхнулась рядом со мной и потребовала:

— Дай мне свой телефон!

— Зачем? — спросила я, не зная, как реагировать.

— Поиграть.

Я протянула ей мобильник.

— Подаришь? — прищурилась она.

— Ну, понимаешь, — замялась я, — мне же он тоже нужен...

— Понятно, — ничуть не обиделась Кира, — не подаришь, значит.

— А когда у тебя день рождения?

— Пятого июня, а что?

— Вот на день рождения я тебе подарю такой же. Хочешь?

— Не-е. Лучше не такой, — не растерялась девочка. — Лучше как у Вероники. Ты видела, какой классный у Вероники?

— Нет, — сказала я. — Не видела. Ладно, подарю тебе точно такой же. Но уж точно не менее классный.

— А ты не врешь? — посерьезнела девочка.

— Нет. Обещаю.

Кира кивнула и, видимо, сочтя это дело решенным, начала нажимать на моем телефоне все кнопки подряд. Включила какую-то с однообразным ритмом музыку, бросила мобильник на мат, вскочила и принялась танцевать передо мной, угловато и не в такт, расхохоталась и плюхнулась обратно на маты, завалилась на спину, задрыгала ногами. Потом вдруг крепко обхватив меня за шею, повалила. От нее резко пахнуло острым детским потом. Не зная, что делать, я осторожно обняла ее. Так мы и лежали, друг на дружке, обнявшись.

— Ты — моя, — щекотно прошептала она мне в ухо. — Хочешь, пойдем посмотреть хомяка?

— А у вас что, в детском доме есть хомяк? — я осторожно высвободилась из ее объятий.

— Никогда так больше не говори, слышишь!

— Как?

— В детском доме — вот как. Мы здесь говорим: дома. Это наш дом.

— Да, конечно, прости меня. Ну, так где ваш хомяк?

— Еще есть рыбки, — Кира взяла меня за руку и потащила по коридору.

В глубине, у стены небольшой продолговатой комнаты, тесно уставленной кадками с высокими раскидистыми растениями, на специальной подставке стояла клетка. В ней на опилках и мелких клочках рваной бумаги сидел зверек и испуганно таращился куда-то в стену. Рядом стояла здоровенная кастрюля, на которой красной краской было написано: «Соления». В ней суетливо сновали штук двадцать мелких рыбок, голубых и рыжих.

— Красивые, — сказала я.

— А хомяк? — обиделась Кира.

— Знаешь, это самый прекрасный хомяк, которого я видела в своей жизни! Кира улыбнулась и погрозила мне пальцем.

— Клетку открывать нельзя!

— Почему?

— Убежит. Четыре штуки уже убежали.

Было непонятно, говорит она серьезно или шутит. Кира беззастенчиво полезла в нос, выковыряла козявку и протянула ее хомяку.

— Вот, поешь!

— А куда убежали-то? — я попыталась спасти хомяка от сомнительного угощения.

— Ешь, говорю! — не отступала девочка. — У-у-у, какой вредный! — И

внезапно: — Какой хоро-о-ошенький... Куда-куда? На улицу, конечно. Куда еще убегают?

— Но там же холодно, — посочувствовала я наверняка давно погибшим хомякам.

— Да, наверняка замерзли, — спокойно констатировала Кира. — Ладно, пошли, я покажу тебе сальто.

— Кир, а родители твои где? — спросила я.

— А ты умеешь делать сальто? — она словно не слышала моего вопроса.

— Когда-то умела. А сейчас нет, не рискну. Так где твои мама и папа? Не хочешь об этом говорить, да?

— Папа на работе, а мама — не знаю, — буднично сказала Кира.

— Как — совсем не знаешь?

— А ты мне честно-честно подаришь телефон? — обняла меня, прижалась головой к груди.

Я погладила ее густые жесткие волосы и вспомнила, какие шелковистомягкие у моей дочки.

— Честно-честно.

— Побежали! — Кира ринулась по коридору, крепко держа меня за запястье. Пришлось бежать вместе с ней.

В спортзале она толкнула меня на маты и сказала:

— Смотри!

Разбежалась, оттолкнулась и, неловко перевернувшись в воздухе, плюхнулась на попу, подставив руки.

— Тебе не больно? — обеспокоенно спросила я.

— Не-а.

— Слушай, это никакое не сальто. Во-первых, надо группироваться, а во-вторых, не подставляй никогда прямые руки, может быть перелом!

— А что значит группироваться?

Я села на корточки, крепко обхватила руками колени.

— Вот так, поняла?

Девочка кивнула, снова разбежалась и прыгнула. Все ошибки были повторены.

— Говорят тебе, группируйся! — крикнула я перед очередной попыткой.

Но Кира не слушала. Она снова разбежалась и снова прыгала — смело и бездумно — из детства во взрослую жизнь.

Я вышла в коридор. Навстречу — воспитательница с растерянным лицом. В руках какой-то кулек.

— У вас лопата есть? — спросила меня шепотом.

— Лопата? — оторопела. — Нет. А вообще-то... только маленькая, я с ней на кладбище езжу.

— Нет, такая, наверное, не подойдет, — вздохнула она.

— А зачем вам лопата-то?

— Да вот, — морщась, показала на кулек, — кошка сдохла, похоронить надо. А завхоза нет, подсобка с инструментами закрыта.

— Что же теперь делать?

— Не знаю, что-нибудь придумаем. Вы только детям не говорите, ладно? А то они расстроятся...

— Не скажу.

Вернулась в спортзал, снова уселась на маты. Показалось, что они чуть-чуть пахнут Кириным потом. Смотрела, как фотограф терпеливо усаживает девочку на высокий стул и пытается поймать непринужденное выражение лица. Но почти все они смущались, хихикали, некоторые вообще отворачивались — чрезмерно щедрое внимание объектива явно тяготило их.

— Будь собой! Не позируй! Живи! — командовала Тина.

Кокетничала и получала удовольствие от съемки только маленькая Ариша. Задорные чуть косящие глаза, длинные волнистые волосы, уложенные во взрослую вечернюю прическу, салатное, с оборками летнее платье. Подумалось, что вот эту прелестную девочку наверняка возьмут в семью. Может быть, эти самые фото, которые делает сейчас Тина, и помогут ей найти родителей.

Вошла полная пышногрудая белокурая девица лет шестнадцати. На ней было навешано огромное количество побрякушек: всевозможные цепочки, кольца, браслеты на руках и на ногах. Черные ногти, черные лосины и растянутая белая футболка. Яркие накрашенные фиолетовой помадой губы. По всему чувствовалось, она здесь — лидер.

Иронично окинула взглядом зал, дунула, нахмурившись, на длинную челку, подлетевшую на мгновение светлым веером, выдула из жвачки большой розовый пузырь, тут же лопнувший с громким щелчком и прилипший к ее верхней губе. Беззлобно прикрикнула на кареглазую хрупкую девочку младше ее года на два.

— Эй, ты, ошибка природы! Ну-ка давай улыбайся! Кому сказали!

Та, чопорно сидя на фотографическом стуле, слегка улыбнулась, ничуть не обидевшись на «ошибку природы», и тут же снова вобрала в себя улыбку, будто это было каким-то стыдным проявлением слабости, недопустимым перед сосредоточенным и серьезным оком фотоаппарата.

— Ну, дура, Аська, ну дура, — приговаривала белокурая, усаживаясь рядом со мной на маты.

— Соседка по комнате? — спросила я, чтобы завязать разговор.

Девушка даже головы не повернула.

— Кто? Аська-то? Еще чего! Так, подруга.

— А в школу вы куда ходите?

— Да тут она, рядом, минут десять идти.

— Слушай, а тебе здесь не скучно?

— Кому? Мне-е-е? — девушка снова дунула на челку, словно это было продолжением речи, звякнула многочисленными браслетами. — Ни капельки! У нас тут своя компашка. Нам-то, старшим, воспы за территорию разрешают, а летом...

— А воспы — это кто?

— Да воспиталки же. А летом вообще классно. У меня знакомые парни в Москве, так мы на мотоциклах гоняем по ночному городу. Прихожу в час, в два ночи... Делаю что хочу. Да и работка подворачивается кое-какая... В общем, жить можно.

— А что за работка? — удивилась я.

— Хорошая, — серьезно ответила она. Главное — бабки есть.

— Ну а воспы-то не ругают за то, что поздно приходишь?

— Ругают, конечно. Только мне все по фигу, — дерзко вздулся очередной розовый пузырь.

— Понятно. А родители твои где? Извини, конечно, если... Если этот вопрос тебе неприятен...

Я смотрю на нее, она — на процесс фотосъемки. Сейчас позирует девятилетний Илья, одно плечо у мальчика заметно выше другого.

— Люблю Илюху, — снова веерно взлетает челка, — он так классно играет на баяне!

Мы так и продолжали разговор, ни разу не встречаясь глазами.

— Отец умер год назад, — посерьезнела она и перестала выдувать жвачные пузыри.

— А мать?

— Илья, не напрягайся! — голос Тины. — Закрой глаза. Ну, закрой, закрой, не бойся. Молодец. А теперь — резко открой! — вспышка фотокамеры.

— Мать вернется не скоро...

— Но где же она?

Девушка наконец взглянула на меня — быстро и внимательно, высмотрев всю до дна. Сказала тихо:

— Только никому, ладно?

Я кивнула.

— Она в местах... ну как это... в местах лишения свободы.

— А за что?

— Ну... Мошенничество в общем. Она раньше следователем работала...

— Взятка, что ли? — предположила я.

— Да нет. Я же говорю — мошенничество. Два раза один и тот же дом продала. А потом... Пила она, в общем. Мы ее в детстве-то почти не видели. А всего нас у нее шестеро. У меня еще две сестры и три брата. Сестры тоже здесь.

— В этом же детском доме?!

— Ага, — спокойно подтвердила она. — Аришу видели? Это моя. И еще Светка. Светка младше меня на четыре года, ей двенадцать.

— Но вы непохожи совсем...

— Конечно, непохожи. Мы ж от разных отцов. Мать пять раз замужем была.

— А братья где?

— Один в другом детском доме, второй в армии, а самый старший, Сашка, женился уже, и у него ребенок родился, дочка.

— Извини, я даже не спросила, как тебя зовут.

— Олеся.

— Меня — Полина.

Олеся кивнула и продолжала:

— А мы раньше круто жили. В Раменском трехэтажный дом был, прислуга, машина хорошая. Потом бац — и все. Я ведь шесть лет назад уже тут была, потом отец меня забрал. А сейчас после его смерти — снова сюда.

— А что же мать?

— А матери у нас, считай, и не было. Даже когда не пила столько, все равно — не обращала на нас внимания. Подойдешь к ней, а она — вот вам деньги и отвалите!

Мы сидим и смотрим на Тину: у нее небольшой промежуток в работе, она

пьет минералку из бутылки, потом устало глядит в окно: там летят редкие, уже потерявшие зимнюю ледяную силу снежинки. Смеркается. Ветер дует нервно и порывисто — синий целлофановый пакет, лежащий на снегу, то и дело вздрагивает и резко подбрасывается в воздух, летит неровными толчками несколько метров, затем так же резко падает, будто шар, мгновенно выпустивший воздух.

— Олесь, а ты бы хотела вернуться домой? — спрашиваю осторожно, боясь, что она вспылит и уйдет.

Но она не обижается.

— Нет. Тем более что дома-то нет. Мне и здесь отлично.

— А не страшно?

— Страшно? — удивляется она. А чего бояться-то?

— Ну, неизвестности там... Будущего...

— А я уже все для себя решила, — твердо сказала Олесь. — Буду следователем. Как мать. Только... только пить не буду. Выйду отсюда, получу квартиру и сразу же заберу отсюда своих — Аришу и Светку.

— А детей хочешь иметь?

Олесь рассмеялась, выдула огромный легкомысленный пузырь.

— Вот еще — детей! Мне и сестер хватит! Я не хочу плодить вот таких же, детдомовских...

— Прости, я не хотела тебя обидеть.

— Да ладно, — взлетела челка, — фигня.

Потом нас приглашают в столовую пить чай. Пахнет хлоркой и застарелым прогорклым жиром. Просторно, высокие окна, крашенные в салатовый цвет стены. Жужжит неотвязная муха, ищет, чем бы поживиться. Добродушная полнуха в белом фартуке ловко разливает чай половником из большой кастрюли в маленькие чашки с собачками и вишенками. Чай спитой, бледный. Спасибо, — благодарю я и пью. Пустой и несладкий. Еле теплый.

После чая — концерт. Репетиция к 9 мая. Просторный актовый зал с высоченными потолками и грузными бархатными шторами. Яркая тяжелая люстра. Сцена. Там маршируют, высоко поднимая колени, мальчишки, и вразнобой поют:

Я люблю тебя, Россия-мать,
Если надо, буду защищать!

Волонтеры, воспитатели и ребята, не задействованные в концерте, сидят в зрительном зале. На лицах у всех улыбки. У волонтеров — ободряющие, у воспитателей — придирчивые, у ребят — любопытно-насмешливые.

Илья играет на баяне и поет лучше всех. Громче всех. Голос его вырывается из хора, как птица из клетки, и летит вверх, звонкий и свободный. Музыкальный руководитель, полная дама с седыми куделями и в цветочной шали с бахромой, подыгрывает детям на пианино. Время от времени делает замечания, прерывая пение.

— Юра, Юра, совсем тебя не слышу! Громче!

— Гриша, ты же всех сбиваешь! Так, ну-ка еще разок давайте!

— Паша, да перестань же подтягивать штаны!

— Олег, чтоб к следующей репетиции текст назубок выучил!
— Да выше, выше поднимайте колени! Вы что, уснули?! Вы же будущие защитники Родины!

И мальчишки пели:

Все мы прошли через знамя беды,
Слава погибшим и слава живым!

Аплодисменты. Мальчишки хохочут, толкают друг друга. Я достаю свой фотоаппарат. Воспитательница сгоняет в кучу ребят — и артистов, и зрителей:

— Сейчас, сейчас, давайте, чтобы все вместе!

Велит им поправить одежду и приклеить улыбки.

Фотографирую.

— Молодцы! Давайте еще разок. Улыбаться всем! Не моргать! — вошла в раж воспитательница.

— Да нет, — говорю я, — моргать можно.

Дети смеются.

— А вы нам фотки привезете? — спрашивает Илья. — Баян он держит бережно, как грудного ребенка.

— Конечно, привезу.

— Вы, правда, привезите, — говорит воспитательница, только что дирижировавшая фотографическими улыбками, — ребята ведь ждать будут.

Пухлые щечки, длинные удивленные ресницы, светло-синее приталенное платьице старомодного фасона и совсем не к месту зеленые резиновые шлепки. Совсем еще молодая, сама похожая на недавнюю выпускницу детского дома.

Я улыбаюсь ей и киваю. Подходит Кира, цепко берет меня за руку и объявляет всем:

— Она моя. Понятно?!

Молодая воспитательница задорно смеется, Илья сникает, опускает вниз баян. Мне хочется обнять мальчика. И я обнимаю. Одной рукой его, другой — ревнивую Киру.

— Я привезу фотографии. Обязательно, — обещаю ему.

Кира вырывается.

Бегу за ней по широкой лестнице вниз, настигаю в коридоре, встаю на колени, прижимаюсь щекой к ее животу.

— Ну, что ты, что ты... — Не обижайся...

Она плачет, одновременно прижимаясь ко мне и отталкивая.

— Ты моя, понимаешь?..

Что-то крепко сдавливает мое горло и больно распирает его со всех сторон, рвется наружу.

— Скажи, что ты моя! — требовательно рыдает девочка.

И я соглашаюсь:

— Да, я твоя. Твоя.

Едем домой. Вертится в голове неотвязная фраза, услышанная недавно по телевизору: «Каждый третий выпускник детского дома — бомж, каждый пятый — преступник».

Кем же будешь ты, моя милая Кира?

7

Мучительное состояние приходило внезапно. Все вдруг становилось безразлично и виделось болезненно и в то же время как бы отстраненно. Ни в чем не было смысла, даже в любви. На вопрос «зачем» не было ответа. Удобного и нестрашного. Зачем работа? Зачем муж? Зачем что-то писать? Зачем вообще все? Я — оса, влипшая жужжащим хрупким тельцем в вязко-липкое варенье дней и уже почти переставшая сучить беспомощными лапками.

Отменялись все дела, бездумное лежание в кровати становилось главным, грустные мысли текли беспрепятственно и неторопливо, как тихая подмосковная речка. Вовсе неоригинальные, но от этого не менее мучительные. Не хотелось ничего. Не хотелось есть, улыбаться, говорить, слушать. Муж не мешал медленно и неостановимо опускаться на дно — он знал, что я отлежусь там, как камень, переживая свою подводную тоску, напитаюсь будущей легкостью и — все-таки всплыву, пусть через несколько дней, но обязательно всплыву. Больше всех переживала дочь. Обижалась. Я не играла с ней и не рассказывала на ночь сказки, даже целовала как-то отрешенно, словно чужую...

Так проходило два-три дня. Бесцветное безразличие постепенно спрессовывалось до мрачного, каменного состояния, а потом, вдруг резко, ни с того ни с сего отпускало. Я знала — наступает выздоровление. Мне досталась победа, ради которой я не совершала ничего героического. Просто отлеживалась.

Я даже не понимала, как назвать это — депрессия или что-то иное, но переживать свои «тонущие» состояния с каждым разом становилось все труднее. Однако только в такие депрессивные дни я могла побыть маленькой глупой девочкой, освободиться от бремени взрослой ответственности за все и за всех, освободиться от диктата чуткой совести, жестоко преследующей за любой пустяк. Стоило мне, к примеру, не уступить место в метро какой-нибудь бабушке — и совесть мучила потом целый день, гналась по пятам, как злобный пес, норовила прихватить зубами. Ситуация в метро прокручивалась по несколько раз, в разных вариантах. Вот я еду и не уступаю место, и бабуся стоит надо мной, якобы читающей книгу, и тихо злится, а может, и проклинает; а вот другой вариант: я уступаю место, и меня благодарят, и я еду дальше с чистой совестью, ноги на каблуках гудят, а на душе хорошо и спокойно.

И так во всем. Совесть не давала никаких поблажек, она была больше и сильнее, а главное — беспощаднее меня. Если сама я что-то прощала себе, то совесть — никогда. Она могла казнить за какой-то проступок и десять, и пятнадцать, и двадцать лет, отступая на время и делая вид, что все в порядке, живи себе, дескать, спокойно, а потом неожиданно набрасывалась с новой силой, заставляла меня врасплох, выбирая, как нарочно, самые счастливые и безоблачные моменты жизни. В результате — я постоянно чувствовала себя в чем-нибудь перед кем-нибудь виноватой. Избавиться от этой нереальной, но вездесущей вины было невозможно.

Я была виновата перед Кирой, перед Ильей, перед Ликой и Кефиркой, перед всеми этими брошенными другими матерями детьми. И вина эта не была патетичной и зрелищной, она была тихой и простой, как трава под ногами. Неизбывная и непреодолимая. Я понимала — с ней бесполезно бороться, нужно

принять и научиться с ней жить, чувствуя ее постоянно, как ноющую, но привычную боль.

Совесть — мощный росток, пробивающий асфальт. Можно затоптать его, но появятся новые, еще более сильные и живучие побеги. Совесть — то, на чем держится все человечество. А вовсе не на деньгах и нефти. Когда совесть иссякнет, человечество погибнет.

Но вот я вынырнула. После очередного погружения. Живу дальше. Совершаю тысячи мелких, но необходимых движений, называемых жизнью.

Ремонтирую каблуки, ставлю новые набойки, сбитые торопливыми временами года, оплачиваю кучу ежемесячных квитанций, надоедливых и бессмысленных, как июньские комары. Лучшая рифма к слову квитанция — поквитаться. Государство решило поквитаться со мной. Отомстить за то, что я являюсь гражданином этой страны. России. Что ж, я заплачу. Заплачу за этот загазованный московский воздух, за мутное небо, за жухлую траву, за свою несчастную «хрущобу». Ущербный монумент Советскому Союзу. Его нет уже двадцать лет, а пятиэтажка моя все стоит, как памятник Ленину в каком-нибудь провинциальном городишке. Бедном и глухом, с нищими спивающимися жителями, с внимательной безнадёжностью слушающими «Новости», где бодро говорится о том, что страна благополучно вышла из кризиса и занимает второе место в мире по добыче нефти.

Захожу в банк «поквитаться» за квартиру. Тут все оптимистично и радужно, прямо-таки с фэн-шуйским задором. Пока стою в очереди, читаю:

«— Мы даем людям уверенность и надежность, мы делаем их жизнь лучше, помогая реализовывать устремления и мечты.

— Мы строим одну из лучших в мире финансовых компаний, успех которой основан на профессионализме и ощущении гармонии и счастья сотрудников».

Стою в очереди, «реализовывая устремления и мечты». Разглядываю принимающих квитанции в окошке двух усталых теток с тоскливым взглядом разведенки и прыщеватого, неуверенного в себе юнца ботанического вида. Чистое воплощение счастья. Как, впрочем, и я.

И вот я вновь в гостях у Лики. Девочка сильно взволнована, громко и невнятно пытается объяснить что-то, показывая на Кефирку и трогая свой живот. Да что, что с животом-то? Болит, что ли?

Я подошла к Кефирке. Она лежала, отвернувшись. Глядела в стену. Осторожно коснулась рукой ее живота. Он был вспухший и упругий. Сомнений не было — девочка беременна.

— Кто это сделал? Кто? — тормозила я ее.

Кефирка повернула ко мне свое бледное лицо, бессмысленно улыбнулась, нечленораздельно замычала.

Лица взяла меня за руку и потащила по коридору. Остановилась перед комнатой санитаров, повторяя имя медбрата.

Рывком распахиваю дверь. На коленях у медбрата Кольки сидит Танька — уборщица, костлявая и сварливая. Она заполошно вскакивает, манерно поправляет кофту, из-за выреза которой только что вынырнула нахальная Колькина рука.

— А че без стука-то? — развязно, не двигаясь с места, спрашивает медбрат.

— Разговор есть. Тань, выйди.

— Да ты кто такая, — вскипает она, — волонтерша хренова. Ишь ты — выйди! Я те ща выйду!

Я смотрю на Кольку с нескрываемой ненавистью, соскребая улыбку с его лица.

— Выйди, Танюш, не спорь, — просит он любовницу. — Посмотрим, что эта мадама собирается мне сказать!

Татьяна демонстративно громко шлепает тапками, зло хлопает дверью.

— Ну, так и че за проблемы? — ухмыляется Колька.

— Сволочь ты, — говорю ему.

— Не понял, это че за наезд-то?

— Ты зачем, гаденыш, девочку трогал?

— Таньку, что ли? — ухмыляется медбрат. — Ты че, охренела? Она давно уже не де...

— Кефирку зачем трогал? — прерываю его.

— Какую еще Кефирку?

— Я имею в виду Наташу.

— Да какую Наташу, мать твою!

— Впрочем, вполне может быть, что ты и не знаешь ее имени... Девочку, которую ты испортил и которая теперь ждет от тебя ребенка, зовут Наташа.

— Дауница, что ли? — подсказывает Колька. — Так эта debilка залетела, что ли?!

— Наташа беременна. И ты, подонок, ответишь за это, — я стараюсь говорить спокойно. — Сейчас я пойду к директору и все расскажу.

— Да ты не кипятись, мать, не кипятись, — склизко улыбается парень. — Хоть они и debilки, а ласки-то мужской тоже небось хочется... Ну вот мы и... Ё-мое, это кто ж родится-то?

— Никто не родится. Аборт делать надо. Все, я пошла к Тамаре Львовне.

— Э, погоди, ты что, sdурела, что ли?!

— Ты здесь больше не работаешь, — я повернулась к двери.

— Стой, сука! — Колька накинулся на меня сзади, схватил обеими руками за горло. — Только попробуй! Я тебя потом из-под земли достану, поняла?! Убью, слышишь!

Дверь резко распахнулась. Лица, как зверек, кинулась на Кольку и сильно укусила его за руку.

Он взвизгнул, отпихнул нас обеих.

— Идиотки! Суки! Прибью!

Ворвалась в кабинет Мальвины.

— Да знаю я, — устало махнула она рукой. — Что вы от меня-то хотите?

— Как что? — опешила я. — Вызвать милицию... И вообще — дать ход этому делу.

— Значит так, — нахмурившись, жестко отчеканила директор. — Шумиха мне не нужна. Никакой милиции. И уж тем более журналистов. Ничего, слышите?! Мы сделаем аборт в ближайшее время, Кольку я уволю, обещаю вам. Подумайте сами, зачем мне портить репутацию нашего интерната?

— Но, Тамара Львовна, он же преступник...

— Да ладно вам — преступник. Девчонка и не поняла ничего. Но продолжаться это, конечно, не должно.

— Да как же вы можете так говорить! — взорвалась я. — Вы же сами мать! Неужели вы допустите, чтобы насильник разгуливал на свободе?..

— Полина, давайте договоримся так, — жестко прервала она меня. — Забудьте об этой истории. Если, конечно, хотите и дальше продолжать сюда ездить. Я слышала, у вас завязались нежные отношения с нашей Ликой... Ей, я думаю, будет грустно без вас.

— Но он чуть не задушил меня сейчас!

— Кто? Колька? Да не бойтесь. Ничего он не сделает. Я серьезно поговорю с ним. Он обязательно извинится перед вами.

— Нет уж, избавьте меня от его извинений.

— Что ж, — Мальвина встала с кресла, давая понять, что тема исчерпана, — надеюсь, мы с вами договорились?

Я промолчала.

Пошла обратно к своим девчонкам. К Лике.

Увидев меня, она разбежалась и прыгнула ко мне на руки так, как делала моя пятилетняя дочка, обхватив руками за шею, а ногами за талию, только весила Лика раза в два с половиной больше. Я не удержалась на ногах, и мы обе грохнулись на пол, точнее — я грохнулась, а Лика, хохоча и весело дрыгая ногами, удобно разместилась на мне. Взгляд ее был светел и простодушен, и, казалось, легко смахивал нависшую над Кефиркой беду.

8

...Утренний рейд не дал практически ничего. Старый, с давно вытоптанными цветами и вытершимся ворсом ковер грязно-бежевого цвета, несколько расплюснутых баночек из-под пива и кока-колы, которые они потом сдавали, детская куртка с замызганными понурами помпонами. На кой она нужна — маленьких детей у них нет и не будет, но можно найти ей и другое применение — бросить, например, при входе в квартиру под ноги.

Тимофей будет недоволен. Он хочет выпить, а выпить нечего. И не на что. А попадет за это ей, Зойке.

Вчера у них было новоселье. Перебрались из самодельной лачуги на свалке в Черемушках в пятиэтажку, предназначенную под снос, тихую, темную и пустоглазую. Как только все жильцы дома выехали, квартиры были немедленно заняты, поделены между таджикско-дворницкой родней и местными бомжами. Сразу же установилась четкая иерархия, весьма странная с точки зрения национального доминирования мигрантов, находящихся в России. Хозяевами были дворники, их родственники находились в привилегированном положении, а с самопросочившихся бомжей взималась мзда за проживание в виде выполнения самых грязных и трудных дворницких работ, как то: чистка мусоропровода или мартовская колка льда.

Главный по подъезду таджик Хамид подначивал, обращаясь к Тимофею:

— А ты ругался, что нет русский дворник! Вот ты теперь и есть русский дворник!

Опухшая с утра Зойка с похмельной ненавистью косилась на него, но

молчала. Тимоха же сдержаться не мог: напружинившись и сжав кулаки, играл желваками:

— Ах ты, чуркобес проклятый! Мне, русскому мужику, такое! Шас вот врежу тебе по роже-то твоей лыбистой!

Далее следовал длинный и убедительный нецензурный перечень витиеватых способов, которыми таджик получит от русского мужика, причем в этом сложном и отважном деле мордобития участвовали органы, абсолютно для этого не предназначенные и наличествующие скорее у женщины, чем у мужчины. Но Тимоха такими пустяками не смущался, Хамид же хамить переставал и улыбаться тоже — читили, ох, как читили еще выходцы из стран СНГ могучий русский язык.

Но в долгу все же не оставался.

— Вали отсюда, урод вонучий!

— Ничего он не вонючий! Мы вчера мылись! — вступалась за сожителя Зойка.

— Молчи, дура, — хмуро осаживал ее Тимофей и грозился: — Дождутся они у меня, сволочи, спалю всех к чертовой матери!

Наконец взял тяжелый лом и пошел долбить лед. Долбил несколько часов, потев и матерясь, отбрасывая на обочину острые и грязные разнокалиберные куски отступающей зимы...

Зойка с Тимохой делали в основном три вещи: спали, пили и ругались. Сошлись они пару лет назад: Тимоха был бомж со стажем, с «вокзальной» пропиской, знающий что к чему: и как греться зимой, и как пищу добывать, не имея денег, и как с ментами разговаривать. Зойка же, вокзальная проститутка, лет тридцати пяти на вид, с лицом заплывшим и потасканным, но еще миловидным, три года назад потерявшая свою подмосковную квартиру из-за махинаций бывшего мужа, ловко и быстро ублажала клиентов, делая укромный минет.

Тимофей взял ее под свою защиту и совмещал функции мужа и сутенера. Исправно забирал заработанные Зойкой деньги, выдавая ей только на самое необходимое; а Зойка была рада как дворняга, обретшая пусть и временами поколачивающего ее, но все-таки хозяина.

Если считать, что бомжи бывают в трех стадиях свежести, то Тимофей находился во второй, то есть от него воняло крепко и уверенно, но все же вонь доходила волнами, не пропитывая все вокруг; Зойка же была все еще в первой стадии, хотя и намечались уже признаки приближения ко второй. Третья стадия — последняя, переходная от скотского существования к подзаборной кончине. Бомжи в третьей стадии — это те, которые, заходя в вагон метро, мгновенно расчищают вокруг место — без стеснения ложатся и спят на пустой лавке. Постепенно, через три-четыре станции, пустеет и та, что напротив, и спящий бомж несется в одиночестве в темный туннель своей дикой неприглядной судьбы. Никто не хочет с ним разделить ее. Никто не будит его.

Третья стадия не приветствуется даже у самих бомжей, все они пытаются удержаться хотя бы на второй.

Тимоха был крепким коренастым мужиком, со спутанными сальными волосами и длинной, как у батюшки, бородой, с коричнево-кирпичным лицом, сизым носом, опухшим, будто его только что сильно прищемили, и слезящимися

щелками глаз. Двигался неторопливо, будто скованный паутиной собственной вони. Говорил, напротив, — энергично и зло, с грозным матерком.

Подругу свою ласкал редко, только в сильном подпитии, если это вообще можно было назвать лаской.

— Дура ты моя, дура, — приговаривал, похлопывая ее по рыхлой заднице, — шалавка...

Зойка не позволяла себе опускаться совсем. Пару раз в неделю чистила зубы, иногда подмывалась по вечерам и даже носила лифчик, растянутый и несвежий, плохо державший ее еще крепкую и тяжелую грудь.

...Зойка пила. Каждый день. Не работала и пила. С утра до вечера. Дочь стала бояться приходить домой, потому что очередной сожитель матери каждый вечер насильно усаживал ее к себе на колени и тискал...

Потом мать отвезла ее к восьмидесятидвухлетней бабке Томе в Орел, уже почти не встававшей с постели и просившей Киру то сварить ей каши, то подать утку. За это по вечерам бабка рассказывала внучке страшные истории про то, как девочка купила желтые шторы, хотя ее предупреждали, что покупать можно любые, кроме желтых. И вот ведь не послушалась. Кира, затаив дыхание, слушала, какие ужасы постигли девочку за непослушание: сначала умерла ее мама, потом папа, потом бабушка. И только когда уже сама девочка была при смерти, вдруг появилась добрая соседка, она же фея, и, наконец, сменила ей шторы: вместо смертоносных желтых теперь красовались и радовали глаз безопасные для жизни васильково-голубые. И несчастья девочки сразу кончились.

Но только не Кирины.

Внезапно умерла бабушка. Иногда она будила ночью внучку, чтобы та подала ей утку. Разбудила и теперь. Только иначе — каким-то каркающим криком.

— Что, что ты, бабушка? — замаячила в дверном проеме испуганная девочка в старушечьей, байковой, до пола, ночнушке.

Но бабка Тома уже ничего сказать не могла: протягивала к Кире костистую руку с резко выпирающими венами и хрипела. Зрачок одного глаза, как пластмассовый, закатился куда-то вбок, будто вперился в темное окно, встревоженное мерзлым светом фонаря. Кира подошла, присела осторожно на край кровати, будто боясь причинить бабушке лишнюю боль. Уловив присутствие девочки рядом, старухины веки дрогнули. Она попыталась приподнять с подушки голову, но не смогла — беспомощно и резко откинулась, будто голова была тяжелой, как гиря. Больно вцепилась в Кирину руку, силясь что-то сказать, но из горла вырвалось только надрывное глухое клочкотание. Зрачки оставались неподвижными: один устремлен в потолок, другой — в окно. В уголках рта пузырились слюни. Несколько секунд девочка смотрела, как они лопались. Уголком простыни Кира аккуратно вытерла старухе рот и провела рукой по глазам — она видела, так делали в кино, когда человек умирал. Но глаза бабки Тома остались открытыми и все так же пластмассово и неподвижно глядели в вечность. Внезапно старуха сильно дернулась, судорожно и глубоко вздохнула, резко выгнулась всем телом, словно от электрического разряда, и — затихла.

Ее рука все так же крепко сжимала Кирину. Девочка сидела, не шелохнув-

шись, будто боялась спугнуть свежую смерть. Не зная, как теперь быть, Кира маялась рядом с бабушкой, тихонько плакала от ужаса и думала, что же такое сделать, чтобы бабушка ожила. Может быть, все это случилось из-за желтых штор? Но нет, посмотрела на окно — шторы были бордовыми.

— Ба-а-а, — позвала она, плача, — бабу-у-уля...

Ответа не было.

— Бабушка, бабуля! — кричала Кира. — Ну что ты, бабушка!

Старуха не шевелилась. Пузыри в уголках рта уже не лопались.

Кира отцепила ее еще теплые пальцы от своей руки. Зловеще вздулся от ночного ветерка, залетевшего в форточку, тюль, приторно и жутко пахнуло стоящими на прикроватной тумбочке бабушкиными, теперь бесполезными лекарствами со сложными названиями.

Когда соседка открыла плачущей восьмилетней Кире дверь, девочка сказала:

— Тетя Люба, бабушка выздоровела. Совсем.

Изредка Зойка, так и не появившаяся на похоронах своей матери, вспоминала про дочь. Воспоминания приходили в нечастые трезвые промежутки, будто ее больно и горячо ударяли изнутри: вот Кирины густые волосы, стянутые в хвост задорным бантом, вот ее печальный внимательный взгляд, которым смотрела она на орущую пьяные песни мать, а потом, тронув ее за рукав, просила: «Мам, не пей больше, ладно?» А вот детсадовский Кирина рисунок, подаренный матери на Восьмое марта: угловатая девочка с косичками держит в руках тюльпан величиной с дерево. Откуда-то из дымного прокуренного воздуха возникали слова четырехлетней дочери: «Мам, ты такая большая, что моя любовь никак не может до тебя дотянуться...»

После смерти бабушки восьмилетняя Кира была отправлена в детский дом. Зойка ее не навещала. Она не видела дочь уже четыре года.

Главное — не расковыривать набухшую тоску, а то хлынет обильная свежая кровь воспоминаний...

Да, конечно, она бы хотела забрать Киру. Но куда? В эту берлогу под снос? Дома у нее нет, Кирина отец оказался подлецом: уговорил ее, уже крепко поддающую Зойку, продать квартиру, потом швырнул какие-то копейки на выпивку и скрылся. Теперь ни денег, ни жилья.

И уже никогда не будет дочери.

Ну, приедет Зойка к ней. И что скажет?

Я тебя люблю — вот те страшные и стыдные слова, которые она должна сказать.

Но Кира не поверит. Оттолкнет. И правильно сделает.

К тому же Зойка ужасно выглядит. Одутловатое лицо, на лбу заметный шрам — пьяный Тимоха чиркнул розочкой от бутылки, рваные колготки, старая, найденная на помойке старушечья юбка, прожженный свитер, залоснившийся от грязи и ставший негнушимся, будто пластмассовым. Голос — глухой, с хрипотцой. Разве может у матери быть такой голос? Кира наверняка и не узнает ее.

И потом — ехать надо с гостинцами. А что она может привезти? Все деньги, которые ей удастся заработать, забирает сожитель.

Как ни странно, в доме все еще не отключали воду и газ. Не было только электричества. Но Тимофей с Зойкой спокойно без него обходились. Книг они

не читали, а в кухне, для того чтобы сидеть и выпивать, вполне хватало скудного света уличного фонаря.

Помимо дивана, на котором они спали, в комнате стояли два старых, но вполне приличных стула, стол, поцарапанный и разрисованный фломастерами, и допотопный, с резными дверцами и огромным зеркалом, шкаф. Зеркало было будто затянута болотной ряской — зеленовато-матовой пленкой с многочисленными мелкими трещинками. Зойка, смотрясь в него, была похожа не на русалку, красивую, раскосоглазую, с упругим и блестящим чешуйчатым хвостом, а скорее — на утопленницу, обнаруженную через несколько дней, с раздутым серо-зеленым лицом и тинно-мертвецким запахом, сочащимся из тела...

Кончилось тем, что Тимоха, в очередной раз рассвирепев от отсутствия выпивки, разбил русалочье зеркало. Собирая осколки, Зойка смотрела на свое раздробленное лицо. Похожая картинка была одно время в метро на плакате, призывающем не делать аборты: хорошенькое доверчивое личико младенца распадалось на несколько неровных и трагических частей. Самый крупный осколок Зойка припрятала. Иногда, тайком, она смотрелась в него, прощаясь с утраченной молодостью и быстро истаявшей, как мартовский снег, красотой, с утекающей в омутные зеркальные глубины никчемной жизнью. Зеркало ничего не отдавало назад. Поглощало все зловеще и безвозвратно, отрывая только сожаление и горечь. Оно не знало жалости. Оно было спокойным и справедливым. Не соучастником — только свидетелем.

...Зойка не сделала аборт. Хотя врачи и пугали, что, дескать, если она будет продолжать пить, то ребенок может родиться больным. Но девочка, как ни странно, появилась на свет совершенно здоровой.

И где теперь ее дочь? Известно где. Только для нее, Зойки, было бы лучше, если бы ребенок умер.

Сожитель ничего не знал про Киру, да и зачем ему говорить об этом — обматерит да и только.

Сегодня их очередь скалывать с дороги лед. Хамид брезгливо поморщился:

— Ви мились?

— Мылись. Вчера. — Гордо сообщила Зойка.

— Короче, — сплюнул себе под ноги Тимоха, — лом давай и вали отсюда!

— Тимош, ну успокойся, дает он лом, дает, — затараторила, пытаясь предупредить конфликт, Зойка. — Правда ведь, Хамидушка?

— Какой он тебе Хамидушка?! Хамло он, а не Хамидушка! Чуркобес проклятый, чмо таджикское. Сами они жить будут, видите ли... Без СэСэСэр... Ну, так и живите, мать вашу! Чего сюда-то приперлись? Не сладко там, на родине-то, а?..

Зойка дергала сожителя за рукав.

— Ну все, все, хватит, пошли. Хамид, ты внимания на него не обращай...

— Нет, я скажу, — вырвался Тимофей. — Я все скажу. На меня будут обращать внимание. Я вам, чуркам проклятым, покажу!

Хамид медленно наливался яростью, как августовское яблоко — спелостью.

— Я тэбэ дам, сволоч! Все, болшэ ви здэс не живетэ!

Неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы на лестнице внезапно не появились полицейские.

— Так, граждане, а что это мы тут делаем? Документики ваши, будьте

любезны! — ехидно прищурился пузатый и розовощекий, раздавшийся на столичных харчах лимитчик.

Напарник его, молодой и длинный, с конопатым и почти безусым лицом, подбодренный начальственной хамоватостью, улыбался нагло и развязно, с эдаким прищуром вседозволенности, одинаковым для всех стражей порядка, как их ни называй.

Тимофей сурово молчал, Зойка суетливо озиралась по сторонам, будто из какой-нибудь ближайшей квартиры сейчас вынесут необходимые документы в полном порядке, подтверждающие законное пребывание их, Зойки и Тимохи, в этом доме.

— Э... рэбята, — заелозил Хамид, — говорит надо, рэбята, — можит, зайдетэ? — кивнул головой на одну из квартир.

Полицейские, кинув презрительный взгляд на таджика и оценив, что опасности никакой, шагнули в открытую дверь.

— А с вами, — на пороге конопатый брезгливо обернулся на бомжей, — мы еще поговорим!

Сожители шмыгнули в свою квартирешку, примолкли там, затаились, ожидая, чем кончатся переговоры.

Задымили найденными на улице бычками.

— Тимош, — проскулила Зойка, — нас теперь выпрут отсюда, да?

— Да не каркай ты, дура! — огрызнулся он, — щас бабок им даст Хамид, и все дела.

— Да он-то даст. А мы?

— А мы отработаем потом.

— Ты уж Хамиду-то не груби, — попросила Зойка.

Тимоха резко ввинтил окурок в консервную банку.

— Чмо, оно и есть чмо!

— Это ты про меня, что ли? — попыталась пошутить Зойка.

— Да ты-то тут при чем? — не поддался на провокацию собутыльник. — Про чуркобеса этого недоделанного. Все, отстань!

Наконец, напротив щелкнула дверь, послышались шаги на лестнице.

Сожители тут же выглянули в окно и вскоре увидели удаляющиеся фигуры стражей порядка.

Хамид в тот день к ним не зашел. А на следующий — сказал, что дом через две недели будут сносить, так что пусть выметаются.

9

На этот раз Олеся везла с собой сестру, двенадцатилетнюю Светку. Раз в неделю на один день без ночевки девочек отпускали к отцу, точнее, отец был Светкин, а Олеся просто сопровождала сестру. Обычно он, трезвый и чрезмерно наодеколоненный, сам заезжал за дочерью, но когда Олеся исполнилось шестнадцать, сестер стали отпускать в самостоятельные поездки. Просилась с ними и третья сестра — шестилетняя Ариша, но воспитательница непустила — мала еще. Да и не нужна она была совсем Олеся там, куда та собралась.

За Светку ей обещали сто пятьдесят долларов. Этого как раз не хватает ей, Олеся, на навороченный мобильник, тот, о котором она давно мечтает. Еще пару поездок — и они купят телефон и Светке. Уговорила Олеся сестру легко.

— Страшно не будет, — объяснила она, — а будет только приятно. Просто один дяденька погладит тебя вот тут, — провела рукой по груди, слегка сминая сосок, — и вот тут, — рука скользнула между ног. — Только не сопротивляйся, поняла? Делай то, что тебе говорят и молчи. Светка кивнула. С сестрой ей всегда спокойно. Она не обманет. Она обещала заботиться. Олеся им с Аришей как мать. А настоящая мать — в тюрьме. Пятый год уже.

Но есть отец. Угрюмо и молчаливо выпивающий на кухне мужик, живущий в прокуренной однушке на «Соколе», несколько лет назад сдавший ее, Светку, в детский дом. Ездить к нему не хочется да и незачем, но ей объяснили, что квартира, когда отец окончательно сопьется и умрет, достанется ей, и поэтому — как сказала Олеся — надо это дело держать под контролем.

Возле станции девчонок уже ждали. Окно черного «БМВ» медленно приоткрылось, кавказец в солнечных очках, в которых Светка увидела свое сплющенное отражение, придирчиво оглядел ее. Короткая юбочка, тонкие ножки в еще детских, с помпонами, сапожках, легкая серебристая курточка, два веселых рыжих хвостика, перехваченных сиреневыми бантами.

— Залэзайтэ! — с характерным южным акцентом скомандовали черные очки.

В машине было тепло и приторно пахло чем-то навязчиво ароматическим. Запах будто заставлял вдыхать его, казалось, даже если открыть на полном ходу все окна, он не выветрится, а пропитает собой ветер, облака, снег. Водитель сидел неподвижно, словно манекен с приклеенными к рулю руками. Казалось — не руки его крутят руль, а наоборот, руль поворачивается сам, увлекая за собой застывшие пластмассовые руки. Негромкая, надрывная, с монотонными завываниями кавказская мелодия текла свободно, не прерываемая разговором.

Наконец тот, кто сидел рядом с водителем, повернулся к девчонкам.

— Я Ахмэд, — сказал без улыбки, обращаясь к Светке, — я нэ обижу, не бойса. — Кинул быстрый взгляд на Олеся. — Проблэм нэ будэт?

— Нет, проблем никаких. Сестра у меня послу-у-ушная...

— О'кей, — ухмыльнулся черноочковый, и это английское слово в сочетании с кавказским акцентом прозвучало дико и неуместно.

Внезапно Светке стало страшно. Куда ее везут? Зачем? Что там с ней будут делать? Этот приторный запах, чужеродная музыка, мрачный и опасный Ахмед...

— Сигарэта? — кавказец протянул пачку сначала Олеся, она взяла, потом Светке. Девочка помотала сиреневыми бантами.

— Нэ курит? — захохотал он, обнажив жуткие зубы: все верхние были золотыми.

— Пока еще нет, — Олеся задумчиво посмотрела на съжившуюся у окна сестру, словно размышляя — не пора ли ей начать курить?

Проехали по Рязанке, выехали на МКАД. Теперь им до Ленинградки, там сразу за Черной грязью пансионат «Подмосковные зори».

Вот уже несколько месяцев Олеся ездит туда «на заработки».

Ахмед высмотрел ее в одном из московских клубов, где однажды она тусовалась с друзьями. Подошел, познакомился, заказал ей какой-то коктейль и, узнав, что она детдомовская, предложил заработать.

— Дэнги хороший, — заманивал он. — Все у тэбэ будэт, все!

Условие было одно: никому ничего не рассказывать.

Первого клиента она помнит хорошо. Пузатый, отвратительно старый... В костюме и при галстуке. Точно таких же представительных дяденек Олеся видела по телевизору, они с озабоченными государственными проблемами лицами заседали в Думе, а в интервью рассказывали, какие они примерные семьянины и как любят своих детей.

Клиент представился Борисом Алексеевичем, но для нее, для такой премиленькой куколки, он — Борюсик.

— Давай с тобой поиграем в игру, — предложил, снимая пиджак. — Как будто ты моя дочка, а я твой папочка, хорошо?

Олеся пожала плечами.

— А зачем вам это?

— Ни о чем не спрашивай, — строго осек ее клиент. — Просто делай то, что тебе говорят. Так вот: ты — моя дочка, а я твой папочка. Сейчас ты сядешь мне на колени, и я буду кормить тебя мороженым. А потом... Потом проверю у тебя уроки и буду ругаться за то, что ты их не выучила... Только не бойся, договорились? Это же просто игра.

Олеся оглядела номер. Большая кровать, возле нее — вытертый коврик. Светлые, с размытыми цветами занавески. И только сейчас заметила — у окна стояла настоящая школьная парта со стулом, почти такая же, как в детском доме, да и то у них поновее. Такие она видела только в старых фильмах про Советский Союз, где все улыбались, пели задорные песни, весело работали до упаду и никогда не занимались сексом.

За окном мелкие скудные мартовские снежинки, совсем не то, что крупнопушистые январские. Вдалеке — четко вырисовывающиеся на фоне неба островерхие густые ели.

— Как тебя зовут? — вкрадчиво спросил Борюсик, развязывая галстук.

— Олеся.

— Нет, ну, какая же ты Олеся? — поморщился клиент. — Тебя зовут... Зовут... Надо что-нибудь эдакое... Снежана! Снежана, девочка моя, ну иди же скорее к папочке.

«Папочка» расстегнул рубашку и ширинку брюк, достал из холодильника заранее приготовленное мороженое. На этикетке было написано: Эскимо «28 копеек».

— Любишь мороженое, доченька?

Олеся ничего не ответила. Ей было и смешно, и страшно. Понятно, что она имеет дело с психом, ностальгирующим по Совдепии. От такого можно ожидать чего угодно.

Девственности Олеся лишилась в одиннадцать. Пока алкоголичка-мать отошла в магазин, ее собутыльник, в рваной майке и прожженных трико, завел девочку в ванную, наклонил и грубо сделал свое дело. Она до сих пор помнит свой крик, казалось, он ливанул, как дождь, сразу отовсюду: с потолка, со стен, из-под пола...

Потом, в четырнадцать, был Антон, ровесник, жил в том же детском доме, что и она. Все произошло ночью, в спортзале. Антон научился открывать его без ключа, простой булавкой. От матов пахло пыльным поролоном и резиной. От Антона — взбудораженным подростковым потом. Они проделывали «это» несколько раз, но Олесе не нравилось: боль, конечно, прошла, но радости никакой...

— Ты хоть любишь меня? — спросила насмешливо.

— Люблю, — легко и решительно подтвердил Антон. — Я на тебе женюсь. Когда мы выйдем отсюда.

— Ну, ты и дурак! Зачем ты мне нужен-то, детдомовский?!

Олеся хорошо запомнила слова директрисы: «Никогда не женитесь на детдомовских — намучаетесь».

Антон оскорбился, а Олеся была польщена: ей, как взрослой женщине, сделали предложение, и это в четырнадцать-то лет!

Борюсик массировал рукой свой маленький орган, вялой гусеницей вывалившийся в проем брюк.

— Иди же сюда, милая моя девочка. Иди, Снежана! — звал он.

Олеся подошла, села к нему на колени. На удивление они оказались рыхлыми и шаткими. Чтобы не упасть, она обняла «папочку» за шею.

— Вот так, хорошо, куколка, — приговаривал Борюсик, — хочешь мороженого?

— Не-а, — честно призналась Олеся.

— Ну, не расстраивай папочку, дочка. — Я же знаю, что ты любишь мороженое, не стесняйся, скажи, любишь?

Послать бы этого старого козла с расстегнутой ширинкой куда подальше, но ей очень, очень нужны деньги. Нужны деньги. И взять их больше неоткуда.

— Люблю. Дай лизнуть! — включилась она в игру.

Борюсик просиял.

— Ай, моя умница! Ты, правда, хочешь? Ну, конечно! Разве же папочка не даст полизать своей доченьке мороженого...

Он торопливо развернул эскимо, поднес к Олесиным губам и медленно провел по ним, оставляя размытую шоколадную дорожку. Девушка, стараясь, чтобы это выглядело сексуально, стерла ее кончиком своего языка.

Борюсик возбужденно засопел.

— Лижи! — скомандовал он. — Лижи так, чтобы я видел твой язык!

Олеся стала тщательно облизывать мороженое с разных сторон, изо всех сил вытаскивая язык. Языку сделалось сладко и холодно.

«Папочка» тяжело задышал, взял руку «дочки» и положил на гусеницу. Олеся инстинктивно сжала ее, затеребила.

— Вот так, хорошо, хорошо, — закрыв глаза, вздохнул Борюсик и вдруг сам откусил изрядный кусок мороженого.

Расстегнул девушке блузку, освободил груди из бюстгалтера, провел уже начавшим таять мороженым вокруг моментально съезжившихся сосков. Слизал, причмокивая, молочные струйки.

— Снежана, девочка моя, сними трусики... Вот так, молодец. А теперь у меня есть для тебя другое лакомство, — Борюсик поставил ее на колени, ткнул носом в курчавые, пахнущие почему-то жареным арахисом заросли.

Этого они с Антоном никогда не делали. Лизнула. Теплый, солоноватый, слабый запах мочи.

— Ну, давай же, Снежана, порадуй своего папочку!

Тошнотворная гусеница нагло поселилась у нее во рту, затрепыхалась, стала расти, огромадилась, Олеся поперхнулась, закашлялась...

Потом она сидела голая за партой и «учила уроки». Учила, по мнению

Борюсика, очень плохо, за что тот ее наказывал. Она наклонилась, легла грудью на парту, а суровый «папочка» долго и больно хлестал широким ремнем.

— Ты будешь слушаться папочку, будешь, я тебя спрашиваю?! — запыхавшись, кричал он.

— Да, да, буду, — всхлипывала уже всерьез напуганная Олеся.

На ее белых ягодицах вспухли багровые дорожки.

Борюсик долго облизывал их, гладил, приговаривая: «Ах, какая сладкая у папы дочка... Ах, какая вкусная...»

Извергнулся шумно, скуля и содрогаясь всем телом.

Он покупал Олесю еще несколько раз, потом, пресытившись, переключился на других «дочек».

Со МКАДа свернули на Ленинградку. Пробка. Если смотреть сверху, это было похоже на многоярусные бусы с перемещающимися по дорожным нитям разноцветными продолговатыми бусинами. Ахмед закурил, приоткрыв окно. В салон сразу ворвался гул работающих моторов, залетели горькая гарь и влажный холод.

Олеся смотрела в одно окно.

Светка — в другое.

Две сестры.

Светке всего двенадцать. Ей страшно. Садится поближе к старшей, прижимается, кладет голову на плечо.

— Я есть хочу, — шепчет на ухо Олесе. — И писать.

— Потерпи. Что ты как маленькая?

Почти сразу за Черной грязью свернули налево, метров пятьсот проехали по лесной дороге, и — вот он, пансионат «Подмосковные зори». Небольшой, двухэтажный, цвета кофе с молоком. Над дверью надпись: «Мы всегда рады гостям!» Надо же, прямо как у них в доме: «Нет ничего приятнее, чем стук гостя в дверь».

Охранник, здоровенный румяный детина, почтительно поздоровался с Ахмедом, презрительно глянул на девчонок и распахнул дверь. В небольшом холле, на ресепшене, Ахмеду кивнула ухоженная, лет сорока пяти, благоухающая дама с длинными фиолетовыми ногтями, в лиловой, с блестками, декольтированной блузке, к которой был прикреплен бейджик: Администратор Регина Витальевна.

— Все для вас готово, — по-отельному доброжелательно и одновременно безразлично улыбнулась она, — второй этаж, налево по коридору, номера двадцать и двадцать один.

В двадцатый Ахмед легонько подтолкнул Олесю, в двадцать первый — уже жестче — остолбеневшую Светку.

На кровати в одних трусах лежал мужчина лет сорока, рыхлый и сдобный, как только что выпеченная булочка, с тремя подбородками. Смотрел телевизор. «Теперь все машины из Японии, прежде чем попадут на российский рынок, будут проходить специальную экспертизу на наличие в них радиации», — услышала Светка. Мужчина приподнялся на локтях, внимательно оглядел растерянную девочку: конопушки, рыжая челка, сиреневые банты.

— Проходи, раздевайся, — пригласил он.

Светка, не двигаясь с места, медленно стянула куртку и, не найдя куда

положить ее, бросила на пол. Сняла сапоги. Они в смятении неловко завалились один на другой.

— Ну, проходи, проходи, не бойся, — торопил клиент. — Сколько тебе лет?

— Двенадцать, — тихо ответила девочка и заплакала.

— А вот это уже ни к чему. Разве я тебя обидел?

— Нет, — всхлипнула Светка, — а можно мне в туалет?

— Можно, — разрешил трехподбородочный. — Только с одним условием.

Я буду смотреть, как ты это делаешь, хорошо? Ты же не против?

У Светки мгновенно вспотели ладони и загорчило во рту, что-то липкое и острое, разрастаясь, затрепыхалось в горле.

— Я хочу к сестре, — тихо сказала она.

— Конечно, ты совсем скоро пойдешь к своей сестре, — раздражаясь, пообещал мужчина, — только мы чуть-чуть развлечемся... Ну, иди же, иди, ты, кажется, хотела писать?

Светка зашла, сняла трусы, села на унитаз. Толстяк присел на корточки и пристально наблюдал, причмокивая от удовольствия.

— Очень хорошо, — похвалил он девочку.

Провел пухлым пальцем между ее ног, капелька мочи осталась на широком желтом ногте. Поднес палец ко рту, с наслаждением облизал.

— Выходи и раздевайся!

Сам обнажился тоже.

— Ой, мамочки! — вскрикнула Светка.

— Что, нравится мой агрегат? — довольно захохотал клиент, резко и больно, двумя пальцами, крутанул девочке соски. — А у тебя, смотри-ка, грудь уже намечается!

...Светка кричала, задыхалась, выла, звала Олесю. Звала маму, свою пропащую, тюремную алкоголичку-мать.

Очнулась в машине, голова — на коленях сестры. Олеся гладит ее распущенные волосы, банты остались на полу в номере. По дороге сестры просят остановиться возле палатки куры-гриль. Как два голодных зверька, набрасываются на жареную тушку, съедают почти целиком. Жадно отщипывают сытные мясные волокна. Горячие, жирные, без хлеба.

Дома Светку рвет. Наверное, отравилась чем-то, когда была в гостях у отца, объясняет медсестре Олеся. Ей и самой муторно, нехорошо.

Светка не спит почти всю ночь. Стыдно ноет низ живота. Часто встает, бредет в туалет. Там, упершись лбом в холодную кафельную стену, плачет. Уже не по-детски, сладко и громко всхлипывая, а по-женски, тихо и безутешно. Первыми взрослыми слезами.

10

Не помню, где прочитала: «Детский дом — соломинка для тех, кто уже утонул». Подумалось — волонтеры, наверное, те, кто помогает детям поверить в то, что эта соломинка все же есть. Что она нужна. Что, держась за нее, и вправду можно спастись.

Мне казалось иногда, что я помню свое детдомовское детство, помню до мельчайших подробностей, хотя никогда оно таковым не было. Помню казенно-

капустный запах столовой, хлористо-ледяной — туалетов и сумрачно-пыльный — длинных коридоров. Помню комнату, теплую, но уныло-неуютную, в которой четыре кровати (моя у окна), а посередине стол и четыре стула, обшарпанных, словно голых, небрежно прикрытых детской одежкой. Кровати застелены угрюмыми, в коричнево-синие квадратики пледами, на полу — сиротский палас.

Помню, как это — ждать целыми днями напролет маму, которая не придет. Помню, как отпускать одну за одной, будто мертвых бабочек с ладони, стылые ночи, как возвращаться морозным утром из тепло-молочного сна в свою бесприютную жизнь, и не знать, что делать дальше.

Страстно хотелось умереть. Больше всего на свете. Нет, не в семь-восемь лет, а позже, в тринадцать-четырнадцать. Я знаю, я помню, как мне хотелось тогда умереть. Не кинематографично, в красивом платье, женственно откинувшись на подушки, выронив из рук бокал с ядом, а тихо и незаметно, просочиться, как дождь, в иной мир, где у всех детей есть мамы, а может — даже и папы. О том, чтобы они были вместе, папа и мама, я даже не мечтала.

Можно помнить то, чего никогда не случилось? Кем я была? Кирой? Олесей? Или ее сестрой Светкой? Не знаю. Может быть, Ликой. Или — беременной Кефиркой. Или всеми ими сразу. Каждой из них.

Мы снова в детском доме.
Сколько таких приездов еще будет?
И есть ли в них хоть какой-то смысл?

На обратном пути ко мне в машину сел Паша. В машину Вероники — Тина и Илья.

Включила печку и тихонько радио «Relax FM». Потекла влажная спокойная мелодия. Паша достал сигарету.

— Можно я закурю?

— Кури.

Тронулись. Сначала машина Вероники, потом наша.

По небу плыли клочковатые облака, и не плавно, а как-то рывками, подталкиваемые взволнованным весенним ветром; недавно вылупившиеся желтые одуванчики были похожи на нежный выводок цыплят, вышедших прогуляться по молодой травке. Листья еще не распустились, но почки пухлились, готовые вот-вот взорваться напористыми проклюнышами. Время от времени из-за облаков проступало робкое солнце, золотило и ласкало все подряд: прохожих, ржавые гаражи, невысокие домишки, веселую зеленую ящерку-электричку и мрачную массивную платформу, держащую на себе несколько десятков пассажиров с еще не закрытыми после недавнего дождя зонтиками, висящими, как отцветшие цветы на выброс, макушками вниз.

Паша приоткрыл окошко, ловко пульнул в траву дымящийся бычок.

— Лучше бы, конечно, в пепельницу, — сказала я.

— Прости. Не подумал, — смутился он. — Полин, я вот что у тебя хотел спросить... Мне нужно знать твое мнение. Вот ты, Поль, что ты думаешь об этой нашей деятельности волонтерской? Лично тебе — зачем это нужно?

— Мне? Наверное, то, что я скажу, прозвучит патетично и не слишком оригинально, но... как бы тебе объяснить... Я чувствую свою вину перед ними...

— За что?

— Не знаю. Мне кажется, будто это я их всех бросила... Понимаешь, большинство людей привыкли чувствовать себе несчастными и безвольными, полностью погруженными в свои проблемы. И вообще — чувствовать себя счастливым у нас, в России, как-то неприлично. А несчастному человеку, согласишься, гораздо легче отстраниться от чужих проблем, дескать, мне и самому плохо и трудно, так чего же вы еще от меня хотите?

Кстати, в литературе происходит сейчас то же самое. Повсюду — безвольный герой, опустивший руки. Разочарованный. Затюканный жизнью. Беспредостанно комплексующий и себя жалеющий. Зацикленный на себе и своих переживаниях. Именно таким ощущает себя сегодня русский интеллигент. Раз-зо-ча-ро-ван-ным. Иногда — просто с трудом выживающим. Я имею в виду материальную сторону. Ему, по сути, нет дела даже до себя. Не говоря уже о других.

В общем, я хочу доказать самой себе, что русские люди — это прежде всего люди духовно сильные, а не пьяницы, воры и разгильдяи, какими пытается представить их наше телевидение, что будущее России не столь мрачно и безысходно, как представляется сегодня многим. Да, конечно, есть проблемы и трудные ситуации, но есть ведь и люди, способные не только ругать все подряд без разбора, беспрестанно ворчать и жаловаться на жизнь, увязнув в своих мелководных горестях, но и пытающиеся сделать какое-то посильное добро, хоть на чуть-чуть изменить окружающий мир. На доступном им уровне.

— А у меня все проще, — вздохнул Паша, снова закуривая. — Я ведь сам детдомовский... Знаю, как им там живется. Ты думаешь, если у них есть сейчас приличная еда и одежда, мобильники и компьютеры, — они стали счастливее? Ничего подобного. Это все равно, что безногому подарить новенький, дорогой протез из высокопрочной стали...

— А как им там живется? Как тебе было там?

— Не люблю вспоминать об этом. Мы жили как маленькие волчата. Все время нужно было быть настороже, знаешь, выработалась даже какая-то готовность к обиде. Готовность дать отпор заранее, еще до ее нанесения. Нужно было все время что-то отстаивать: свою территорию, свое право на существование. Дедовщина была похлеще армейской. Не знаю, может — сейчас и не так. Только в армии она всего два года, а там — до совершеннолетия. И ничего не сделаешь. Слабые у нас просто не выживали. Друг мой, Сенька, повесился в туалете на девчоночьих колготках. Не выдержал... Били его старшие, заправлял ими самый главный хулиган интерната — Большой Зуб. Потом насиловать стали. Все хором. Парень целый год держался. Я заступался — меня избивали. Воспитатели вмешиваться не хотели, тоже побаивались этого Большого Зуба, ведь он был на все способен. Так вот и погиб Сенька... В общем, ломается психика там раз и навсегда.

— А что потом стало с ним?

— С кем?

— С Большим Зубом.

— А, — махнул рукой Паша, — в колонии отбывает.

— За что?

— Воровство, бандитское нападение... Да это обычная история. Восемьдесят процентов детдомовских идут по этой дорожке: для мальчишек — тюрьма, для девчонок — проституция...

11

2003 год.

Утро начиналось с тошноты. Мутило, слегка кружилась голова, тошнотворные волны набирали силу, как море в шторм. Наташка вставала, пошатываясь, брела в туалет, матерясь и проклиная причину своего ежеутреннего недомогания — ребенка, которого она носила. Точнее, это был еще не ребенок, а только глупый зародыш, но какая разница? Так или иначе — этот крохотный и безликий деспот портил ей, Наташке, жизнь.

Холеная тридцатидевятилетняя бизнес-леди Алла подобрала девушку, когда та приехала с Украины на московские заработки. Но прослonyaвшись пару месяцев по столице без определенного занятия и истратив все, что было привезено из дома, решила так: чем возвращаться к больной пенсионной матери и вести полунищенское существование, лучше позвонить по одному из объявлений, приглашающих девушек на работу в массажный салон, где значилось: строго без интима. Все это вранье, Наташка знала, — такая зарплата без интима не бывает, но она согласна уже и на интим, черт с ним. Хотя противно, конечно. Она росла практически на улице — отец пил, мать все время пропадала на работе — и привыкла, что все ее считали беспутной. Девственность была потеряна глупо и незаметно, как оброненный в толпе носовой платок. По пьяни. Парни сменялись часто, она не отказывала практически никому, ей нравилось, когда ее ласкали, говорили сладкие любовные банальности, обещали то, чего никогда не смогут исполнить.

После девятого класса, который закончила с горем пополам, пошла в ПТУ на повара. Но готовить терпеть не могла. Просто кулинарное училище это было недалеко от дома, к тому же туда пошла ее подруга, Юлька Осипова.

Теперь Наташке двадцать четыре, и она в Москве, и она беременна.

Суррогатная мать.

Алла присмотрела ее на дачах, под Калугой (туда Наташка приезжала пару раз на выходные к своей подруге и успела закрутить бурный роман с работягой-молдаванином). Там же находилась и дача Аллы. Бизнес-леди тут же оценила девушку — молода, хороша собой, неприкаянна. Выпили кофе, закурили тонкие ментоловые сигаретки, Алла напрямик предложила сделку — выносить для нее ребенка. Условия такие: на весь период беременности Алла снимет ей однокомнатную квартиру в Москве, будет платить двадцать тысяч рублей в месяц, а после родов выплатит еще сто.

— А от кого я должна забеременеть? — спросила Наташка.

— От моего мужа, конечно.

— А как же он... Ну то есть как же мы... Вы не будете ревновать?

Алла рассмеялась.

— Ты что, ничего об этом не знаешь? Это называется корпоральное оплодотворение. То есть никакого полового акта не будет. Тебе просто введут зачатый в пробирке эмбрион, а ты будешь его вынашивать. Поняла?

— Не-а, — честно призналась Наташка. — А это не больно?

— Ну, ты и глупышка... Разумеется, нет. Твое дело — выносить.

— А как же потом? Ну, как я вам его передам?

— Все необходимые бумаги мы оформим, не переживай. Ты просто как только родишь, поставишь свою подпись, что отказываешься от ребенка — и все. Ну, как? Договорились?

Наташка кивнула, обрадовалась — легкие деньги. Такой способ заработка показался ей вполне подходящим. Ясно одно: на ближайший год она будет обеспечена и жильем, и деньгами.

В дорогой стерильной клинике, где даже персонал улыбался стерильно, сделали все быстро и совсем не больно. Взволнованная Алла обняла ее, Наташка же не почувствовала ничего.

На время беременности ей запрещалось пить, курить и заниматься сексом. В общем всем, что могло бы повредить плоду. Алла, как и обещала, сняла для нее квартиру неподалеку от их с мужем дома, два раза в неделю аккуратно приходила, приносила полные сумки продуктов, много фруктов. Методично таскала девушку по врачам. Ее осматривали, брали анализы, делали УЗИ.

Наташка курила тайком и тайком же занималась сексом. По выходным к ней наведывался черноглазый кудрявый Вовка, тот самый молдаванин, что строил дачи в Калужской области. О сделке со своим «работодателем» Наташка ничего ему не сказала, объяснила, что в эту квартиру поселили ее от фирмы, продающей косметику, куда она устроилась на работу. Вовка несколько удивился такой косметической щедрости, но лишних вопросов задавать не стал — измотанный строительными работами на солнцепеке, он рад был расслабиться и хотя бы ненадолго забыть о том, что там, в небольшом селе под Кишиневом у него остались жена и годовалый сын, а он торчит все лето тут, на заработках. Там у них совсем плохо с работой. Живут в основном на те деньги, которые привозят отсюда. Наташка слушала, кивала и думала о своем: о том, как бы поскорее отвязаться от этого коммерческого ребенка и зажить нормальной жизнью. Но как именно — она плохо себе представляла: жилья нет, работы тоже, перспектив никаких. Домой возвращаться неохота — там нудная больная мать, целыми днями нужно будет сидеть и слушать ее жалобы...

Иногда Наташка закатывала Вовке скандалы, смысл которых сводился к тому, что он должен немедленно развестись со своей молдавской женой и жениться на ней, Наташке. Любовник переживал эти женские грозы на удивление спокойно и мудро — несколько дней не звонил, а потом внезапно, как ни в чем не бывало, появлялся с букетом роз, и Наташка некоторое время вела себя смирно, не заводя истеричных предсвадебных разговоров.

Скоро живот станет заметен. Придется все рассказать Вовке. Скорее всего, он ее бросит. Хотя почему бросит-то? Ребенок же не ее. И не его. Она отдаст младенца, как только тот появится на свет. А вообще-то, если разобраться, на кой ей Вовка? Даже если он и уйдет от своей молдаванки? Вот москвича бы найти с квартирой, это да. Сразу решились бы все проблемы. Ну, ничего, через восемь месяцев она получит свободу. И тогда уж займется устройством своей московской судьбы. А пока, что ж, пусть будет Вовка, все-таки не так одиноко и тошно.

Заварила себе крепкий чай, закурила. Еще минут двадцать, и тошнота начнет отступать. Наташка смотрела в окно на сентябрьскую стайку желтовато-зеленых кленовых листьев, медленно фланирующих вниз, пританцовывая и плавно раскачиваясь. Наступил новый день, который нечем заполнить. Час за часом — телевизор вперемежку с женскими любовными романами, которыми снабдила ее Алла. И еще эти дурацкие фэнтези. Изучив досконально все

похождения Гарри Поттера, Рона и Гермионы, Наташка не видела в продолжении этой истории никакого смысла. Посмотрела и фильм. Все части. Почему все так алчно ждали вторую часть «Даров смерти», ей было непонятно. Ну, бегают двадцатилетние лбы, машут направо и налево своими волшебными палочками — и что дальше? Смешно и глупо.

— Ну, как дела у «суррогатки?» — время от времени звонила ее калужская подруга, у которой она гостила на даче.

Наташка жаловалась:

— Скуотища жуткая... Муть. Приехала бы в гости, что ли.

Подруга обещала, но всегда находились какие-то дела, и поездка отменялась.

Наташка набрала Вовкин номер, но тот был заблокирован: кавалер отбыл на родину, к жене и ребенку. Теперь придет не раньше апреля, а то и в мае. Как пережить ей эти тягостные месяцы? И что она будет делать дальше? Алкиных денег хватит примерно на полгода, и то, если появится на горизонте какое-нибудь жилье.

Вот уже стал заметным живот. Странное это ощущение — быть просто полым сосудом для вынашивания ребенка. Чужого ребенка. Странное и страшное. Жуть подступила только теперь, когда день растягивался в неделю, и накрывала черная маета, горькая, как кофе без сахара.

Все чаще стали приходиться мысли о побеге. Убежать куда глаза глядят, хоть и домой, к матери, сделать аборт — пока еще можно — и забыть об этом кошмаре. Но потом становилось совестно — нет, так нельзя, они же с Аллой договорились, и потом она же кучу каких-то бумаг подписывала, найдут, взыщут неустойку за невыполнение договорных обязательств...

К концу осени Наташка привыкла к своему состоянию. Тошнота прошла. Мирно рос животик. Странно, но она стала думать о ребенке без отторжения, а временами даже — с каким-то незнакомым тревожным теплом. Очень похожим на нежность.

12

В воскресенье зашла мама. Папа Андрей был отправлен в магазин, а мы с Катей сидели и играли в глупую игру, которую я сама и купила, не разобравшись. Предназначалась она для девочек пяти-семи лет. Красная, желтая и зеленая фишки, кубик с точками, большой кусок картона, с кружочками, по которым следовало добраться до финиша. По пути туда девочкам предлагалось заглянуть в бутик одежды, сделать маникюр, прическу, гидромассаж, посетить СПА-салон, солярий, непременно зайти в ювелирный, после чего получить приглашение в модельное агентство и, наконец, на финише стать королевой красоты. На первый взгляд все выглядело безобидно. Дочка с удовольствием играла. А мне с грустью подумалось о том, что игры моего детства были хоть и однотипными, но зато познавательными и увлекательными, а современные ориентированы на быстрый иллюзорный успех, да и успех ли, неужели создатели этой игры всерьез думали, что для любой девочки получить приглашение в модельное агентство — предел мечтаний?..

— Ура, бабушка пришла! — закричала обрадовавшаяся Катя и кинулась в коридор.

— Чем занимаетесь? — весело спросила мама, проходя в комнаты. От нее свежо пахло апрельским ветром.

— Играем, — сказала я.

— Отлично, отлично. А Андрей где?

— В магазин пошел.

— Надеюсь, он купит торт к чаю.

— Ага, сейчас позвоню, скажу.

Мама, понежившись с внучкой, совершила медленный и придирчивый обход нашей квартиры. Заметила, конечно, и пыль, и привычную безалаберность непослушных вещей, хаотично раскинувшихся на стульях, и уснувшую со вчерашнего дня кастрюлю в раковине, наполненную мутно-пенной жижей.

— Т-а-ак, — протянула она. — Все понятно. И ты еще хочешь денег и здоровья? И счастья хочешь?!

— Мам, ну при чем здесь счастье-то?

— Не придурайся! Ты все понимаешь. Пыль видишь?

— Вижу. Сейчас вытру.

— Это не поможет.

— А что поможет?

— Помимо наведения чистоты, я уже сто раз говорила тебе об этом, нужно читать мантры. Девять, а лучше двадцать семь раз. Это же ясно как божий день. Ты читаешь мантры?

— Нет, — тоскливо призналась я, предвидя, что разговор, как поезд, вот-вот пойдет под откос.

— Так я и думала, — сокрушенно вздохнула она. — Удивительно, как может быть человеку наплевать на собственную судьбу!

Она зашла в дочкину комнату и горестно всплеснула руками.

— Ну, надо же! Кровать Катину так и не переставили! Я же говорила — она стоит в самом неблагоприятном для ребенка направлении!

— Мам, ну опять ты начинаешь...

— Что я начинаю, что я начинаю?! Ты хочешь, чтобы твоя дочь болела, да?!

— Нет, не хочу. Но при чем тут кровать-то?

— А при том, что я специально накладывала на эту комнату сетку Багуа, и она показала, что кровать должна стоять вот здесь, у окна. А сейчас она стоит в самой опасной зоне, в секторе пяти убийц.

— Каких еще пяти убийц? Ты что несешь-то?

— Не веришь, — сокрушенно вздохнула мать, — что ж, хорошо. Только когда поверишь — поздно будет! Помяни мое слово!

— Да ладно тебе стращать-то...

— «Пять убийц» — это страшная сила! И они не простят пренебрежения к ним!

— Мам, да я не пренебрегаю, просто я знать не знаю об их существовании.

— Теперь знаешь! И будь уж так любезна — переставь, наконец, кровать.

— Послушай, — возмутилась я, — отстань ты от меня со своим фэн-шуйем! Пускай дурачат вас там, на ваших лекциях за ваши же деньги, а на меня это не распространяется. На Катю и Андрея тоже. Я в эту чушь не верю! Во все эти бредни твоей Ольги Истины!

— Ага, чушь, значит?! Не веришь?! — окончательно разъярилась мать. — Как припрет, так, небось, и поверишь! Ты же читала одно время мантры, забыла? Мы с тобой их даже хором читали!

— Человеку свойственно ошибаться...

— Послушай, фэн-шуй — это ведь древнейшая философия, философия гармоничного существования и личностного роста. Ты что, не хочешь жить гармонично? Не хочешь совершенствоваться?

— Я не хочу гармонии ценой безумия. Так что давай лучше закроем эту тему. Сейчас придет Андрей, и без всякого фэн-шуя попьем чаю с тортом.

— Смотри же, — перешла она на зловещий шепот, игнорируя перспективу мирной чайной церемонии, — плохо будет, тогда придешь ко мне просить совета. И тогда...

— Не волнуйся, не приду, — перебила я ее. — Фэн-шуйские советы мне не нужны, они травматичны для моей психики.

— Твое упрямство травматично для психики, а не фэн-шуй!

— Как бы там ни было, а с мантрами покончено. Лучше читать молитвы. Мы все-таки христиане, а не буддисты.

— Хорошо, — неожиданно спокойно сказала она, не вступая в спор о религиозных конфессиях, — тогда я просто заберу Катю из твоего дома.

— Это с какой стати? — опешила я.

— А с такой, что нельзя ребенку спать во вредоносном направлении.

— Мам, ну сколько можно-то! Тебе самой не надоело? Никто тебе Катю не отдаст, в конце концов — она моя дочка.

— Да, но и моя внучка! Катюша, собирайся, пойдешь к бабушке! — скомандовала она.

Катя стояла растерянная, переводя огорченный взгляд с меня на бабушку, будто пыталась защитить нас друг от друга.

— Никуда она не пойдет, мам, — твердо сказала я.

— Катюша, девочка моя, одевайся, пойдем! — не отступала мать.

— Мам, давай не будем ссориться. Я же сказала — она никуда не пойдет.

— Ах, так! Не пойдет, значит?! Последний раз прошу — переставь кровать.

— Нет.

— Прекрасно. Тогда я уйду. Не нужен мне ваш торт! Сами жрите!

Она стремительно ринулась в коридор, отталкивая плачущую испуганную Катю, видимо, считавшую себя главной причиной ссоры, торопливо втиснулась в куртку, пихнула ноги в сапоги и — хлопнула дверью.

На лестнице с ней столкнулся Андрей.

— Что у вас случилось-то? Она со мной даже не поздоровалась, — удивился он. — Доча, ты чего ревешь?

Он сел на корточки, обнял Катю. Я подошла к ним. Андрею пришлось успокаивать нас обеих.

Вечером позвонила Вероника. Оказывается, накануне, в последний наш приезд, Светка рассказала ей о своих поездках с сестрой в пансионат «Подмосковные зори». И о том, что они там с Олесей делали. Точнее — что там делали с ними.

— Поль, ужас-то какой!

— А ты говорила с ее старшей сестрой, с Олесей?

— Она боится этого сутенера, Ахмеда. Говорит, что он грозился их со Светкой из-под земли достать, если откажутся ездить «на работу». А Олеся через пару лет выходить отсюда. Я хотела сначала все рассказать директору Инне Федоровне, потом подумала, что тогда узнает весь интернат, позор-то какой будет для девчонок...

— Нет, директору говорить, наверное, пока не надо, — согласилась я.

— Давай в полицию заявим. Они этих гадов быстренько накроют!

— Но тогда все равно до директора дойдет. Полицейские и в детский дом обязательно приедут, выяснять все начнут... И на суде девчонкам придется присутствовать. Да и директору тоже.

— Ну, а что делать-то? Мы же не можем вообще ничего не предпринять?

— Надо подумать.

Мы помолчали.

— Слушай, — наконец сказала она, — как подумаю, что это не по телевизору, в каком-нибудь дурацком сериале, а на самом деле происходит, жутко делается.

Вот что: давай-ка его припугнем, гада этого. В следующий раз я поеду с девчонками, типа, тоже подработать, ну, и...

— Что — ну, и?

— Скажу этой сволочи, что если не отстанет от девчонок, им займутся менты.

— Думаешь, испугается?

— А то нет. Дело-то подсудное. Во-первых, проституция, во-вторых, девчонки вообще несовершеннолетние...

— Ник, вообще-то это опасно. По башке тебе даст и труп в лесу закопает. И девчонкам нашим еще хуже будет.

— А я с собой диктофон возьму! Записать чтобы. Ну, как он мне угрожать будет.

— Вот он тебя вместе с этим диктофоном и закопает.

— Полин, мне не до шуток, — вздохнула Вероника.

— Мне тоже. Давай сначала все хорошенько продумаем.

— Кстати, ребят наших, Пашу и Илью, будем подключать?

— Я думаю, не стоит, — решила Вероника. — А Ахмеду я скажу, что если не вернусь к определенному времени, и девчонки наши тоже, то моя подруга, которая в курсе ситуации, заявит в полицию и сообщит о местечке с чудным сосновым воздухом — о пансионате «Подмосковные зори».

— Ну, не знаю даже... По-моему, мы какую-то ерунду придумали...

— Ты предлагаешь оставить все как есть?!

— Ладно, давай попробуем. А кто поедет — ты или я?

— Я, — сказала Вероника.

— Почему ты-то? Я что, плохо выгляжу для такого дела?

— Потому что у тебя дочь.

Выезд Олеси со Светкой в пансионат был намечен на следующий пятничный вечер. Светку решили с собой не брать — нечего ей там делать. Идти должны были вдвоем — Олеся и Вероника. Я загодя привезла ей диктофон. Мы все продумали. Проинструктировали Олесю, которой, чувствовалось, было немного жаль, что срывается выгодный бизнес. Если что, я должна была заявить в полицию. А проходя мимо машины Ахмеда, записать номер. Прямо детектив какой-то. И я в нем отнюдь не зритель.

13

Из будки Дурынды пахло щенками. Их копошилось там шестеро. Попискивая, они пытались нащупать вслепую тугие теплые материнские соски. Мы с Вероникой брали их, теплых и сопящих, на руки, прижимали к себе, целовали

в мордахи. Дети просили дать подержать. Давали. Дурында волновалась, влаивала, суежилась. Мол, отдайте немедленно! Ладно, ладно, не переживай, ничего с ними не случится.

— Чтобы через месяц щенков здесь не было! — потребовала директор интерната. — Не хватало мне тут еще собачий питомник устроить!

Одному из шестерых повезло — его решил взять к себе Илья, точнее — к своим родителям, на дачу, они как раз просили пса для охраны. А Дурындин щенок должен вырасти крупным, уж никак не меньше, чем она сама.

Еще пятерых предстояло пристраивать нам с Вероникой.

Спустя месяц положили подросших щенков, пронзительно пищавших, в корзину, по-летнему пахнущую грибами. Дурында суетливо крутилась под ногами, лизала нам руки, тревожно заглядывала в глаза.

— Так надо, Дурында, — сказала я. — Не переживай. Плохим людям не отдадим.

Встали со своей корзиной у метро «Выхино».

Одного щенка взяла на руки я, другого Вероника. Немного расстегнув куртки, засунули их в теплое нутро. Еще трое остались сидеть в корзине под зонтом — вдруг повалил крупный мокрый снег. Вот тебе и начало мая. Люди, даже не глядя на табличку «Отдам в добрые руки», торопливо, съездившись от промозглого ветра, проходили мимо.

В течение получаса к нам не подошел никто. Потом подвалил хмурый усатый полицейский и строго сказал, что торговать в неположенном месте запрещено. Мы объяснили, что не торгуем, а просто отдаем щенков.

Страж порядка отреагировал на удивление человечно.

— А откуда щенки-то?

— От дворяниги. — Вероника достала длинную ментоловую сигарету, шелкнула зажигалкой, грациозно прикурила. — А может, одного себе возьмете?

— Да не-е-е, мне не надо, — улыбнулся усач, — у меня кошара дома. — И вдруг, неожиданно: — А вы замужем?

— Нет, — Вероника выпустила кокетливый дым ему в лицо.

— Ну, это... — замялся он. — Может, мы это... как его... ну, сходим куда-нибудь? Вечером?

— Может быть...

Кончилось тем, что Вероника дала ему свой мобильный, а ее новый поклонник обещал, что пока мы пристраиваем щенков, он будет охранять нас от «всяких придурков».

— Ник, зачем ты ему свой телефон-то дала? — спросила я, когда он отошел.

— Понравился!

— Кто, мент?

— А мне вообще нравятся мужчины в форме. Возбуждает...

— Да ладно тебе. Как может возбуждать милиционер?

— Полицейский, — поправила Вероника.

— Хрен редьки не слаще.

— Ну, как тебе объяснить? Ух, погодка дрянная, — поежилась она. — Мужчина в форме кажется сильным. А сила всегда привлекает женщину.

— Это не сила. Это иллюзия.

— Ладно, хватит философствовать. Смотри, наши-то гаврики совсем замерзли...

Под красным зонтом в корзине дремали и одновременно дрожали трое щенков, тесно прижавшись друг к другу.

— У меня куртка широкая, — я взяла еще двоих и положила к себе за пазуху.

Третьего взялась согреть Вероника. Щенки обеспокоенно покопошились, но вскоре, пригревшись, снова заснули. Держать их было довольно-таки тяжело. Липкий леденцовый снег не прекращался.

Мы начали замерзать.

— Еще полчаса, и надо ехать по домам, — решила Вероника.

— А этих-то куда? — я кивнула на коробку.

— Домой возьмем. Не к Дурынде же обратно везти.

— Ой, мам, смотри, какие хоро-о-о-ошенькие! — девочка лет семи в ярко синей шапке и белой курточке тянула мать за руку, показывая на щенков. — Давай возьмем, а?

— Да что ты! — недовольно отмахнулась женщина, элегантная, в кожаном плаще и лаковых сапогах, и решительно потащила дочь в другую сторону.

— Ну, давай возьмем одного, пожа-а-алуйста! — настаивала девочка. — Ну, можно я просто поглажу?

Какое-то время мать пребывала в нерешительности, потом, видимо, решив, что если дочь погладит щенков, ничего страшного не случится, позволила ей подойти.

— А ты возьми его на руки, он не тяжелый, — Вероника вынула из-за пазухи теплый спящий комок и протянула ей.

Та бережно взяла щенка, прижалась к нему щекой.

Мать обеспокоенно смотрела то на нее, то на нас.

— Я беру его! — решительно заявила девочка.

— Нет, отдай немедленно! Пошли!

Ответом был громкий горестный плач. Шерсть прижатого к щеке маленькой хозяйки щенка стала влажной. Он проснулся, засопел.

Внезапно мать сжалась.

— А он какой породы-то?

— Дворянской, — не растерялась Вероника, — но будьте уверены, он вырастет добрым, веселым и верным. Если...

— Если что?

— Если его будут любить.

— Я уже люблю его! — воскликнула девочка. — Ну, давай возьмем, мам...

— Сколько с нас? — мать явно решила игнорировать нашу размокшую от влаги табличку с намерением бескорыстной отдачи щенков.

— Бесплатно.

— А ты обещаешь, что будешь ухаживать за ним? Гулять. Обещаешь? — строго вопрошала мать.

— Обещаю! — звонко подтвердила девочка.

В течение следующего часа, к нашему удивлению, разобрали всех. Одного взяла молодая пара, еще двоих дети, мальчишки, так же ловко уговорившие родителей, как и наша первая маленькая покупательница.

Последнего взяла женщина лет пятидесяти пяти, тусклая, в коричневом вязаном берете, из-под которого свисала на лоб жидкая седая челка, и в темно-коричневом пальто унылого советского покроя, преждевременно старившем ее.

— Мне нужен рядом кто-то живой, чтобы не сойти с ума. У меня никого

не осталось. Дочь, муж и двое детей погибли в аварии, — бесцветным голосом сообщила она. Так читают бесстрастные дикторы телевидения сводки болевых новостей. — Полтора года назад. В один день. Сразу все насмерть. И теперь вот. Я одна. Я не хотела жить, но... Струсилась руки на себя наложить. Страшно. Не греха я испугалась, ведь если бы Бог был, он не допустил бы того, что произошло. Внучки-то совсем маленькие были — старшей четыре года, младшей два с половиной... Не видели же еще ничего. Не думайте, я не сумасшедшая, — устало улыбнулась она. — Просто трудно вынести это. Да, я хотела убить себя. Но не смогла. Значит — надо терпеть.

Взяла щенка, раскрыла полы своего старушечьего пальто, приютила у выстуженного сердца.

— А чем кормить-то его?

Мы рассказали.

Прощаясь, сунула нам пятьдесят рублей — берите, берите, так положено — и побрела к унылым в серо-снежном тумане домам, глядя куда-то вниз.

Тут как тут появившийся полицейский весело подмигнул Веронике, взмахнув телефоном, дескать, все остается в силе насчет вечера?

Она кивнула.

— Свалился на мою голову...

— Но ты же сама его туда свалила, — напомнила я.

— Ладно, разберемся. Ну, что, по домам, что ли? Задубела я тут совсем.

— По домам.

Вероника побежала к метро, а я, с пустой корзиной, пахнувшей снегом и щенками, побрела к машине. Было холодно и грустно. И не шел из головы печальный рассказ последней покупательницы.

14

На Пасху, двадцать четвертого мая, команда волонтеров во главе с Вероникой собрала целую семью разнокалиберных пышных куличей с крупными буквами ХВ на выпуклой глазированной макушке. На нескольких машинах двинулись к своим подопечным.

— Наша задача сегодня, — объясняла куратор, — выстроив нас кружком на бодро зеленеющей лужайке перед входом в детский дом, — рассказать ребятам об этом главном для христиан празднике, пообщаться, попить чаю с куличами.

А также сегодня у нас запланировано катание на роликах, недавно приезжали спонсоры и подарили несколько десятков пар.

— Ника, сказала бы раньше, я бы взял свои, — расстроился Паша.

Высокий, с открытым улыбчивым лицом, как у передовиков производства в советских фильмах, еще неженатый, сам бывший детдомовец, он мечтал усыновить троих. Как-то зашел об этом разговор в машине, по пути в детский дом.

— Ты сначала своих роди, — смеялась Вероника, — а потом думай об усыновлении.

— Первого возьму Антона, вторую — Аришу, а третьего... Третьего пока не знаю.

— А квартира-то у тебя есть? — поинтересовалась Вероника.

— Однушка.

— А зарплата какая?

— Тридцать две тысячи, — доложил Паша. — А что?

— А то, что троих усыновить тебе государство не позволит. Максимум — одного, да и то набегаясь по инстанциям...

— Но почему? Неужели в детском доме им будет лучше, чем у меня?

— Не лучше, конечно. Но все равно — усыновить троих тебе не дадут. Да и не прокормишь ты их на свою зарплату.

Вообще у нас парадоксальная страна. Вот уже целый век не могут справиться с проблемой брошенных детей. Их сейчас в детских домах даже больше, чем после войны. А в Европе — на них очередь. Россия — страна лишних детей...

— Да, у нас много чего лишнего, — согласилась я, — лишняя земля, лишние таланты, лишние люди. Бери — не хочу.

— У меня знакомая, — вернула беседу в житейское русло Вероника, — целый год с бумагами бегала, чтобы оформить опеку над десятилетним сыном своей спившейся, умершей от цирроза печени подруги. Взять мальчишку было некому, хотели отправлять в детдом. А она пожалела парнишку. А потом пожалела, что вообще взялась за это тягомотное дело...

— Сегодня пофоткаю ребят на роликах, — невпопад сказала Тина.

— Представляете, — продолжала Вероника, — по статистике только восемьдесят процентов детей успешно адаптируются к жизни после выхода из детского дома. А процентов восемьдесят спиваются, попадают за решетку, гибнут.

— А остальные? — спросила я.

— Остальные — живут ни шатко ни валко. Существуют кое-как... Все время на грани, готовые примкнуть к тем восьмидесяти процентам.

— И с квартирами, я слышала, их государство часто обманывает, — добавила Тина.

Вероника кивнула:

— Это сплошь и рядом. Там все так путано. Если по каким-либо причинам не встал на очередь до двадцати трех лет, то все — остался без квартиры, живи как хочешь и где хочешь. Но даже если вовремя встал на очередь, все равно никаких гарантий нет. В этой сфере целая чиновничья мафия орудует, профессионально все делают, и ничего не докажешь. А детдомовские-то вообще не имеют никакого опыта самостоятельной жизни, откуда им знать, как свои права отстаивать? Не знают, куда идти, где искать справедливости...

— Ну а президент-то на что?! — наивно воскликнул Паша, и все засмеялись.

— Паш, — сказала я, — у президента других дел навалом, не до брошенных и обобранных детей ему. Вторая волна кризиса в стране ожидается, банки надо спасти от разорения. И вообще — когда у нас о людях-то думали! Хотя если бы, скажем, в каком-нибудь серьезном издании опубликовать открытое письмо волонтеров к президенту с обнародованием конкретных фактов... Может, и был бы какой-то толк.

— Можно попробовать, — согласилась Вероника. — В любом случае, не стоит сразу опускать руки. Кстати, президент предлагал детские дома репрофилировать в центры по усыновлению.

Я усмехнулась:

— Полицию вон тоже в полицию переименовали, а что толку? Проблема здесь в другом. Многие из тех людей, которые могли бы усыновить ребенка, живут слишком бедно, второго малыша, даже своего, завести просто не имеют возможности. А богатым это чаще всего просто не нужно. Есть платные услуги

суррогатных матерей. Заплатил — и получил здорового ребенка, с более-менее предсказуемой наследственностью, а детдомовские в этом смысле считаются опасными, мало ли кем были их родители... Не секрет, что они большей частью алкоголики и преступники. Люди же, которые действительно хотят усыновить этих детей, попадают в жуткие бюрократические ловушки. По-другому, к сожалению, у нас никак.

— Полный абсурд, — вздохнул Илья. — Я имею в виду переименования эти. Нужно ведь не просто переименовывать одно учреждение в другое, а менять внутреннюю структуру. Идеологию. Ну, какая идеология, к примеру, у ментов? Оборот — и все. А по идее, должна быть. Идеология защиты граждан. Не унижения и запугивания, а именно защиты. Хватит уже делать из России идиотскую страну, населенную круглыми дураками. Должна же быть хоть какая-то гордость! Русские — сильная и великая нация. И, кстати, людей, готовых взять детей в семью, ничуть не меньше, чем тех, кто их бросил. А структуру детских домов нужно перестраивать так, чтобы оттуда выходили не ущербные и озлобленные, а полноценные люди. Для этого мы туда и ездим. Кроме того, с детьми должен постоянно работать психолог, а перед выходом в самостоятельную жизнь — юрист.

Каждому детскому дому необходимо иметь свой сайт, на котором бы размещались фотографии воспитанников и информация о них для желающих усыновить, а также — пошагово — о том, как по пунктам осуществлять это, то есть куда идти, какие справки собирать и так далее. Хорошо бы примерно раз в месяц устраивать день открытых дверей, чтобы будущие родители имели возможность познакомиться и пообщаться с ребятами. И, конечно, государство должно всячески помогать усыновителям, а не ставить палки в колеса. Вот, к примеру, наш Павел. Нечего смеяться над его желанием усыновить троих, надо взять и помочь ему в этом, дать вместо «однушки» хотя бы «двушку», выплачивать ежемесячное пособие на каждого ребенка. Насколько я в курсе, оно составляет в районе шести-семи тысяч в месяц, и это гораздо меньше, чем выделяется на содержание воспитанника в детском доме...

И вообще, мне кажется, русская национальная идея, о которой столько говорят, это идея милосердия, сострадания к своему собственному народу, ежедневная забота о нем. А наша особенность как нации вовсе не патологическая склонность к воровству и придурковатая неотесанность, а доброта и отзывчивость. Способность к благородному поступку, к бескорыстному жесту. Готовность к подвигу. Это у нас в крови, это неотъемлемо. И что бы сейчас ни творилось с Россией, какая бы глобализация и нашествие миграционной нечисти ни накрыли ее с головой, она выстоит. Выстоит благодаря мощной духовной силе русского народа, а не благодаря виртуозной политике, полезным ископаемым и ядерному арсеналу. Как выстояла в войне с Наполеоном, как выстояла в Великой Отечественной.

— Браво, Илюха! Вот речуху задвинул! — восхитилась Вероника.

— Ника, не иронизируй, — вступилась я, — по-моему, Илья абсолютно прав. — Подписываюсь под каждым словом. А вот что касается нас, волонтеров, что мы можем сделать для этих детей? В глобальном смысле?

— Трудный вопрос, — вздохнул Илья.

— В глобальном — не знаю, — признался Паша. Но, по-моему, мы ездим сюда не зря.

— Ну что не зря, это точно, — согласилась Вероника. — Мне кажется,

волонтеры — особая порода счастливых людей, которым в какой-то момент стало стыдно своего счастья.

— А я, пока не познакомилась с вами, — призналась Тина, — думала, что в волонтеры идут несчастные одинокие бабы, чтобы заполнить пустоту собственной жизни. Потом поняла — чаще всего как раз наоборот. Опустошенному человеку нечего отдавать, у него просто нет на это душевных сил. Делиться радостью может только человек, наполненный ею. Он отдает, тут же наполняясь вновь.

— Однако, — предостерегла куратор, — не забывайте, что волонтерская деятельность, — большая ответственность. Но возрастание ответственности пугать не должно, это и отличает зрелую личность. Каждый отвечает за всех. Помните, кажется, Достоевский говорил: каждый перед всеми во всем виноват...

Вошли — и дети тут же облепили нас. Зазвенели цветные, как радуга, голоса, поплыли навстречу друг другу улыбки. Кубарем скатилась с лестницы Кира, крича: «Ты! Приехала! Ура!» Растолкала всех, ткнулась лбом мне в грудь. Я обняла, взъерошила густое каре, вдохнула ее, Кирина, запах, — еловых шишек после дождя. Она говорила отрывисто, на грани слез:

— Почему? В прошлый раз. Не приехала?

— Прости. У меня заболела дочка...

— Дочка? — нахмурилась. — Какая еще дочка?

— Моя. Я же тебе говорила. Катя.

Кира скривилась.

— Подумаешь! Катька-матька!

— А ты — Кирка-настырка!

Девочка тут же расхохоталась, схватила мою руку, принялась бисерно-быстро целовать ее.

— Да прекрати же ты наконец! — с трудом вырвала руку. — Расскажи лучше, как у тебя дела?

— Не-а. Не расскажу.

— Почему не расскажешь?

— Пошли опять делать сальто!

— Кир, ну какое сальто? Мы приехали рассказать вам сегодня про Пасху, попить чай с куличами.

— Фу, гадость...

— Что — гадость?

— Куличи эти ваши! И Пасха тоже.

— Не надо так говорить. Ты же ничего об этом не знаешь. Это праздник Воскресения Христова. Ты знаешь, кто такой Христос?

— Ну, так...

— Христос — это сын Божий, который принял смерть за всех нас на кресте. За всех людей.

— Зачем?

— Что — зачем?

— Зачем принял смерть на кресте?

— Ну, как тебе объяснить... Чтобы люди обрели бессмертие, жили вечно.

— А зачем жить вечно? Я не хочу. Что хорошего в бессмертии?

— Ну, жить вечно надо для того, чтобы совершенствоваться, становиться лучше и лучше.

— А зачем становиться лучше? Я и так хорошая.

— Конечно, ты хорошая. Это трудно объяснить. Наверное, тебе просто еще рановато...

— Я уже взрослая! А я там увижу свою маму?

— Где?

— В бессмертии?

— Наверное, да.

— Ты врешь, — обиженно заключила Кира. — Не увижу. Я ее никогда уже не увижу. Теперь ты моя мама. Пойдем, покажу тебе сальто. Я научилась!

— Кир, угомонись. Спортзал сейчас закрыт, и мы идем в столовую пить чай с куличами.

Волонтеры с весело гомонящими ребятами потянулись вверх по лестнице, в столовую.

— А я не пойду, — нахмурилась Кира.

— Тогда я пойду одна.

— Ну и вали!

— Кира, как ты со мной разговариваешь?

— А потому что... потому что, — слова ее мгновенно набухли обиженной влагой, — потому что ты меня не любишь!

— Я тебя люблю.

— Не любишь!

— Ты сегодня невыносима, — рассердилась я.

Решительно пошла к лестнице.

— Немедленно остановись! — закричала Кира.

— Ты издеваешься, да?

— Хорошо, так и быть, я съем твой дурацкий кулич.

— Он не дурацкий. Перестань так говорить. Не хочешь — не ешь!

— Ладно, прости, — Кира снова схватила мою руку и принялась целовать.

— Девочка моя, ну, перестань, все, хватит... Пошли.

Кира успокоилась, покорно потащилась за мной следом в столовую, держась, как за хвостик, за кончик моей туники.

В просторной столовой дети и волонтеры пили чай. Вероника старательно рассказывала о православной традиции празднования Пасхи. Дети почти не слушали, уплетая куличи, запихивая их в рот огромными крошащимися кусками. Губы блестели от липкой глазури.

Каждый сел возле своего любимого волонтера: мальчишки тянулись к Паше и Илье, девчонки, кто помладше — к Тине, а кто постарше — к Веронике. Ко мне Кира никого не подпускала. Девушки лет пятнадцати-шестнадцати держались отстраненно, всем своим видом показывая: они уже большие и умные, им не нужны эти простодушно-щенячьи ласки.

Но нужны, ох, как нужны. Вероника рассказывала, что увидела как-то пятнадцатилетнюю Аню, плачущую в своей комнате. Стала утешать. Оказалось, у девчонки случилась в школе безответная любовь. С тех пор они стали почти подругами. Аня делилась с Вероникой своими секретами, та помогала советами. У старших девонок пространство недоверия к взрослым с годами уплотнилось и заледенело; чтобы растопить его, требовалось много терпения и тепла, не каждый волонтер готов был к такому труду. Проще было принимать бесхитростные легкодоступные ласки младшеньких.

После чаепития катались на роликах, падали, образовывая кучу-малу, хохотали, дурачились. Присоединились редко участвующие в волонтерских программах мальчишки. Высоко в соснах замирал звонкий роликовый смех. Скоропортящееся, как натуральное молоко, счастье казалось долговечным. Никто не боялся его разрушить. Потому что никто не мог ощутить его до конца.

15

Через два дня дом будут сносить. Так сказал Хамид.

— Да пошел ты! — немногословно и четко сформулировал свое отношение к происходящему Тимофей.

Втолкнул Зойку в квартиру, приказал:

— Собирайся! Живо!

— Да куда ж мы пойдем-то, Тимош?

— Есть у меня одно местечко на примете, деревенька заброшенная...

— Деревенька? А как же мы там зимой-то будем?

— Ниче, как-нибудь. Дров натаascaю, и ниче. Не привыкать.

Зойка принялась собирать скудную утварь: пару покореженных алюминиевых кастрюль, электрический чайник, найденный ею на помойке, еще вполне приличный, только подтекает чуть-чуть, две вилки с волнистыми зубцами, нож. Задубевший от долгой носки свитер сожителя, свою единственную юбку. Ну, вот практически и все.

Куда они теперь?..

Сели на кухне, закурили, привычно не брезгуя подобранными вчера на улице бычками.

— Тронемся завтра, — мрачно решил Тимофей.

Допили открытую с утра бутылку, заснули, обнявшись.

День Победы Тимофей и Зойка праздновали в деревеньке Рыково Тульской области. Добирались «зайцами», кое-как, а от станции — еще шесть километров топали пешком.

В лесу синели ноздреватые снежные лепешки, но солнце уже припекало крепко, будто заливало их горячим сладким сиропом — за неделю стают и они. Запах выпроставшейся из-под снега земли, прелой листвы и молодой травы был такой густой, что у Зойки кружилась голова, и, может быть, впервые за долгие годы она почувствовала бескомпромиссную звериную жажду жизни, жизни вообще, любой — хорошей, плохой, счастливой, несчастной. Так, наверное, чувствуют трава, жук, земляной червь.

Весело работалось и Тимофею: рубил во дворе дровишки, чинил повалившийся забор, ремонтировал прохудившуюся крышу. Избушка их, похожая на трухлявый, изъеденный червями гриб, была мало пригодна для жизни, но после вокзальных скитаний и нелегальной отсидки в хрущевке под снос их это не пугало. Благо, стояла кирпичная, добротная, на удивление хорошо сохранившаяся печь. Имелась железная кровать, с отсыревшим, играющим пружинами-желваками матрасом, стул и стол, грубо сколоченные, хромоногие, занозистые, но все еще сохраняющие достоинство вещей, сработанных руками. Нашлось и еще кое-что нужное в хозяйстве: тяжелая чугунная сковорода, маленький алюминиевый ковшик с бугристым прокопченным дном и здоровенные ржавые ножницы, которыми в пору было стричь ногти у великанов. На окне висела

дырявая, фиолетово-выгоревшая скатерть с бахромой. Бахрома Зойке понравилась, залатать бы дырки, а так ничего, жить можно. Как всякая женщина, она пыталась обуютить неприглядную хибару — тщательно отдраила ее, отмыла окна, порадовалась — хоть стекла не побиты, целы, даже ни одной трещинки.

В деревне обитаемыми были еще три дома. В одном жили две старухи-сестры баба-яжьего вида: сухие, крючконосые, с трясущимися венистыми руками и злыми глазами. Когда Зойка и Тимофей здоровались с ними, они молча поджимали губы и глядели настороженно: чего ентим чужакам тута понадобилось? Во втором — вечно подвыпивший дед Евсей, низкорослый и хитро-добродушный, любопытный до крайности, страстно, по-бабьи любящий причитать о своей пропащей судьбе. Евсей сразу осознал, что в лице Зойки и Тимофея у него появились достойные собутыльники, и жить теперь станет интереснее.

А в третьем доме, к изумлению аборигенов, поселилась несколько лет назад молодая семья откуда-то из Сибири, фермеры: муж и жена с двумя детьми. Обзавелись сельскохозяйственной техникой, нанимали сезонных рабочих, исключительно русских, засаживали поля картошкой, ухаживали за огромными теплицами с огурцами, помидорами и крупной сортовой клубникой. Заброшенная земля наконец обрела хозяина и отдавала щедро, с процентами, будто давно просроченные долги. Соскучилась по кропотливой и сладкой работе рождения. Нянчила семена, как младенцев, и они всходили дружно, готовясь к обильному плодоношению; картофельные клубни удесятерила — с одного мощного куста можно было выкопать по полведра крупной, крепкой, с тонкой розоватой кожицей картошки.

К ним-то и нанялись Тимофей с Зойкой. Не сезонно, а насовсем. Летом им хватит работы на поле и в теплицах, зимой — заготовка дров и мелкие хозяйственные работы, а для Зойки — еще и помощь по хозяйству хрупкой и тихой Марине, похожей на спящую царевну, которую никак не расколдуют.

Хозяева пропарили своих новых работников в бане, выдали чистую и теплую одежду и строго-настрого наказали не пить на работе — уволят. Зойка с Тимофеем дружно пообещали. Выпивали строго по выходным, чаще всего с Евсеем, судачили о хозяевах, оказалось, по Евсеевым словам, их окружают сплошные тайны: они из староверов, двумя пальцами крестятся, детей воспитывают по какой-то жуткой методике, уже сейчас, в мае, обливают их по утрам холодной водой, в школу не водят, Марина их учит сама. Она у него аж четвертая жена, а что случилось с предыдущими тремя — неизвестно, детей от прежних браков тоже никто здесь не видел, и есть ли они вообще — кто ж его знает. Олег — мужик вроде положительный, не пьет, с работниками вежлив, молится в небольшой часовенке прямо во дворе. В общем, глубокомысленно заключил Евсей, фермер наш — то ли преступник, то ли святой — не разберешь. Больно уж странный. А Марину местные старухи вообще терпеть не могут, ведьмой ее считают.

— Сами они ведьмы! — возмутилась Зойка.

— Во-во! — поддакнул Тимофей. — Как встретишься с ними — прямо мороз по коже.

Словоохотливый Евсей подробно рассказал новым жильцам всю историю деревеньки и ее жителей с послевоенного времени: как жили, как голодали, строились, трудились на земле, держали скот, в колхозах маялись, заводили детей, как эти дети родили еще детей, а потом — в неприкаянные девяностые — молодежь подалась на заработки в Москву и возвращаться обратно никто не

захотел. Старухи поумирали, мужики спились. И теперь — что ж — разруха и запустение, сами видите.

Тимофей с Зойкой слушали, кивали, почему-то было им уютно и хорошо от грустных историй соседа, — они наконец обрели дом.

Зойка быстро наладила нехитрый быт, почувствовала себя хозяйкой. Поначалу питались в основном овощами и консервами, не голодали — первое время, пока не обжились, помогали Олег с женой. Выдали им мешок картошки, лук, несколько кочанов капусты, чай, сахар, хлеб, даже сигареты. Вечером у жарко натопленной печи Зойка стирала, тем временем доходила картошка. Раскрасневшаяся и усталая, она звала:

— Тимош, есть иди.

— А че есть-то?

— Картошка, капустка, — приглашала ласково.

Тимофей делал равнодушное лицо, будто ему все это совершенно все равно, но ел с удовольствием, с интересом поглядывая на подругу: помолодела, округлилась, еще очень даже ничего.

Грубовато щипал ее за зад, Зойка довольно фыркала. Кивал головой на кровать: пойдём, что ли? Подруга, ничего не говоря, улыбалась и выключала свет.

Сквозь дырявую скатерть в окно просачивался пахнувший полями лунный свет.

...Встают ранним зябким утром, наскоро завтракают, одеваются, и — в поле. Тимофей везет телегу с картошкой и мешок с удобрением, Зойка несет лопату и бутылку воды.

Тимофей делает неглубокую ямку, Зойка кидает туда небольшой сморщенный клубень с выпуклыми сиреневыми глазками, потом Тимофей выкапывает следующую ямку, засыпая землей предыдущую. И так идут они ровным рядком метров двадцать. Потом отходят к лесу, в тень, перекуривают, молчат. Ни о чем говорить не хочется. Сидят, глядят на поле, огромное поле, которое им предстоит за несколько дней все засадить картохой. А за спиной — звуки леса: разноголосое птичье пение, шорохи, шелестения. Пролетают сразу три бабочки-капустницы. Кружатся, легкие, будто гоняются друг за другом. Тимофей встает, сплевывает в траву — все, пора за работу. Зойка идет за ним. А так бы хотелось сидеть и сидеть, и смотреть на бабочек, казалось, это не надоело бы ей за целую жизнь.

— Наверное, комарья тут будет летом, — вздыхает Тимофей.

— Ага, пропасть, — весело соглашается Зойка. Будущие комары совсем не расстраивают ее.

К обеду оба устают. У Зойки ощущение, что не картошку она кидает в землю, а тяжелые гири, — ломит спину, хочется есть, хочется развалиться прямо на траве под майским дремотным солнцем. Тимофей втыкает в землю лопату, вытирает пот со лба, от вздувшихся вен пот кажется голубым, потом надолго припадает к бутылке с водой — пьет долго и жадно, и никак не может остановиться.

— Мне оставь маленько, — просит Зойка.

Наконец Тимофей отрывается, протягивает бутылку.

— Обедать-то пойдём, что ли?

И они идут. Уже не так бодро как утром. До их избенки минут пятнадцать ходу. Сейчас пожуют чего-нибудь и снова вернутся на поле, и будут работать часов до семи, пока из лесу не потянет звонкой вечерней прохладой, пока не начнет небо, будто уплотняясь, превращаться из светло-голубого в серо-синее,

потяжелевшее, вспухая редкими, еле видимыми звездами; а земля станет чернее и словно глубже. Там, в глубине, зреет новая сорняковая жизнь. Неприхотливая и простая, как жизнь Зойки и Тимофея.

По дороге домой он рвет липкие цыплячьи одуванчики. Руки — будто в присохшем потемневшем клее, пахнут остро и горько.

Оборачивается к идущей следом женщине.

— На вот. Тебе.

Зойка изумленно отшатывается.

— Мне? — В глазах вспыхивают глупые девчоночьи слезы. — Что это ты, Тимош?

Тимофей смущается, лезет за сигаретами, долго чиркает спичками, прикуривает не той стороной, кашляет, чертыхается.

Зойка бережно прижимает к себе одуванчики, идет домой гордая — это первые цветы, которые он подарил ей. Резко сдергивает резинку, распускает густые, длинные, до лопаток, волосы. Зажмуривается от счастливого ветра в лицо — она ведь тоже женщина, женщина, женщина.

16

2004 год

Пошел девятый месяц. Наташка носила свой живот бережно и вдумчиво, будто совершала кропотливую работу. Раздражение первых месяцев беременности от навязанного ей материнства сменилось спокойным ожиданием. Она решительно бросила курить; с Вовкой, вновь приехавшим на заработки, по выходным гоняла на кухне дружеские чаи. Сидела у него на коленях, позволяя осторожно целовать набухшую, готовящуюся к молочному изобилию грудь, оглаживать тугой живот — и ничего больше.

Алла, как и прежде, заходила проведать два-три раза в неделю, сама ходила по магазинам и приносила еду, не позволяя сурмаме поднимать тяжелые сумки.

А Кефирка, раннее Алкино дитя, о котором мать предпочла забыть, когда-то оставив в роддоме, приезда матери не ждала и вообще не знала, что это такое — иметь мать. Лежала после аборта тихая, часами глядела в стену и бог знает о чем думала. Не подпускала к себе никого: ни медсестру, ни воспитательницу, ни волонтеров. В нее будто был встроен датчик, реагирующий на приближение человека: стоило только прикоснуться к ней, как девочка начинала реветь, из носа текли жидкие цвета спитого чая сопли.

А мать ее ждала нового ребенка, которого вынашивала для нее другая женщина.

Наташке вновь стали приходить дерзкие мысли о побеге от своего «работодателя». Только теперь не для того, чтобы сделать аборт, а чтобы оставить себе то, что в ней медленно и уверенно вызревало девять месяцев. Это новое чувство и пугало, и радовало.

Стать матерью и тут же потерять ребенка. Мысль эта тревожила, изводила. Зачем она вообще ввязалась в это? УЗИ показало — будет мальчик, сын. Только чей? Ее или Аллы? И чертovy деньги... Выходит, она, Наташка, продала своего неродившегося ребенка? Будущая мать засыпала в долгих темных слезах,

просыпалась опустошенная, отупевшая, с головной болью. Впадала в муторную и беспросветную, как дождливые осенние дни, депрессию.

Алла, видя ее состояние, забеспокоилась, стала активно таскать сурмаму по врачам, — ведь всего три недели оставалось до родов.

«Лучше пусть ребенок родится мертвым, — думала Наташка, — чем отдать живого другой женщине». Но тут же стыдилась своих мыслей, просила у Бога прощения — впервые в своей жизни.

А срок приближался.

Мир неприметно готовился к рождению нового человека.

17

...Сидим с мужем, ужинаем. Жареная печенка с вареной картошкой, соленые огурцы. На кухню приходит дочка, в пижаме — встала из кровати. Требуется:

— Дайте мне огурец!

— Может, не надо ночью-то, — пытаюсь образумить.

— Надо. Ночью.

Дали.

Хрумкает, улыбается:

— А чего вы такие скучнюхи сидите?

— Скучнюхи? — заинтересовался Андрей, — забавное словечко.

— А ты что, не знаешь? Одна воспитательница у нее в саду добриха, другая — злобиха.

— Прямо как добрый и злой следователь...

— А кто такой следователь? Дайте еще огурец! — дочь бесцеремонно усаживается к отцу на колени.

— Следователь, — Андрей обнимает ее одной рукой. — Ну, это человек, который ищет следы.

— Чьи? Зайца или медведя?

— Чаще всего людей.

— Зачем ищет?

— Чтобы поймать.

— Кого поймать? Хулиганов?

— Угу.

— А их много?

— Кого? Следователей?

— Хулиганов.

— К сожалению, да.

— А-а, понятно, — кивает Катя и тянет меня за руку. — А надо, чтобы следователей было больше, чем хулиганов, да? Ладно, пошли. Сказку хочу.

— Кать, сказка уже была.

— Еще хочу.

— Нет уж, хватит с меня сказок!

— Ну, ма-а-амочка, ну, хоро-о-ошенькая, ну, пожалуйста...

Я не могу ей отказать.

— Ладно, пойдем.

Сказочный сериал, придуманный мной для дочери, растянулся уже на два месяца. Некая змейка Гу-гу и три ее дочери, старшая, средняя и младшая, жили

в Египте, в кустах возле отеля, где отдыхали мама, папа и Катя. Катя подружилась со змейками, и каждое утро, пока мама с папой спали, придумывала вместе с ними всевозможные игры и шалости. А когда пришло время уезжать, Катя положила змеек в чемодан и взяла с собой в Москву. О том, как удалось провезти их через таможенную, история умалчивает. Летом отправила их на дачу. Там, под дубом, постелила им старое одеяло, чтобы не мерзли ночью. Каждое утро маленькая хозяйка носила своим питомцам молоко в блюдечке и сыр. Разумеется, все лето змейки напропалую хулиганили.

— А младшая была самая хулиганистая! — восторженно говорила Катя.

Она активно участвовала в сочинении сказок. Подсказывала, спорила, поправляла меня, иногда придумывала целые эпизоды, неожиданные сюжетные повороты.

— Неужели змейка была еще хулиганистей, чем Катя? — удивлялась я.

— Конечно, — подтверждала дочь. — Ну, о-очень хулиганистая. Хулиганистей всех на свете!

После дачного сезона, затянувшегося до октября, змейки вернулись в Москву, а оттуда полетели к себе на родину, в Египет, и там, невзирая на революционные волнения, продолжали шалить.

Дочь была в восторге. Требовала все новых и новых историй. И строго следила, чтобы приключения незадачливых змеек не повторялись.

Но вот сказка рассказана, и начинается поцелуйный ритуал. Катя подробно целует все мое лицо по заведенному ею порядку: подбородок, щеки, нос, глаза, лоб, и наконец — губы. Потом точно так же целую ее я.

— Ну, все, — выключаю ночник, — спи.

— Я люблю тебя, — говорит дочь. Лежит и улыбается в темноте.

— Я тебя тоже люблю. Очень.

— Я тебя тоже — очень. Так люблю, что даже обожаю...

18

Созвонилась с куратором торжокского детского дома Владимиром. Договорились так: я беру в восемь утра студенток из Академии физкультуры, и все вместе мы отправляемся в Торжок, по Ленинградке. Там встречаемся возле стелы с названием города. Я еду просто как водитель, хотя могу, конечно, провести занятие по русскому и литературе для желающих. Там посмотрим, сказал Владимир.

— Ты опять едешь к безмамным детям? — подозрительно спросила дочь.

— Опять.

— А ты что, найдешь им маму?

— К сожалению, нет.

— Тогда папу?

— Папу найти еще труднее, чем маму.

— Почему? — удивилась Катя.

— Потому что пап на свете меньше, чем мам...

— Так не бывает! Пап — столько же, сколько мам!

— Знаешь, папа — это как павлин с красивым хвостом — птица диковинная и редкая.

— Не-е-ет, — отвергла сравнение дочка, — никакой не павлин. Папа — это большая сильная лошадь, которая может покатать.

— Может покатать, — согласилась я, — а может и сбросить.

— А я буду очень крепко держаться! — пообещала Катя.

Подставила губы для поцелуя. Но тут же нахмурилась:

— Только других деток там не целуй, ладно?

— Почему?

— Потому что целовать можно только меня.

— А папу?

— Ну, папу иногда... А меня — всегда!

На остановке возле Академии физкультуры мерзла на утреннем майском холодке стайка девчушек лет семнадцати-восемнадцати. Я притормозила возле них, они, дрожащие, тут же запрыгнули в теплое нутро машины. Немедленно зашуршали пакетами, доставая конфеты, печенье, йогурты, словно только и ждали меня для того, чтобы согреться перекусить. Они делали все сразу: ели, гомонили, смеялись, смотрели в окно, тыкали кнопки на мобильных.

По дороге разговорились. Оказалось, что все они учатся по специальности «режиссер массовых зрелищ», и одна из них, выпускница, едет в детский дом с концертом — это и есть ее будущий диплом.

— А что за концерт-то? — спросила я.

— Увидите! — пообещали они.

Ехали часа четыре с половиной. Майские пейзажи после резких мартовско-апрельских казались мягче, пастельней; март нужно писать маслом, май — акварелью или пастелью. Пару раз останавливались — девчонки бегали в лесок, каблук их вязли во влажной, только что оттаявшей от снега земле. Их веселило даже это. Одна из них вляпалась в свежую кучу, потом долго обтирала каблук о молоденькую травку. Над ней хихикали всю дорогу, зажимая носы и всячески показывая свое отношение к досадному происшествию. Особенно забавным казалось то, что виновницей торжества оказалась бойкая девушка по имени Ева, которая никак не хотела признать то, что от нее может исходить неприятный, отнюдь не библейский запах.

Возле стелы «ТОРЖОК» уже стояли две машины: серебристый «фольксваген» и бордовый «рено». Они дожидались нас, помигали, приглашая следовать за ними, и тут же тронулись, показывая дорогу. Ехать оказалось недолго, минут через семь притормозили возле маленького продуктового магазинчика. Рядом были какие-то ларьки, чуть дальше — обшарпанные пятиэтажки. Между домами виднелось поле, на нем силуэты крестов — кладбище. По улочке шли жители Торжка: молодая женщина с коляской, пара средних лет, мужик забулдыжного вида. Сразу ощущалось: здесь никто никуда не спешит, торопиться не нужно. Насколько же провинциальный ритм жизни обаятельней нашего мегаполисного и суматошного. Особенно остро это чувствуешь, когда живешь попеременно то в крупном городе, то в тихом городишке. Может, поэтому провинциалы и считают москвичей не душевными: для проявления душевности нужен определенный эмоциональный настрой, а он создается вдумчиво и неспешно. У москвичей просто ни на что не хватает времени. Они глотают гамбургеры, глотают в метрополитеновские промежутки быстрорастворимые, как суповые пакетики, книги, а вечером — фальшивые сериалы. И все это малосъедобно, практически не переваривается, отдается отрыжкой: нервозностью, суетливостью, безразличием к ближнему.

Мы стоим с куратором Владимиром возле магазина и ежимся от резкого холодного ветра — после теплой машины это особенно ощутимо.

Владимир худ, сутул, широкобров, с темными внимательными глазами. Переминается с ноги на ногу.

— Давно сюда ездите? — спрашиваю его.

— Второй год уже. А вы в первый раз?

— Сюда — да. Я езжу в Быковский.

— А я побывал в нескольких, и в Быковском, кстати, тоже, но в этот — приехал однажды — и все. Сразу понял — мое. У меня у самого четверо, — улыбается.

— Ничего себе! Как же вы еще сюда-то успеваете?

— Да вот так. Привык. Уже не могу без этого. Тянет... Жену тоже привлек. Она сначала ни в какую, говорит, ты что, с ума сошел, а потом съездила разок, понравилось...

Расселись по машинам, поехали. Сразу за магазином поворот — и вид на детский дом — белое трехэтажное здание, за ним поле, вдалеке еще голый серый лес. Тихо и грустно. И все время это щемящее чувство: страшно войти внутрь — там сразу со всех сторон нагрянет горе, горячее чужое горе, негромкое, растянутое на годы и растворенное в детских рисунках, висящих на стенах, в общих, не имеющих хозяина игрушках, в любопытных глазах детей, обступивших нас.

Надо как-то противостоять ему. Собраться с силами. Не показать детям, что тебе их жалко.

У них хватает мужества и мудрости быть добрыми к нам: не прогнать, не обидеть, чем-нибудь одарить.

Я не привезла с собой даже конфет — Владимир сказал, что чаепитие планируется в следующий раз. Одна девчушка, лет восьми, подбежала ко мне и протянула листок желтой бумаги с вышитым на нем красными нитками цветком.

— Это тебе!

— Спасибо.

Внимательно рассмотрела. Внизу ручкой, аккуратным почерком было написано: Оля Галкина. Кружок рукоделия «Узелок».

Я стояла посреди коридора и держала в руках, быть может, самый дорогой подарок в своей жизни.

Пока студентки репетировали свой концерт, волонтеры распределились по мастер-классам. Я пошла к детсадовским детям. Со мной — еще два волонтера, молодые женщины. В довольно большой комнате дети трех-пяти лет сидели за крошечными партами на крохотных стульчиках и во все глаза глядели на нас. Сначала одна из волонтерш показывала, как делать бумажные цветы, а я фотографировала лица детей. Одна из девочек неотрывно смотрела на меня, ее не интересовали бумажные цветы, не интересовали и фотографии, которые я показывала ей.

Ребенок глазел на меня зачарованно, с первозданным младенческим любопытством.

— Ты моя мама? — наконец тихо спросила она.

Удар. Дыхание пресеклось.

— А у тебя разве нет мамы?

— Есть. Но она приезжает редко.

— А как тебя зовут?

— Алиса.

— А меня Полина.

— Ты — моя мама Полина, — внезапно решила девочка и взяла меня за руку.

Тут ко мне подошла воспитательница.

— Детей фотографировать нельзя, — сказала строго. — Всех вместе можно, а по отдельности — нет.

— Почему?

— Нельзя, — еще жестче повторила она.

— Мама, пойдем! — потянула меня Алиса.

— Куда?

— Играть, — и кивнула на игрушки, стоящие на полках вдоль стены.

Дверь в соседнюю комнату была приоткрыта, там виднелись аккуратно застеленные кровати.

— А там вы спите, да?

Алиса кивнула.

— Алиса, — гаркнула воспитательница, — ты куда это собралась? Ну-ка быстро сядь на место!

Девочка нехотя послушалась.

Вторая волонтерша принялась надувать разноцветные воздушные колбаски, которые ловко превращала в различные игрушки: собаку, зайца, лебедя. У детей это вызвало восторг: они повскакивали со своих мест и кричали: а мне лошадку! а я хочу мишку! а я саблю!

Девушка надувала фигурку за фигуркой специальным насосом и раздавала игрушки всем, кто тянул к ней руки. Алиса тоже подбежала и потребовала цветок, который и был тут же изготовлен для нее.

Я продолжала фотографировать: Алиса с цветком, Алиса смеется, Алиса задумалась, Алиса смотрит на меня. Щелкала и других: вот один мальчик заплакал, потому что всем мальчишкам сделали сабли, а ему нет, вот другой — бесстрашно размахивает ею, разинув в крике рот, вот девочки сбились в кучку и хвастаются друг перед другом своими новыми игрушками. Тайком сфотографировала и воспитательницу: низенькая, полная, в голубом халате, с мальчишковой ершистой стрижкой, в шерстяных носках на толстых икрах. Недовольно наблюдает за тем, как у детей одна за другой лопаются надувные игрушки, незлобно поругивает, покрикивает.

— Все, теперь идем обедать! Всем быстро мыть руки! — командует она.

Дети не реагируют.

— Я кому сказала! — вскрикивает грозно.

Это действует.

Алиса подбегает ко мне.

— Ты не уйдешь?

— Нет, — обещаю ей, — не уйду. Иди поешь.

Воспитательница разрешила мне побыть в группе. Я сижу одна в тихой опустевшей комнате, где по полу разбросаны игрушки, а на стенах висят детские рисунки, где остро, как свежесваренным вареньем, пахнет детством. Подхожу к окну: бескрайнее поле, кладбище: видно, как некоторые кресты покосились, как треплет ветер блеклые прошлогодние венки, как перелетают с места на место безмятежные вороны. Вдалеке, на горизонте возле леса какая-то маленькая деревенька — не приведи Господи тут жить.

Скоро вернется Алиса. Я зачем-то стою и жду ее, хотя надо скорее уходить.

Убежать, скрыться. Но я стою и стою. И смотрю в окно. На поле, на кладбище, на лес. Чувствую, как целая шеренга добрых плюшевых зверей дышит мне в спину.

Но вот слышен на лестнице стремительный топот детских ног.

Первой врывается Алиса.

— Ты здесь?! — кидается обнимать.

— Поела? Вкусно?

Девочка кивает, не сводя с меня глаз. К верхней губе ее прилип кусочек капустного листа, вокруг рта широкий желтоватый жирный круг. И запах — скудной столовской еды. Достаю из сумки салфетку, вытираю ей рот. Она стоит, не шелохнувшись, — ей приятно и это. Не зная, куда выкинуть, комкаю и пихаю обратно в сумку — увезу этот запах с собой домой. Сажусь на стул, Алиса кладет голову мне на колени и гладит их как котенка. Я ерошу ее волосы и смотрю в окно — долгий сумеречный день, не поймешь — утро или вечер, а впереди еще пять часов езды до дома. Чувствую, как устала, как начинает болеть голова, все сильнее и сильнее, будто боль — это звук, который кто-то назло делает все громче.

— Мама, — тихо и внятно произносит Алиса и целует мои колени. Слово больно вспыхивает и внезапно гаснет, как перегоревшая лампочка.

Все, надо уходить.

— Так, дети, пора спать! — требует воспитательница. Лицо ее лоснится от пота, под мышками темные круги с белесыми разводами.

— Алис, тебе пора спать, — пытаюсь поднять девочку.

Она мотает головой и прижимается еще крепче.

— Мы с тобой прилипли, как две карамельки, — говорю ей.

Это срабатывает. Алиса смеется, вскакивает, повторяя:

— Как две карамельки! Как две карамельки!

— Алиса, я кому сказала! Быстро в туалет и спать! — воспитательница хватает ее за руку и тащит от меня волоком. Девочка тут же заходится плачем.

— Зачем вы так? Не надо. Она сама пойдет, — беру ее за другую руку. — Пойдешь сама?

Алиса, не прерывая рыданий, кивает.

— Ну, все-все, успокойся. Тебе действительно пора спать, — вытираю ей обильно бегущие по щекам слезы.

— А когда я посплю, мы с тобой поиграем?

— Давай лучше в следующий раз. Сейчас мне пора домой.

Я жду нового приступа слез, но она вдруг становится серьезной и тихой и, ни слова не говоря, уходит.

Я не знаю, что сказать ей на прощание.

Концерт, подготовленный студентками Академии физкультуры, оказался совсем не плох. Тема — весна, показанная через танцы разных народов. Все было красочно и на удивление профессионально. К финалу вышли танцоры в костюмах пингвинов с воздушными шариками, изображающими живот и, неловко перетаптываясь, исполнили забавный и симпатичный танец пингвинов. Дети восторженно хлопали, воспитательницы довольно кивали, директор, подтянутая и ухоженная женщина, совсем не похожая на жительницу Торжка, улыбаясь, что-то записывала себе в блокнот — наверное, краткий отчет о проведенном мероприятии.

После концерта дети висли на Владимире и просили кто — покрутить,

кто — подкинуть повыше. Он, потный и счастливый, не отказывал никому. Дети поглощали кратковременную радость, как мороженое в жару, хватали большими сливочными кусками, не боясь ангины и зная: новое приключение может выпасть не скоро, а скука будет долгой и однообразной, как вид из окна: поле, кладбище, лес.

19

Вероника с Олесей ждали Ахмеда в условленном месте.

В последний момент план был изменен. Вероника не просто садится в машину для строгой педагогической беседы, а вместе с Олесей едет в «Подмосковные зори». С диктофоном. Уж очень ей хотелось попробовать себя в роли суперагента, выполняющего рискованное задание. К счастью, об этом она заранее сообщила знакомому полицейскому, который изо всех сил отговаривал ее, объясняя, что дело очень опасное, тем более — не стоит использовать в качестве «живца» несовершеннолетнюю девушку. Но Вероника настояла на своем. Полицейский среагировал адекватно — немедленно, используя свои связи, сообщил в органы, в результате чего в пансионате девчонок уже ждали оперативники.

Вкрадчивый дождик набирал силу, словно предвкушающая скандал женщина. Черный «БМВ», похожий на блестящую, только что вынырнувшую из воды большую рыбу, подъехал вовремя. Опустилось тонированное стекло — кавказская ухмылка и огнедышащие глаза.

Тут же насторожился:

— Это кто? — кивок на Веронику.

— Все нормально. Это моя подруга. Вероника.

— А где сестра? Свэта.

Вероника незаметно — сделала вид, что полезла в сумочку за помадой — включила диктофон.

— Сестра заболела. Температура у нее... Но в следующий раз придет обязательно, — оправдывалась Олеся.

Ахмед оглядел Веронику пристально и брезгливо, поморщился.

— Старая.

— Мне только двадцать пять, — обиделась Вероника и поспешно добавила: — Зато я умею все-все-все.

— Точно? — грозно глянул на обеих. — Если какой-то подстав, найду и зарежу!

Принялся звонить кому-то по мобильнику. Телефон сдавленно пикал — давился кнопками. Наконец трубку взяли. Сутенер энергично и горячо доказывал что-то невидимому голосу, наконец, выругался по-русски и отсоединился.

— Ладно. Залэзай!

Девчонки послушались.

Резко газанул с места, помчал в дождь под надрывную и громкую кавказскую мелодию. На светофоре остановился, обернулся:

— Я нэ люблю глупый шлюх. Я люблю умный шлюх!

Веронику разобрал смех, она сделала вид, что закашлялась.

— Ахмед, да все будет о'кей, — заверила его Олеся. — Мы девочки понятливые.

На «зеленый» резко газанул, еще громче врубил музыку. Казалось, она пахла так же приторно, как болтающийся на зеркале заднего вида освежитель

воздуха — в виде грязного листочка, похожего на захватанную денежную купюру неизвестного государства.

В фойе «Подмосковных зорь» было холодно и сквозисто — недавно отключили отопление, а по ночам чуть больше нуля. Кутающаяся в мохеровый шарф администраторша, за спиной которой маялись от скуки висевшие рядками номерки, взглянула на девиц исподлобья, с затаенной ненавистью — так смотрит школьная директриса на молодых и дерзких восьмиклассниц, плевавших на ее представления о нравственности. Что-то долго заполняла, наконец, выдала Ахмеду два номерка, изобразила подобие улыбки — накрашенные морковной помадой губы чуть растянулись и тут же сжались, как сморщенный, залежавшийся в холодильнике апельсин.

Ахмед кивнул девочкам — мол, следуйте за мной и торопливо потопал на второй этаж. Вероника с Олесей подчинились.

Зашли каждая в свой номер.

— О, девочка моя приехала! — из ванной навстречу Веронике вышел еще крепкий мужик лет шестидесяти пяти, бритый наголо, с сухими и жесткими глазами. Ниже пояса болталось вафельное полотенце, на плечах и волосатой груди застыли, как желе, цепкие капли.

— Ну, проходи, красавица, садись, — пригласил он.

Вероника прошла в комнату.

На круглом столике у окна стояла ваза с виноградом и персиками, бутылка крымского шампанского.

— Я Геракл, — представился клиент. — А ты?

«Сумасшедший, — мелькнуло у Вероники, — надо подыграть».

— Афродита.

— Фродя, значит, — по-свойски переименовал Геракл. — Но можно, наверное, Фрося...

— Можно и Фрося.

Разлил шампанское. Оно розово пузырилось, шипело, как отползающая от берега волна. Пена проворно, словно торопясь, перевалилась через край, устремилась вниз, Вероника провела языком по сладкой стеклянной дорожке.

— Как ты это сексуально сделала! — восхитился клиент. — Афродита и пена — гармония! Как ты считаешь, Фрося?

Кивнула. Закурила. Наверное, зря она все это затеяла. Как теперь выпутываться? И что там, в соседнем номере, происходит с Олесей? Хотя можно себе представить — что. И во всем виновата именно она, Вероника. Глянула в окно — пышные сосны с розовато-охристыми стволами — закат. Дождь кончился, стиснутое тучами слабо тлело майское солнце, безобидное и тихое, как спящий алкаш.

И только тут Вероника услышала: в душе продолжала литься вода — рывками, вздрагивая, тугие струи то и дело прерывались, встречая препятствие на своем пути. Но какое препятствие-то?

— Фрось, ты ешь виноград-то, — пододвинул вазу с фруктами Геракл.

— А кто там в ванной?

— А, это... Да ты не бойся. Это наш молодой друг. Я вас сейчас познакомлю.

Внезапно водяной гул прервался. Через пару минут из ванной в облаке пара вышел точно так же, юбочно замотанный в вафельное полотенце парень лет пятнадцати, белобрысый и худой, с резко выпирающим кадыком и нежными девчачьими глазами, опущенными длинными ресницами.

— Можно мне тоже шампанского? — улыбнулся он.

— Садись, Ваня. Выпей, — пригласил Геракл, налил и ему. — А у нас в гостях Афродита. Фрося.

— А Ваня тоже... ну, тоже участвует? — осторожно поинтересовалась Вероника.

— Ну, конечно, глупышка! Давай-ка быстренько раздевайся и в душ.

— Но Ахмед сказал, что клиент будет только один.

Неожиданно Геракл разозлился.

— Кончай разговоры! Ахмед сказал, Ахмед сказал... Говно твой Ахмед. Обещал мне девочку двенадцати лет, а прислал клячу старую... На колени! — жестко приказал обоим.

Встали.

Ловко зашелкнул на них ошейники, поводки крепко держал в руках.

Приказал:

— А теперь потявкайте! Громче!

В этот живописный момент, к изумлению Вероники, вломились оперативники. Геракл был взят с поличным. Ахмеда тоже взяли, он стоял в фойе, в наручниках, лицом к стене.

Вероника и Олеся старательно отвечали на вопросы полицейских, вокруг них столпились отдыхающие из других номеров, глядящие на происходящее с жарким отпускным любопытством. Все время Вероника чувствовала на себе ненавидящий взгляд мохеровой администраторши, к которой у полиции тоже оказалось много вопросов.

Дело длилось около года. Процесс был громким — о нем писали почти все центральные газеты, мелькали видеосюжеты в новостях.

Ахмед довольно быстро всех сдал. Всего в их сутенерской банде оказалось восемь человек, работали в основном с несовершеннолетними, с детдомовскими, с детьми из неблагополучных семей. Непокорных похищали или убивали — выяснилось, что в течение последнего года пропали пятеро детей — от девяти до шестнадцати лет. Останки двоих были найдены в лесу недалеко от пансионата. Остальных разыскать не удалось.

Олеся со Светкой теперь в безопасности — хвастаются своими телефонами — сами заработали. Все девчонки им завидуют — ведь они стали известными, попали в новостные блоки центральных телеканалов. Олеся — настоящая звезда, вызывающая в сверстниках какой-то гадливый восторг. Она — взрослая женщина, она тако-ое пережила! Все заискивают перед ней и немного побаиваются.

Ахмеду и его подельникам дали от пятнадцати до двадцати лет, однако их босса не нашли, он где-то скрылся. Досталось и Инне Федоровне, директору Быковского детского дома. Ее сняли с должности, судили, дали два года условно.

20

Вот уже несколько месяцев я не навещала своих подопечных — все летние выходные проводила с дочкой на даче.

Кира без конца звонила, требовала приехать.

Жди до осени, говорила я.
И она ждала.

В октябре я приняла решение удочерить Киру.

— Ты что, с ума сошла? — опешил муж. — Мы же вроде своего второго хотели.

— Так вроде или хотели?

— Хотели.

— Ну, так что же?

— То есть я во всем виноват? — обиделся Андрей.

— Я не говорю, что ты виноват. Никто не виноват. И вообще — одно другому не мешает. Пойми, я должна взять эту девочку, я ей обещала.

— А обо мне ты подумала? А о Кате?

— Подумала. Обо всех подумала. Проживем как-нибудь.

— Послушай, Поль, ну, давай честно. Ты же никогда особо не любила возиться с детьми. Что случилось-то?

— Да я и сейчас не очень люблю с ними возиться. Просто я привязалась к Кире. И я не могу обмануть ее.

Муж раздраженно пожал плечами.

— А через год ты привяжешься к кому-нибудь еще, и тоже в дом приведешь?

— Нет, не думаю.

— А, то есть ты не уверена, да?

— Андрюш, перестань. Я же не делаю ничего плохого.

— Ну, конечно. Совсем ничего! — вскочил, рванул на кухню курить.

Катя подошла, обняла меня, спросила серьезно:

— Мам, а зачем к нам приедет эта девочка?

— Понимаешь — она считает меня мамой...

— Ты — моя мама, и больше ничья! — возмутилась дочь.

— Ну, конечно, твоя. Просто есть еще одна девочка, очень хорошая девочка, которая хочет жить с нами.

— А почему хочет?

— Потому что она любит меня.

— Я тоже люблю тебя!

— Знаю, девочка моя. Успокойся. Но ты любишь потому, что тебе хорошо, а она любит потому, что ей плохо.

Катя задумалась.

— А где ее мама?

— Ее мама к ней не приезжает.

— Почему?

— Не знаю...

Муж вернулся с кухни, уставился в экран компьютера. Спросил, будто прочел с монитора:

— А ты хоть узнавала вообще, что нужно для удочерения? Там ведь целый ворох бумаг надо собрать, кучу инстанций обойти.

— Вот это самое неприятное, — кивнула я. — Узнавала. В России гораздо легче отдать ребенка в детский дом, чем забрать его оттуда. Бредовая система...

— Ты сама-то готова к этому бреду?

— Наверное, да. Кстати, если ты не против, в следующие выходные привезу ее к нам в гости, познакомитесь.

Андрей пожал плечами.

— А сколько ей лет? — ревниво поинтересовалась Катя.

— Одиннадцать.

— Такая большая!

— Ну да. Хочешь, у тебя будет старшая сестра?

— Я не хочу старшую, я хочу младшую. Мам, ну когда ты мне родишь сестренку или братика?

Мы с Андреем никогда не рассказывали Кате глупых историй про аистов и капусту, а сразу выложили все как есть. Без подробностей, конечно. По крайней мере, она точно знала, что ребенок до рождения все девять месяцев живет в животе у мамы.

— Не знаю, уживемся ли мы с ней, — вздохнул Андрей. — Учти, если нет — я уйду.

Слова эти царапнули, но не испугали. Нет, мой Андрей никогда никуда от меня не уйдет.

— Мам, а как ее зовут? — спросила дочь.

— Кира. Очень редкое и красивое имя.

— Катя — лучше!

Пришлось согласиться.

Дочь успокоилась, принялась шалить, притащила пластилин, велела мне помогать лепить ей всю нашу семью, включая старого пса, Тумана. Катя взяла красный брусок, едва наметила руки и ноги, налепила катушки глаз, ногтем сделала прорезь рта. Получился получеловек-полубрусок. Нечто бесформенное.

— А это кто? — не поняла я.

— Это Кира, — уверенно ответила дочь.

— А почему она не такая как все, как ты, как мы с папой?

— Потому что я ее еще не видела. Я же не знаю, какая она на самом деле.

— Скоро увидишь.

— Ну, вот тогда и долеплю.

— Ладно, договорились. Только лепи красивую девочку, чтобы она не обиделась.

— Посмотрим, — по-взрослому прищурилась Катя. — Пока она просто пластилин.

(Окончание следует)

Юна Летиц

Два рассказа

Как молния-мальчик бродячий

«Меня зовут Берри и я не ягода, хотя уже сорок два года все говорят, что я та еще ягода. Какая именно ягода — та, никто не объясняет, но мне и не надо: я малость зловещий с детского возраста, но не в том смысле, что мне враждебен весь мир, а в том, что я не способен быть в одной куче со всеми. Когда они объясняют, что я только часть рода, что за мной и передо мной по всемирной пуповине тянется цепочка человеческих жизней, я морщусь и закрываю уши. Потому что никакой цепочки я вокруг себя не чувствую. Но если уж они так хотят, чтобы я рассказал про своих родичей, то вот что я расскажу.

У моего отца были глухонемые родители, и когда он плакал, к нему никто не приходил, и с ним никто не разговаривал. Он лежал в корзине на траве, пока его мать пасла коров. Отец вырос замкнутым человеком и никогда никого не любил. Его второй сын, мой брат Томигус полностью унаследовал все отцовские предрасположенности и считал, что люди не услышат его, даже если он будет кричать им прямо в уши. Он утонул в соленом озере в прошлом году, зацепившись волосами за ржавый якорь, и старые моряки, знавшие его, шутили, что он нырял, чтобы биться головой о дно.

Так что брат утонул, а перед этим еще отец прекратил свое существование, просто распался в один день, не будучи способным удерживать молекулы своего тела в одном целом, и только я как-то спасся, и то не уверен, что надолго, потому что уже сейчас у меня появляются совершенно пустые мысли в голове, и я чувствую эту наследственную муть, которая будет тянуться тоскливо из поколения в поколение, пока не растворится в одном человеке. И этим человеком, видимо, должен стать я.

Еще у меня, конечно, была мама. Она вышла без шапки на улицу в семь лет и отморозила себе мозг, после чего неделю пролежала в коме, и все это время ее родительница стояла над ней со всей белой церковью, пока мама не услышала колокольный звон, и ангелы не вернули ее к жизни. Мама отошла от болезни, но много-много лет после этого падала в обмороки, где снова встречала тех самых ангелов, так что люди были у нее всегда на втором месте. И когда мы

Юна Анатольевна Летиц родилась в Смоленской области в 1985 году. Окончила факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Автор книг «Там, где растет синий» (СПб., 2011), «Шуршание философа, бегающего по своей оси» (СПб., 2012). Финалист многих литературных премии. Живет в Африке и Москве. В «ДН» публикуется впервые.

родились, она почти с нами не разговаривала, но все звенела колокольчиком, который вечно лежал у нее в верхнем кармане кофты. Мама ушла от нас пешком куда-то в сторону Южного полюса, и мы больше никогда не имели от нее никаких новостей.

Мамина мама, моя бабушка, сначала жила с нами, но потом она перестала ходить и лежала перед столом, на котором стояла еда, и люди ели и пили. И мне рассказывали, что у бабушки внутри тогда не было сердца, а вместо него туда что-то натолкали. А ее сердце увезли в научный институт — я думал, что учиться, но выяснилось, что на исследования, потому что оно было таких огромных размеров, что занимало почти все туловище. Отец говорил, что это оттого, что она всем без разбора сочувствовала, и от этого у нее выросло такое гигантское сердце.

Ее муж, мой дедушка, недолго был свидетелем ее сердечного роста, он не был свидетелем, но был дипработником и время от времени он уезжал, пока однажды не уехал совсем. Он уехал работать на Куб, но не смог долго удерживать равновесие, так как с одной стороны у него была моя бабушка, а с другой — новая кубическая привязанность, и в какой-то момент он упал и ударился сердцем, так ударился, что разбил его. В общем, они с бабушкой перестали поддерживать не только совместную, но и собственно человеческую жизнь примерно похожими способами.

Были незначительные вкрапления дяди, который строил испытательные ракеты для испытательного космоса, и тети, у которой было парализовано лицо, но об этом и сказать больше нечего, кроме того, что виделись мы раз в четыре года по большим праздникам и никак не могли друг друга запомнить.

Так что вот так выглядели судьбы главных для меня людей, в этой истории была еще моя девушка, но мы остались друзьями еще до того, как стали встречаться, потому что я не собирался быть в куче, и она тоже не собиралась. Мы не начали быть вместе, вот и все, что можно сказать про эту историю.

Итак, меня зовут Берри, и я точно не ягода, потому что, во-первых, я больше не расту, но еще не подвергаюсь гниению. Меня также не съели. Я не вошел в состав варенья — так что я намного меньше ягода, чем все окружающие. У меня собственная корневая система, особые взгляды, и я никогда не чувствовал рядом с собой присутствие куста, так что этот допрос кажется мне почти бесполезным. Я не понимаю, почему они спрашивают меня о людях, в которых я никогда не верил.

Что касается моей собственной жизни, то я рано стал понимать, что происходит вокруг и, значит, рано стал замкнутым. Сначала люди пытались получить от меня электричество и клали рядом с собой, и гладили по голове, пытались высечь искры из волос, но искр никаких не было. И тогда они начали растить меня гелием: выставляли на солнце с огромной лупой и смотрели, как я буду изменяться в размерах и по характеру. Когда мне удалось сбежать от людей, я долго не мог попасть в свою жизнь и все заходил в чьи-то другие по старой памяти: распадался на молекулы, отмораживал мозги, нырял в соленое озеро — больше плакал, работал официантом — отзывался на колокольчик, взял собаку — сочувствовал собакам, выгнал ее — взял паузу, чтобы походить по острым углам геометрических органических форм — философское скалолазание. И когда *они* снова нашли меня, я был уже без вести пропавшим для самого себя.

И им долго приходилось отучать меня от стояния с лупой на солнце в попытке выгореть и развеяться по ветру.

Я хотел тогда красиво уйти, но они вернули меня сюда. Посадили на место и просят заново рассказать. Я должен быть благодарен, но у меня нет этих эмоций, а у меня есть право — право отказаться от их участия в моей жизни. Это не сложно — уехать отсюда в маленькие города и не давать себе свободного времени.

Меня зовут Берри, и никто никогда не называл меня ягодой. Это мои фантазии, это и есть *они* — мои фантазии, они помогают мне, но они и преследуют меня. Они испортили мою семью, сделали ее уникальной. Они выводят меня из ряда обычных людей, и я никогда не смогу называть вещи своими именами, даже свое имя я выдумал, чтобы рассказать эту историю, чтобы быть вашего поля...»

Ягода, бродячий рассказчик, взял коробку с мелочью, положил ее в рюкзак, туда же — картонные титры, маленькие колокольчики с руки, подвесной камин, искусственный космос, взял все это, сглотнул и побрел на новое место.

Комод

Сезонные дожди идут, сезоны каждый раз, как валики, вворачивают всех в жизнь, меняются страны, и у людей новые волосы, пальцы растут, глаза принимают общий цвет. И человек с каждым днем удобнее уже сидит, стоит, и слова появляются у него, личные жизни, какие-то фотографии, часы на руке. И так живет он, и так он учится обрастать бетоном. Это не больно — только не шевелиться надо и скоро привыкнешь.

Раньше человек не замечал, как постепенно он проваливается в эти стены, как не остается в нем ни мурашек, ни дрожи и никакие его страхи уже не ждут. Человек сам решал, когда ему сливаться и с чем. Он решал, когда ему расслабить пальцы, и стоило ему расслабить их, как сразу же рука ныряла в какой-нибудь торжественный секретер или диван продолговатый из сухого вельвета, или в гардину, или в стол. Люди переходили постепенно в соседнюю неживую материю, всасывались туда медленно так — сложно было заметить.

Это случилось — реакция некая в природе или катаклизм. В один день замкнулись все цепочки материальные, распрямились в футлярах очки — поросли песком, сигареты спелые расцвели, выпуклились объектами фотографии, дали ростки продавленные ковры, и все убитые под флагом цивилизации предметы воспряли духом, приступая к универсальному мщению.

...Она сидела рядом и гладила его добротное тело. Рука скользила по дубовой коже, оставляя на отполированной поверхности человеческое тепло.

— Что-нибудь чувствуешь? — спросила она.

— Конечно, чувствую. Как твои пальцы шевелятся. Чувствую твой запах, дождь за окном, аллергию и голод. Жуткий предметный голод. Я ощущаю, как распадаются мои ткани, как я исчезаю. Граска, скажи мне, милая, ты везде посмотрела? Неужели совсем ничего?

Она вздохнула.

— Я обошла все брошенные квартиры в этом доме, осмотрела телевизоры,

полки, холодильники и даже диваны. Все собрано уже, ты же знаешь, какие они шустрые, эти торшеры.

— Но я так голоден!

— В новостях говорили, что вот-вот изобретут вакцину, сильное средство, и можно будет лечить все, даже если последняя стадия, можно будет лечить... Сень, ты только не сдавайся, ты выберешься и будешь жить, будешь ходить...

— На деревянных ногах?! Пойми же, я сливаюсь с ним. Еще немного, и в этой деревянной дуре не останется ни капли человека.

— Не говори этого... Мы должны верить.

— Но Граска, я — комод!

Она замерла и смотрела несколько секунд зачарованно в отполированную стенку, где были видны размазанные контуры ее лица и кусочек лампочки из картинного абажура. Неясно, сколько продолжалась эта тишина — между двумя людьми, один из которых был не совсем человеческий — сколько бы это ни продолжалось, но оба вернулись к обычным своим ролям. Комод вздрогнул, ощутив сумасшедшее тепло в области резьбы — это Граска гладила его. Уловив пальцами деревянные токи, она продолжила говорить:

— Это еще ничего, ничего, милый... Это еще ничего, помнишь нашего соседа с четвертого этажа? Он стал бардаком, и глухая уборщица разнесла его части по полочкам, теперь он вряд ли сможет собраться, ты же знаешь, как Лида убирается, так что тебе еще повезло, что ты... цельный. Такая удача... Немного потерпеть, и они придумают ее, вакцина появится, надо чуть-чуть подождать, и скоро всех спасут.

— Мне страшно, — сказал он совершенно искренне.

Она поцеловала его в круглую ручку.

— Сень, ты не бойся, мы продержимся, тут у меня идея — есть такая идея: пособирать с людей.

— Но это же опасно, ты можешь заразиться.

— А могу и не заразиться. Вдруг у меня иммунитет?

— Но мы не знаем наверняка.

— Я все-таки рискну, все-таки пойду туда. Что-нибудь принесу, и ты поешь... Мы как-нибудь продержимся, должны продержаться, пока они не изобретут. Я что-нибудь принесу.

Он процокал трижды деревянным голосом, выражая неодобрение, и рванулся из шкафа, желая благодарно обнять ее, прижать, как обычно, к своей груди — прижать и немного по волосам рукой, провести по волосам, но рук у него уже не было, ни одной руки нынче, и даже грудь совершенно отсутствовала, так что ничего не вышло из этого, и только ящик один вывернулся и упал. Мужчина вскрикнул от неожиданности *черт, какая боль!* и девушка поспешила вернуть этот ящик в прежнее положение, и она вставляла ящик, и слезы копились в ее глазах.

— Я скоро вернусь, потерпи, мой хороший... Я скоро вернусь.

Она аккуратно прижалась к нему — как смогла, а потом вышла из этой тусклой квартиры, где когда-то они счастливы были, вешали по стенам велосипеды, дарили друг другу портреты из печений, спорили, менялись, разбивали палатки посреди кухни, придумывали новые способы целоваться...

Где это все?

Граска сейчас шла по сшитому в сумрак, сырому и прохладному городу и

вспоминала то время, которое еще недавно было предоставлено им, а теперь его уже нет: время, как и люди, провалилось в столы и ботинки, время исчезло, обозначив начало страшной эпохи вещизма.

Это называли «провалень», эту болезнь, и это была эпидемия, настоящая катастрофа: люди растворялись в мебели, проваливались в полы, газоны, стены, и никто не знал, каковы были причины этой трагедии, и никто не знал, как это непредвиденное событие остановить. В лабораториях ученые с вросшими в руки пробирками носились — потные лица, стеклянные руки — что-то пытались придумать, но пока ничего определенного не было озвучено. Все сливалось, смешивалось, мир обретал потерянную свою целостность — но какой ценой обретал!

Провалень начинался с того, что у человека набиралось так много предрасудков в голове, что он становился окостенелый, останавливался в своем движении, и тут еще возможно было лечение — почитать что-нибудь, развеяться, сходить на какую-то лекцию, купить специальные бахилы и плащ от проваливания и к чему-то стремиться, найти себе цель — это хорошо помогало, но только на первой стадии. Если же время упущено, то болезнь переходила кардинально во вторую стадию, на которой человек уже в предметы влипал, сначала влипал, а потом по-настоящему проваливался в них, и хоть тяни, хоть режь, и это, как правило, неожиданно все происходило, больной ехал в своей машине, и вдруг — пробка, и все застряло, и он застрял — сидит там, а сиденье уже сожрало большую часть его туловища.

...Граска еще никак не могла привыкнуть к новому внешнему виду домов, которые прилично разрослись за счет провалившихся в стены и — страшно было подумать — некоторые проваливались сюда осознанно, им негде было жить и надоело изо дня в день заботиться о еде, поэтому они приходили сюда группками и вращались со всех сторон, где-то еще торчали руки, но в целом люди довольно быстро исчезали, так как не имели против этого никаких возражений. И они оставались в центре города — это выглядело престижно: целыми днями ничего не делать и жить в хорошем районе, и смотреть на этих мечущихся свысока — для этого они вращались в самые высокие этажи. И провалень для них был удачей — для многих, но только не для Граски, которая хотела движения и жизни, настоящей человеческой жизни — и бегать, и гулять, и стремиться.

Теперь она подошла к офисному центру и стояла тут, ожидая, когда окна начнут свою полуденную болтовню, чтоб под шумок проскользнуть внутрь, но план провалился, как будто и он был уже заражен.

— Девушка, а вы куда? — нагнал ее скрипучий голос.

Она обернулась и увидела человека-дверь, который нерасторопно толкал себя в сторону открытого прохода, чтобы закрыться или немного пригрозить — хоть как-то исполнить свои обязанности.

— Я пришла сюда, чтобы... устроиться на работу. Я пришла сюда.

— Шутка, что ли? — прозвенел петлями добродушный охранник.

— Это почему вы так?

— Они же там смешались все: люди, телефоны и столы, вы хотите заразиться, наверное? Вы за этим пришли?

— Я вовсе нет, вовсе не за этим — пришла... Немного соврала, знаете, растерялась и думала, что вы охранник, ну, обычный такой, с усами, из тех, что

постоянно докапываются, и я думала, что вы один из таких, но у вас даже лопаты нет, и вы вовсе не злобный, и вполне еще человеческий...

— Еще бы, откуда у двери лопата?!

— Вы очень еще человеческий... Так что я расскажу. Знаете, у меня есть друг, и он очень-очень болен, и ему нужно немного пыли, так что я хотела пособирать...

— Кому она сейчас не нужна, эта пыль, я бы сам не отказался, ведь мне пайки выдают такие мизерные, просто чтобы я не до конца провалился... Пыль — это серое золото... А кто он у вас?

— Он комок у меня, с ящичками такой.

— И все открываются?

— Пока что открываются, такой красивый комок.

— Это хорошо, что красивый, но все же — комок. Мне в этом смысле полегче, я хоть на полметра, но двигаюсь туда-сюда, а комодам, наверное, совсем тяжело... Любите его?

— Спрашиваете... Очень люблю!

— А меня моя бросила, уехала туда, ну, где особенные эти пески, антизыбучие или как их. Многие уехали...

— Раньше автобусы еще не пожирали, самолетами можно было летать.

— Да, как-то она успела тогда, а меня с собой не взяла... Я все работу не мог бросить, думал, надо денег подкопить, а потом провалился, и вот теперь одна ржавчина на боках... Еще, бывает, дождь, и эта ржавчина как прихватит... Ржавчина моя, и еще эти грустные истории. Что же мне с вами делать?.. Ладно, идите, пусть хоть кому-то можно будет помочь, там на стене ключи от этажей и разовые бахилы не забудьте тоже взять, сейчас даже полы мраморные, прости господи, въедаются, не говоря уже о паркете.

— Спасибо вам, я скоро вернусь.

Она надела бахилы, взяла ключи и побежала добывать пыль. Отворив дверь первого этажа, девушка так и застыла на месте. Нет, пока что она не вросла, но от удивления не могла и пошевелиться: там эти люди-компьютеры, люди-факсы, люди-стулья, насквозь пропитанные бумагами больные столы... Кто-то из них еще умел передвигаться, и эти люди ухаживали за остальными: на тележках перевозили полуживых в уборные, заваривали чай не утратившим рты. Это было очень грустно — наблюдать за тем, как человечество разрушается. Граска решительным усилием приостановила движение комка из своего горла, а потом встала на видное место и заговорила — громко так, чтобы многие услышали.

— Здравствуйте, я вижу, как вам нелегко, я вижу, как вы страдаете, но я все же спрошу: а нет ли у вас немного лишней пыли, может, не самой питательной, не самой серой, но хоть какой-нибудь? Мой друг превратился в гигантский комок, и ему нужно поддерживать в себе человеческое, и ему нужна пыль, привычная среда... Можно, я пособираю с вас? Пожалуйста, люди, если среди вас остались люди, пожалуйста, дайте мне взять от себя...

Она говорила и говорила, пока не лопнул нерв в голове, и потом она разрыдалась, потому что понимала, что они должны будут пожертвовать собственной своей энергией, и она разрыдалась, понимая, что просит слишком много.

Но они не стали шикать, они не стали набрасываться, только сочувственно повели головами и лампами — кто чем горазд, и какой-то старичок с дыроколом вместо руки подошел и говорил ей без нотки неприязни, со всем благодушием говорил:

— Девочка, вас обманывают, говоря о лечебности пыли. Пыль ни в коем случае нельзя есть! Это же самая отравка. Комод хочет стать мебелью, обрести свою стабильность, вот он и просит через человека. Эти предметы — они такие хитрые... С пыли все и начинается, всякая болезнь. Люди обсуждают пыль, трясут пыль, втирают ее себе в щеки. Они пьют чай с пылью и слизывают ее друг у друга с зубов. Некоторые удивительно изобретательны в применении пыли. Это единственная доступная им форма реальности — мелкая, почти порошок, и они не хотят упустить ни грамма. Они зависимы от нее, а когда очнутся, то видят, что ног у них нет, и рук нет, и что они предметны, как смертны, и даже более предметны, чем им кажется.

— Но он же голоден! Его мучает голод!

— Это комод борется за свою жизнь, ему хочется воспрянуть, а человеческих тканей недостаточно пока, тем более, что человек сопротивляется, а комоду хочется быстрого исторического корма, это понятно... Держись моего совета, не давай ему пыль, если не хочешь остаток жизни провести с древесиной.

Граска поблагодарила его за помощь, помогла организовать очередной обед из размоченных в кофе крекеров, помыла посуду, разложила по полкам, прибрала бумаги, если на ком-то щекотно лежали, и побрела обратно домой. Ей было горестно идти туда с пустыми руками, но все-таки она несла кое-какие находки в своей голове, и это была важная информация. Граска придет сейчас, и они попробуют поесть обычной человеческой еды, какие-нибудь тыквы или консервы, как-нибудь протолкнут сквозь эти деревянные барьеры, как-нибудь спасут его.

В квартире свернутые сумерки, как ковры, и этот загнанный полумрак, может быть, еще похолодало, и всякое отопление уже отключено — кривые тени от уличного фонаря на стене, но это было привычно — предметы и свет. Немного западала тишина, как уши разрывала, глубоко-глубоко в голову шла, и Граска никак не могла выкинуть ее из головы и трясла головой, но даже когда тишина перестала западать, внутри у нее осталось какое-то подозрение, предчувствие, что-то такое неприятное. И она долго не могла войти в комнату, она знала, что однажды надо будет войти, но она не могла. Бродила по прихожей в поисках собственного успокоения, но оно пряталось от нее, и это был страх, это был страх.

Она закрыла глаза и шла по стеночке — миллиметр за миллиметром, как обессиливший муравей, она перебиралась в обезжизненную спальню, где ждал ее избранный из людей, и она нащупала его правой рукой и осела, спиной прислонившись, как будто боялась увидеть то, что там было такое.

— Не вышло у меня ничего, — говорила она с закрытыми глазами, тщательно следя за своим голосом. — Пыль — это провокация. Мы будем ждать вакцину. Мы будем... Помнишь эту говорящую гору и синее озеро в пещере, и эти мохом поросшие дома?.. Помнишь эти цветы, неувядающие поля по сторонам, варварски красивые старые города, греческие забегаловки — да, мы били тарелки, мы били тарелки — соль среди воды, ходить босиком по дну, ты помнишь, Сеня? Двумя половинками на песке... И это были ангелы, в карнавальных костюмах солнца, и у тебя сгорело лицо, а я снимала с деревьев

эти жирные плоды и мазала тебя и лизала тебя, мы путешествовали, мы бродили по веревочным мостам — маленькая глубина осторожности, и ты очерчивал меня с обеих сторон, чтобы я не переваливалась, и сам чуть было не упал, и мы торопились добежать до конца, а еще океан в шляпе-медузе, свора дичайших собак, помнишь это, ты помнишь? Мы лежали в гамаке над водой, и над головой было это... Звезды. И они шевелились. Звезды и ветер, и я прижималась к тебе, я думала, что это вечность, мы были вечными... и если бы мне кто-то рассказал, что мы... что ты вот так... ходили в красных шерстяных носках, ходили на спектакли, кофе по утрам на первом этаже, и там еще магазин с круассанами, субботние вылазки на каток, а летом маленькие торжества у набережной, а осенью валяться все выходные, и философские шахматы, цитируя, веря...

— Ты помнишь? — спросила она медленным шепотом и прижала к комоду кончики пальцев, стараясь уловить его природные токи, но это было — мертвое дерево, и Граска хотела бы переломать пальцы об него, вжимала туда, пока косточки не начали трещать... И ей никто не мешал больше, ей никто не мешал.

— Сения! — прохрипела она, теряя ощущение голоса, и вот теперь земля ушла у нее из-под ног, она поняла, как это, когда земля уходит, и она попыталась провалиться сквозь нее, она прыгала и кричала, разбегалась и била себя об стену, она прислоняла себя так сильно, что кости пружинили, и когда крик весь вышел из ее горла, она ощутила удушающий комок горя. И она выбежала на улицу, и падала коленями в грязь, она бежала куда-то, сама не знала куда бежит. И иногда она останавливалась, и смотрела по сторонам, там был темный невзрачный вечер вокруг, и фонари, и парки — что-то осталось живое. И она стояла там, а где-то рядом с ней стояло живое, но оно было не нужно ей — *такое* живое.

Она стояла там, среди горящих окон, и видела эти каменные корни домов. И Граска стояла, пока ощущение холода не заставило ее двигать ногами, и она двигала ногами, и скоро снова была в этой комнате из четырех потолков. И она вынула из карманов камни, которые принесла с собой, и выложила на одной из блуждающих стен: *Произошли великие мутации. Из кирпича стало расти дерево. Животные разных видов начали скрещиваться. Мир стал совсем другим. Материя обрела энергию, и все сливается в мертвоживущий ком. Процессу этому люди не могут противостоять.*

Она выложила и долго не могла остановить эту трясущуюся руку, которая писала камнями, но потом рука остановилась, и Граска сняла кофту и сняла туфли, и выдвинула один из ящиков, самый нижний ящик — она выдвинула и легла в него, в этот гигантский прожорливый комод, и тут же хищник начал забирать ее тело, и она стискивала зубы, думая о том путешествии, которое им придется совершить, и там они встретятся, скоро они встретятся...

...Тишина стояла в комнате и на улице. Дремали сросшиеся пассажирами остановки, посапывали по-кошачьи крыши, спали человеческие асфальты и набитые мухами корявые столбы — все спали или казались спящими. Все спали, и только человека-дверь из офисного центра отчаянно терзала дождливая ржавчина. Он напевал что-то, покачивался на петлях и мечтал о том, что однажды кто-нибудь поднесет ему спасительный стакан масла. Но сделать это было уже некому.

Илья Фаликов

Слушай классику — лес кипарисовый

* * *

Надо утро начать с Катулла.
Свежим ветром просквозжена
фессалийская верхотура,
где зегзицей кричит жена.
Автор выскочил из притона,
весь в пороках, — кого винить?
Нить бегущую, веретёна,
нить бегущую вейте, нить.

Задохнуться на общем вздохе
о подробностях бытия,
об оливе, чертополохе —
глянешь искоса: ты да я.

Всякой дрянью сума набита,
всякой дрянью и жизнью всей.
Не рыдай о нём, Миноида,
он не стоит тебя — Тесей!

Крепче вервия и каната
связь времён — перестань кричать.
Ставит старость, а не Танатос,
окончательную печать.
Вейте, ветры, развей, Верона,
тему: душу бы сохранить,
нить бегущую, веретена,
нить бегущую вейте, нить!

* * *

Кипарисовый лес расколышется,
зашумит кипарисовый лес.
Не пописывай, если не пишется,
если высох, угас и облез.
Слушай классику — лес кипарисовый.
Если кончатся лучшие дни,
нажитое пространство отписывай
контингенту фантомной родни.

Белым камнем, похожим на облако,
блещет синее поле небес.
Морем вымыта, чистая публика
демонстрирует вкусы на вес —

Фаликов Илья Зиновьевич — поэт, прозаик, эссеист. Постоянный автор «ДН». Родился в 1942 г. во Владивостоке. Печатается с 1964-го. Автор 10 книг стихов, 4 романов и книги эссе «Прозапростиhi» (2000), «Фактор фонаря» (2013). Лауреат нескольких литературных премий. Живет в Москве.

побережье завалено дынями,
бахчевые плоды тяжелы.
Небесами, пустыми и синими,
бредит ласточка с каждой скалы.

Видно, матушка сильно старалась —
запалив на Ай-Петри костёр,
острый выступ татарского ялоса
со скулы моей ветер не стер.
На осколки языческой храмины
уронился готический храм —
ливень хлынул и выглядит каменно:
можно к туче взойти по струям.

Не Елены мы тут, не Парисы мы,
и не всяк Ермолай — Менелай.
Не вернуться ли в лес кипарисовый?
Завернули за евросарай.
Опалённый хвалёными войнами,
лечит пятку больной Ахиллес.
Стелет сердце уколами хвойными
кипарисовый лес.

* * *

Горит над горами огнём золотым уже не глазунья —
цыганское солнце, татарский алтын, пятак полнолуныя.
Во тьме черноморской лучится хрусталь, в пучине азовской.
Копировал хаос, однако устал
Иван Айвазовский.

На ста децибелах грохочет содом в плавучем борделе,
с барахтаньем в море, от фарта густом, с фонтаном фортелей.
Диджей козлотуром по звёздам скакал, значительно ниже
тянуло тебя от заоблачных скал —
к Архипу Куинджи.

В целебной грязи собирается сель тяжёлых предчувствий,
а грек с армянином пекутся досель о русском искусстве.
Морской биомассой, насквозь голубой, наполнены вены,
когда накрывает тебя с головой
солома Селены.

Морской городок, поднебесный горбун, подобье финвала,
в которого целит возможный гарпун крутого финала,
когда остаются один на один горбун и плясунья.
Цыганское солнце, татарский алтын,
пятак полнолуныя.

Бесстыдница¹

Не спится, не рыдается, не стонется,
уляжется, останется, остынется —
я говорю бесстыднице: бессонница,
я говорю бессоннице: бесстыдница.
Бесспорное беспамятство нескорое
опустится, по праву всемогущее,
на дерево цветущее бескорое,
на дерево бескорое цветущее.

Вчера ещё сажала фрукты-овощи,
пахала на пристанище мгновенное —
в ночное серебро моё сокровище
оденется, сокровище бесценное.
Взойдёт на звуке внутреннего голоса
звезда волхвов, возникшая при Ироде.
Существование утреннего ялоса
не кончится на розовом периоде.

Возвысит горы не гигантомания,
а дерево бескорое цветущее.
У белых роз — свои воспоминания:
завьюженное южное грядущее.
И некуда от времени деваться, и
нам светят незаслуженные премии —
маяк врубился раньше девятнадцати,
когда упала темень раньше времени.

Учан-Су

О пальмы юга!

Н. Рубцов

Продавливать себя и продавать
равно тому, как
поэзию святую предавать,
позор и мука.
Так полагает девочка, со мной
прожив полвека,
а на аллее около пивной
поет калека.

Там нет пивной, но бродит всё равно
хмельная пара —
вскипает внутривенное вино
самопиара.

Совместно претерпев любовный плен,
в дыму окурка
не съехала с откромсанных колен
шалава Мурка.

Везёт его коляску эта мать —
его подруга —
продавливать себя и продавать.
О, пальмы юга!
О, пальмы юга! Падших не спасу,
сухая туча —
фиксируюсь на речке Учан-Су:
струя летуча.

¹ Красное земляничное дерево, *Arbutus andrachne*.

Она не отвращается от них,
не прячет взгляда,
и над моим горбом за воротник
течёт прохлада.

Слеза ли набегают на глаза,
но в горнем свете
внутри певца работает лоза
по сходной смете.

...У речки Учан-Су, высок и сед,
не слишком в меру
мой собеседник, немец или швед,
сосёт мадеру.

У речки Учан-Су во весь размах
перезагрузки
мы говорим на разных языках
вполне по-русски.

В каком году или в каком часу,
не веря чуду,
я позабуду речку Учан-Су?
Не позабуду.

Играй, гармонь, наяривай, валяй,
и, щастлив крайне,
поёт калека — наша Лореляй
на нашем Райне.

Ай-Петри

Шибанёт шибляком, а шибляк — это смешанный лес.
О воздушных поют кораблях альбатрос и отвес.
Босоту шибляка с высоты вышибает сосняк —
он работает на облака, овцевод и скорняк.
Божий мир, у тебя под полой, выше пары опор
прошибает скалу за скалой хвойнокаменный бор.
О подавленных страхах — молчок. На вершине важней
три верблюда, и лев-грудничок, и табун лошадей.

Начинает программу восход, спозаранку высок.
Из воронки ущелья идёт неземной холодок.
Существует колодезный док, и летят корабли.
Из ущелья идёт холодок, из пещерной щели.
Океанское дно погребло НЛО и ГЛОНАСС.
Это было кораллом — давно, когда не было нас.
Фактор Данта, формовка орлов — полновесно жива,
флорентийский фасад расколов, лапа мёртвого льва.

Улетучивается шашлык, испаряется плов,
молодой проводник двуязык и двулик птицелов.
Стала бором морская трава, и, куда ни гребь,
лапа мёртвого льва на кудрявой башке Могаби.
Баш на баш, и наварит барыш молодой азиат,
на его скакуне воспаришь, не вернёшься назад,
и не станет ни рифменных уз, ни ундин впереди.
Рыжий львёныш и свежий укус у тебя на груди.

Камни

Мой денщик стрелял не мимо...

Н. Тuroверов

Нет урона живой природе
оттого, что таков улов —
камни блещут из моря вроде
конских выскобленных голов.

Были ночки, любовь и скачка,
где в сени молодых олив
черноокой была казачка,
кавалер её черногрив.

Не ищи никакого крова
и за марочным не беги,
если в тучах горит подкова,
не высвечивая ни зги.

В продувных парусах июля
свищет ветер издалека
или множась пуля
белоглазого денщика.

Кто-то шашкой неслабо машет,
кто-то тонет, подстрелян влёт.
Конь не понял — хозяин мажет,
а холоп его в точку бьёт.

Лера Тихонова

Рассказы

Другая любовь

— Суки! — Захар беспрерывно сплевывал это слово уголком рта, как шелуху от семечек. — Суки, а!

Когда набиралась полная горсть, он перегибался через спинку старого дивана, сбрасывал ее в мусорное ведро, счищая заскорузлым пальцем другой руки налипшую шелуху, и по-прежнему не сводил глаз с мерцающего в темноте телевизора. — Вот суки!

Подвинуть ведро ближе Захар не мог. Оно служило опорой для деревянной доски, другим концом лежащей на трубе. Труба тянулась через весь подвал и переплеталась с другими, более тонкими. На доске сидел его сын Байрон и играл в компьютер. Полусогнутая спина и вихрастый затылок выдавали крайнюю степень напряжения. Байрон колотил жесткими пальцами по раздолбанной клавиатуре и чертыхался.

Телевизор и компьютер, будто в тайном сговоре, перемигивались яркими экранами до поздней ночи. Вечера отца и сына, спиной к спине, походили один на другой, как вылущенные семечки в недрах мусорного ведра. И если бы не железный будильник, настойчиво предлагавший новый день, когда после краткого сна на разложенном диване вновь спиной к спине они поднимались и шли каждый в свою сторону, жизнь превратилась бы в нескончаемый вечер.

Хмурый Байрон тащился в опостылевший техникум, последний год которого был особенно навязчив, но, бомбардируя знаниями, не давал ответа на самый главный вопрос: «зачем все это надо?» Уж точно не для того, чтобы пройти, наконец, на следующий долгожданный уровень, перестреляв всех монстров. Захар принимал на грудь вместо чашки чая дозу утренних телевизионных передач и поднимался из котельной наверх, чтобы подмести листья или убрать снег на вверенной ему территории литературного института. Начинал он всегда от памятника Герцену, кружась по орбите, как планета вокруг солнца. И ему казалось, что он делает это столь же давно, сколь существует вселенная.

Он совсем позабыл то время, когда обитал не в подвале и не во дворе с веником или лопатой, а наверху, в светлых аудиториях старинного особняка. И институтская библиотека была его единственной вселенной с галактиками в алфавитном порядке.

Лера (Валерия Владимировна) Тихонова, прозаик. Родилась в 1978 г. Закончила Российскую Экономическую Академию им. Плеханова по специальности «менеджер туристического и гостиничного бизнеса». Закончила Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Горького. Живет в Москве. В «ДН» публикуется впервые.

Как ни странно, подтолкнул Захара к литературному космосу, или правильнее сказать подбил, его отец, не прочитавший за всю жизнь ни одной книги. Отец носил прозвище Гегемон Коля, работал сварщиком в Воронеже, крепко выпивал и за малейшую оплошность лупил сына обрубком трубы. Шкафы, набитые пыльными книгами, достались вместе с домом от предыдущего хозяина, сраного задрота, по выражению отца. Захар, рано потерявший мать, спасался в глубоководных реках литературы, погружаясь туда с головой. Там он мог легко и свободно дышать, в отличие от реальности, на которую его выбрасывало, как на сушу, с тупой обреченностью.

Так же, как и Захар, книги подвергались нападкам со стороны фанатичного сварщика, и общая беда сближала их еще сильнее. Каждые выходные отец вытаскивал очередную партию бумажных страдальцев во двор их деревянного дома и жег, сидя возле костра и завороченно глядя на снопы искр. Захар прятал «товарищей» в туалете, на чердаке и даже один раз зарыл ящик под яблоней. Но Гегемон Коля, ведомый чутьем, неизменно находил тайники. После прощальной порки в конце десятого класса Захар отбыл в Москву, к тете, чтобы поступать в Литературный институт им. Горького. К тому времени отец уже расправился с книжной армией и перешел на немногочисленный отряд журналов. Иногда Захар мстительно думал, что тот будет жечь, когда журналы закончатся, но выяснить это за пять лет учебы ни разу не пытался.

Будучи студентом литературного института, Захар чрезвычайно увлекся эпохой романтизма. Выучил всего Байрона наизусть и читал перед лупоглазыми студентками, вытаптывая благодатную почву для наступления. Окутанные поэзией английского лорда, дамы разом обмякали в его настойчивых руках. Правда, кроме робких поцелуев и стыдливых объятий ничего предложить не могли.

Поведением Захар копировал бесшабашного «русского Байрона», и так же, как Лермонтов, брал изысканными манерами и дерзостью. Первую свою женщину Захар отбил после краткой дуэли, состоящей из двух точных ударов в челюсть на задворках института. Никакого отношения к литературе девица не имела, но зато обладала будто бы десятком ловких, пронырливых рук, горячим влажным ртом и удивительной способностью превращать любую приступочку, лесенку или кучу сложенных досок в ложе любви. За один вечер, там, за институтом, они освоили все мыслимые вертикали и горизонты и готовы были дальше простирались вверх и вширь. Но их спугнул однорукий Иван, работавший тогда дворником при литинституте и живший в котельной. Почему-то Иван мел двор по ночам, держа орудие труда левой рукой, и тенью напоминая краба с одной клешней.

За той, первой Евой, потянулись в личный рай Захара и другие искательницы приключений. Так же, как когда-то его волновал запах книжной пыли, теперь ударяли в голову солоноватые запахи девчачьих подмышек. Эта смещенная страсть вскоре разгорелась похлеще костра Гегемона Коли. Но Захар не забывал про манеры, почерпнутые в сокровищницах литературы девятнадцатого века, превращавшие простого паренька из Воронежа в светского щеголя. И всегда был остроумен и учтив, пока вел, вальсируя, очередную подружку к ее разбитой кровати в студенческом общежитии, в лифт подъезда или институтский туалет.

Однако дома, в маленькой «двушке» за МКАД, щеголь был нещадно гоним теткой, воображившей, что приютив бедного родственника, она, как Мефистофель, получает в распоряжение не только его время, но и душу. После вороха

хозяйственных поручений тетка усаживала Захара пить чай и, вгрызаясь в засохшую пастилу, вытрясала из него подробности любовных перипетий. Захар не имел навыка выворачиваться наизнанку. Он мялся, жался и бормотал что-то невнятное. Но тетка, одинокая старая дева, вела себя, как опытный детектив, предъявляя любовные записочки, найденные в его карманах, пеняя на поздние возвращения, на рыжий волос, снятый со свитера. В конце концов, подтаявши от горячего чая, он ронял, что Верочка караулит его возле института, а у Ирины стройные ноги, а Катя от него без ума и даже готова... «Сучки», — выдыхала вдруг тетка, прервав на самом задушевном. И невпопад заявляла, что ему давно пора сменить носки и что от них уже просто смердит. Или гнала за картошкой, которая неожиданно, прямо посреди разговора, заканчивалась. Захар клял себя за откровения и твердо решал, что больше ни слова, но ровно через день тетка снова разжевывала его вместе с пастилой до крошек своими крепкими вставными зубами.

Несмотря на теткин странный, Захар и не думал переселяться в студенческое общежитие. Было какое-то призрачное обещание счастья в чайнике с отколотым носиком, клетчатых табуретах и потрепанных диванных подушечках. Это нечто витало в воздухе маленькой квартирки. Он глубоко дышал, стараясь вдохнуть то, что обычно выдается в детстве и расходует по крупницам во взрослой жизни, но хватал ртом лишь пустоту. К сожалению, ни Байрон, ни институтская библиотека, ни девицы не могли восполнить ту пропасть любви, которая образовалась к его двадцати одному году.

На четвертом курсе Захар чуть не умер. Тяжелый грипп дал осложнение на сердце. Тогда и выяснилось, что оно уже давно старалось достучаться до него перебоями. Спотыкалось, пропуская удары, но, как истинный романтик, Захар относил этот симптом к любовному недугу. В ночь кризиса, когда напуганная тетка вызвала скорую, он закрыл глаза буквально на несколько минут, и ему приснился сон. Незнакомая женщина села к нему на краешек кровати. А потом легла, прижалась всем телом к его спине и обвила теплыми руками. Эти объятия отличались от потных, гормональных скачек с Верочками и Катями. Они имели бесполой привкус. Но и материнскими их было не назвать. Ровный, тихий ток безграничного счастья пронизывал насквозь. В нем было все: и влюбленность, и понимание, и благодарность, и родственность душ, и всепрощение. Проснулся он с мокрым от слез лицом и сел на кровати, чувствуя себя совершенно здоровым и счастливым. Вошедший врач «скорой помощи» недовольно пробурчал: «Выпить что ли не с кем, молодой человек? Гоняте "скорую" почему зря...» После той ночи Захар еще несколько дней чувствовал на спине жар прикосновения. И очень жалел, что не обернулся во сне, чтобы взглянуть женщине в лицо.

Зоя была тоненькая и миниатюрная, как Дюймовочка, сошедшая со страниц еще одного романтика Андерсена. На ее висках и запястьях трогательно бились синие жилки. Захар присел рядом на лавочку. И, разглядев ее руки, почему-то явственно представил, как они оплетаются вокруг него, и ток крови бьется с его кувыркающимся сердцем в унисон. Может, это она приходила во сне?

Девушка с интересом посмотрела на него большими, влажными глазами. Закурив сигарету постановочным жестом, он театрально наморщил лоб, поглядел на небо и завел привычную шарманку:

— Не бродить уж нам ночами, хоть душа любви полна...

— Не бродить, — прервала его незнакомка и засмеялась. — Слушай, поэт, а у тебя не найдется парочки сигарет?

— Найдется, — растерянно ответил он.

— Чудов, иди сюда! — скомандовала она в темноту. Рослый бритый парень вышел из кустов, застегивая на ходу ширинку. Неодобрительно поглядел на Захара, взял протянутую сигарету и сердито закурил.

Девушка глубоко затягивалась и посмеивалась, переводя глаза с одного на другого. Тонкие запястья белели в темноте мрамором.

Докурив, она встала. Чудов щелкнул окурок прямым попаданием в мусорную корзину.

— Прощай! — улыбнулась Дюймовочка и пошла прочь. Ее верный страж двинулся следом.

Но пройдя несколько шагов, она вдруг обернулась.

— А хочешь с нами?..

Захар немного поразмыслил и поднялся со скамейки.

Зоя стала первой девушкой, которую он скрыл от любопытной тетки, как она в него ни вгрызалась. И потом, уже в тюрьме, часто думал, как повернулась бы жизнь, если бы тогда он остался сидеть в скверике литинститута.

Саюн, тихий, крошечный таджик, прибил к нему незаметно. Как-то вечером Захар увидел скрюченную фигуру у институтского забора. Согнувшись и припадая на одну ногу, тот медленно полз вдоль, как раздавленное насекомое. Казалось, он хочет забиться в щель, но никак не может ее нащупать в гладкой непрерывной каменной стене. То ли парень, то ли старик — разве разберешь их восточный возраст? Когда Захар подошел ближе, тот испуганно отпрянул, тараща припухшие глазки.

— Ты чего тут, а? — шикнул Захар. — Не пьяный?.. Нет, вроде... Избили что ли?

Таджик моргал и пятился.

— Ну, ну, не бойся! — Захар кивнул на институт. — Я тут живу. Пойдем-ка, брат, со мной. Умоешься. Поешь. И куртка у меня старая найдется. Что ж ты стелешься у забора, как не человек...

На следующий день, наряженный в явно большую для него куртку, таджик появился вновь. Скосил глаза на метлу, робко улыбнулся, обнажив мелкие желтые зубы, потом осторожно взял ее из рук Захара и принялся мести. Тяжело опустившись на скамейку, Захар смотрел на эту невзрачную, но деятельную планетку, сменившую его на орбите. В ее равномерном поступательном движении было что-то успокаивающее. И даже имя убаюкивало — Саюн, Саюн, Саюн... В награду таджик опять получил тарелку макарон. Сидя на корточках, у теплой трубы в котельной, он медленно ел и улыбался, к счастью, не вступая в разговоры. И даже Байрон не сразу его заметил. А заметив, спросил: «кто это?» и, удовлетворившись ответом: «Саюн», больше ни разу им не интересовался.

С того дня метла ежедневно убирала дочиста всю территорию за миску нехитрой еды. Однажды неутомимый Саюн даже натер до блеска памятник, отчего тот засиял, как настоящее солнце. А в другой раз забрался на крышу и починил давно протекавший угол. С наступлением вечера он сжигал кучу желтых листьев, финальным рывком подметал свою тарелку и исчезал.

Точно так же, на четвертом году совместной жизни начала исчезать Зоя. Незаметно, неслышно, как кошка. Один раз он даже спрятал ее туфли, чтобы не ушла. Но она ускользнула в тапочках. Тогда после трех лет в студенческом общежитии они уже жили в маленькой однокомнатной квартирке. Из всей мебели имелся новенький телевизор и старый топчан, на котором он все реже занимался с Дюймовочкой любовью, но все чаще пилился в экран. Захар тогда

работал учителем в школе, постоянно раздражался от бубнежа учеников, от одинаковых тупых сочинений про героя нашего времени и уже тихо ненавидел всю литературу от «а» до «я». Погружаться туда больше не получалось. Книги не только не сделали его счастливым, но даже перестали давать хотя бы краткое забвение. Иногда вечером открывал какую-нибудь потолще, но нырнуть не получалось. Краем уха прислушивался, не идет ли Зоя, а слова, сыпавшиеся на него с книжного листа, выглядели жалкими, плоскими обманщиками.

И заунывный Байрон больше не требовался. Секс можно было получить, не прилагая особых усилий. Даже завуч, крепко замужняя дама, проходя мимо, будто случайно касалась то рукой, то бедром, а один раз, протискиваясь в дверь, почти впечатала его бюстом в косяк. Это пробудило в нем естественный интерес, но, как ни странно, перемешанный в равных пропорциях со скукой. Но он тогда не подвел, закрыл дверь и трахнул ее, как следует, положив на массивный стол и глядя на дребезжащие в стаканчике ручки. Когда завуч, размякая после любви, со съехавшим набок пучком, потянулась к нему с пузырящимся на губах поцелуем, даже и не подумал его принять. Дернул вверх молнию ширинки и вышел. На смену эпохе романтизма пришел реализм.

Телевизор, в отличие от вышедших в тираж книг, предлагал новую и вечно расширяющуюся вселенную. Счастья она тоже не обещала, но равномерное мерцание и гул хотя бы ненадолго выключали мозг.

Ближе к ночи Зоя также бесшумно возвращалась. Пока она плескалась в душе, он потрошил ее карманы и сумку в поисках доказательств неверности, но никогда ничего не находил. Вернувшись, она бросала короткий взгляд на съездившуюся от обыска вещь и смеялась:

— Лучше бы тетка тебя не шмонать научила, а любить.

— Где ты была?

— Ты и сам знаешь. Как обычно. Гуляли с Чудовым.

— Не нравятся мне эти ваши прогулки.

— А мне твой телевизор. Еще немного, и ты будешь класть его к нам в кровать.

— Не слишком ли часто вы встречаетесь? Такое чувство, что ты замужем за Чудовым, а не за мной.

Она смеялась еще веселей:

— А ты не теряй времени даром. Зови девчонку сюда, пока мы смотрим на уток в парке. Что ж тебе все по лифтам ютиться.

— Сколько ты будешь вспоминать?! Я уже извинялся перед тобой за то недоразумение!

— Недоразумение?! — она закатывалась от смеха, и полотенце сползло, обнажая грудь.

— Иди ко мне.

— Ты был весь набит любовными стишками, как подушка перьями, — смех гас так же быстро, как солнце падало за горизонт. — И я обманулась. Но оказалось, что это синтепон. Внутри тебя нет ни одного живого чувства. Ты даже к своей литературе холоден.

— Шляешься с Чудовым целыми днями, а меня обвиняешь!

— Чудов — мой друг. Тебе сложно это понять. Ведь у тебя нет ни одного. Знаешь почему? Друга, как и женщину, надо любить. А ты не умеешь.

Он сдергивал с нее полотенце:

— Умею. Иди сюда.

— Знаешь, Захар, женщина лишь катализатор, — она тянула полотенце

наверх и сбивчиво говорила. — Лишь привычный путь нащупать тонкую материю любви, раскатать тело души... На ней вырастают ростки другой любви. Совсем другой... Но ты даже на банальную любовь к женщине не способен...

— Способен, способен, — бормотал он, целуя еще мокрую коленку и думая, что, пожалуй, рискованно встречаться с географичкой Тамарой у них дома. Уж лучше, как обычно, в лифте.

Когда Зоя вдруг забеременела, они ненадолго вернулись к эпохе Возрождения. И она даже перестала вечерами гулять с Чудовым по городу.

Вскоре после появления Саюна Захар и вовсе перестал выходить из котельной на улицу. Теперь он круглые сутки летел по длинному гудящему телевизионному желобу, оборачиваясь на проносящиеся мимо разноголосые картинки и пришепetyвая свое неперменное, беззлобное «суки, вот суки, а...» Он даже не заметил, что Байрон все реже посещает техникум, а Саюн все дольше задерживается у теплой трубы и после тарелки макарон даже неторопливо пьет чай из принесенной с собой пиалы. Под трубой вскоре образовался его личный уголок — помимо пиалы тут теперь лежали перчатки на случай мороза, свернутая тряпочка непонятного назначения и домашние тапочки.

Примерно в это время Захар стал плохо спать. Он вздрагивал во сне, метался и всхлипывал, а рука, похожая на резиновые конечности монстров из игры Байрона, тянулась к пульту телевизора и никак не могла достать. Просыпался, в отчаянии смотрел на будильник. Ночь тянулась долго, и было смертельно тихо в этом подвальном склепе, несмотря на сопение сына за спиной и тоненький свист Саюна под трубой, давно у них ночующего. Захар с удовольствием бы спал под успокоительное бормотание ночных передач, но Байрон ворчал и призывал выбросить на свалку эту допотопную говорящую коробку. Он утверждал, что настоящее окно в мир — это интернет. Саюн в эти разговоры не вступал и всегда благожелательно улыбался. Наверное, даже лежа с головой под одеялом. Захар сомневался, что тот вообще понимает по-русски.

Иногда Захару снились красавицы из сериалов, и он щупал этих крепеньких сучек под тонкими платьями. Правда, дальше этого ничего не шло. Он потерял не только любовный навык. Сам смысл физических отношений между мужчиной и женщиной от него ускользнул. Как обжора после операции по удалению половины желудка, лишь смотрел и трогал разложенные перед ним манящие продукты. Особенно ему нравилась одна малышка, из воскресного прайм-тайма, похожая на Зою лукавым взглядом. И не существовало силы в этом мире, которая увела бы его прочь от ее интимного вторжения в котельную с восьми до девяти вечера. Правда, во сне строптивница к нему не приходила, как он ни упрашивал.

Точно так же, лежа на нарах, он два с половиной года упрашивал Зою повернуться к нему лицом. Ее дергающееся от ударов тело быстро вышаркалось в памяти, будто голова намеренно, не спрашивая хозяина, избавлялась от синяков и ссадин жизни. Зато ясно представлялась родинка сзади на Зоиной шее, узкая спина с торчащей левой лопаткой (она любила сидеть, привалившись на одну сторону), острый гусиный локоток. Захар властно брал за него и пытался развернуть к себе лицом, но она, как на карусели, уезжала от него спиной по окружности. Он пробовал по-всякому: ругался, упрашивал, мысленно забегал вперед. Один раз чуть не умер, так было плохо. Держался двумя руками за хлипкую грудину, в западне которой колотился больной зверь, и стонал. Но она и тогда не обернулась:

— Слишком много женщин, Захар. Слишком много. А мы ведь сестры смерти, не задумывался? Мы стоим с нею бок о бок на воротах жизни. Впускаем сюда, а она — обратно. И если что, можем договориться поменяться ненадолго местами...

Как назло, в памяти легко возникали ягодички попрыгуньи Тамары, вислый зад завуча, какие-то ляжки, бедра и груди давно позабытых женщин. И ни одного лица. Он чувствовал себя, как в лавке мясника и сатанел от обилия безголовой плоти. Зато рожи сокамерников все время придвигались слишком близко. Душно, тесно, не спрятаться. Самое неприятное заключалось в том, что ни воображаемое, ни реальность переключить на другие каналы не получалось. Руке не хватало пульта, и он сжимал и разжимал кулак в бессильной злобе.

В тюрьме его вдруг навестила тетка, которую не видел несколько лет. Посеченная временем, худая, отчего зубы казались еще больше, она коротко взглянула ему в лицо, положила ладонь на его руку и долго горестно молчала. Но он смотрел на эту сухую лапку с недоумением. Пьяный отец как-то больно жал ему кисть, уверяя, что он не мужик. Много раз держал девушек за прохладные ладошки, похожие на выловленных в пруду рыбок. Одна рыбка встала перед ним на карачки и облизала по очереди каждый его палец, он тогда очень возбудился. Но никто никогда не клал свою ладонь поверх его и не молчал сочувственно. Если бы во времена клетчатых табуретов и отколотых носиков тетка бы сделала нечто подобное... Ведь тогда он был мягкий, как чернезем. А теперь что? Стылая земля, и колом не разбить...

— От носков больше не воняет? — хмуро спросил он и убрал руку в карман. И вдруг вспомнил широкую чудовскую лапу, накрывающую хрупкую зоинову ручку. Неужели это то самое, что так сильно ее влекло?

В сентябре, через год после появления Саюна, в котельную вдруг спустился ректор. С брезгливостью поглядел на засаленные штаны Захара и остановился поодаль:

— То был вечно пьяный Иван с одной рукой. Теперь ты — с двумя, но обе левые. Русские не умеют работать. То ли дело Саюн. Золото, а не человек... Так что, Захар... Ты это... Давай подыскивай себе новую работу и местожительство... Я и так сделал для тебя слишком много, памятуя наше студенчество... Кто бы еще взял на работу после тюрьмы?

В пятницу ушел Байрон, забрав с собой компьютер и полупустую сумку с вещами, и даже не попрощался. А к Саюну приехала жена. Они походили друг на друга, как две половинки сушеной сливы, и даже улыбались симметрично. Жена деловито принялась наводить уют: повесила ковер на одну из стен, пристроила пластмассовый таз с кувшином в угол, а трубы кокетливо прикрыла ткаными половичками. Однажды утром Захар проснулся и к своему удивлению обнаружил таджикскую чету в своей постели. Те спали на самом краешке дивана, тесно обнявшись и почти срастаясь плоскими лицами. Он отодвинулся и ничего не сказал.

Вечером по котельной разносились ароматы. Теперь уже Саюн подносил Захару тарелочку с пловом, и тот жадно ел. Потом втроем они садились рядком на диване и смотрели телевизор. Вскоре у одной из таджикских половинок начал расти живот. Захар недоумевал, когда они успели. Разве что почкованием? По мере роста живота он сдвигался к краю дивана, и вскоре вынужден был перебраться под трубу, на старое одеяло Саюна.

Он терпел все. Пока Саюн не взял в руки пульт и не переключил на другую программу. Дико заревев, Захар вскочил, схватил его за шиворот и поднял.

Внутри раскручивался столб смерча. Он вдруг вспомнил это колющее, режущее изнутри чувство и тот злополучный вечер, о котором не вспоминал столько лет. Еще немного подержал дрожащего таджика в воздухе и отшвырнул в угол. Жена заголосила и кинулась к ссыпавшемуся, будто деревянному, человечку.

— Суки, а! Вот суки! — Захар выдернул провод, сунул валявшийся на полу пульт в карман и, подняв телевизор, двинулся к выходу.

Да, да, в тот злополучный вечер он чувствовал нечто подобное! Но тогда не хватило сил удержаться и просто отшвырнуть в угол. И дело не в алкоголе. Захар никогда не пил. Отец отбил ему интерес к бутылке с детства. Последний год семейной жизни с Зоей он вместо водки усиленно вливал в себя бесконечные информационные потоки, вызывавшие незаметную глазу интоксикацию. И Гегемон Коля проступал в нем все отчетливее. Однажды Зоя заслонила собою экран телевизора в самый ответственный момент. Наши забили долгожданный гол, а он пропустил! Со злобы пнул ее, как заправский футболист, под зад. И она вдруг начала смеяться. Смеялась истерически и никак не могла остановиться, пока не утащил ее в ванную и не плеснул в лицо холодной водой. Ручейки воды залились ей в ворот халата, в ложбинку. Мокрая, она выглядела такой беспомощной. Он задрал подол халатика и овладел ею тут же, склонив над раковиной, благо был перерыв между таймами. Когда проигравшая команда уныло потянулась с поля, расстроенный Захар огляделся. В квартире стояла тишина. Байрон был тогда в школе. А Зоя исчезла.

— Сука! Опять у Чудова! Обещала ведь! Ну, я тебе покажу!

Выскочил из квартиры и побежал. Чудовский дом был в десяти минутах ходьбы. Злость с каждым шагом прибывала. Пыль, мусор, щепки поднимались со дна души и закручивались в спираль, так что щекотало в носу. Он схватил лежащую возле подъезда железную трубу и вошел внутрь.

На суде адвокат говорил про состояние аффекта, про неверную жену и наглого бугая-любовника, на две головы выше обвиняемого. Стиснув зубы, Захар молчал. В тот момент, когда чайник брызнул в разные стороны фонтаном осколков, а Зоя отлетела в сторону от удара ржавой трубы, а Чудов с разбитым в кровь лицом пополз к ней, чтобы братским жестом заслонить от продолжающихся сыпаться ударов, Захар твердо знал, что она с ним не спит. Он мучился совсем другим вопросом: что ввергло его в такую слепую ярость — нарушившая обещание жена или проигравшая команда, за которую он целый год так отчаянно, так надрывно болел?

Нет, к счастью, он их не убил. «Тяжкие телесные, — со вздохом говорил адвокат и прикрывал блестящие глазки. — Это дорогое удовольствие».

Когда отсидев положенное Захар вышел, то узнал, что Зоя вышла замуж, и вовсе не за Чудова, родила еще двоих и уехала в другой город. А у трудного подростка Байрона никак не получалось вписаться в новую семью, и он мотался неприкаянным между двумя городами...

В этот первый бездомный вечер Захар заснул в каком-то темном дворе, сидя на телевизоре и опираясь спиной о стену. Приснилась ему Зоя, не объявлявшаяся в его снах уже лет десять. Подошла к нему со спины и закрыла глаза руками. Он сразу ее узнал. И попытался обернуться, но она не дала, плотно держа ладошки на его лице. А потом начала говорить, щекая ухо своим дыханием. И говорила очень долго. Но он почти ничего не запомнил. Только два слова, которые она все время повторяла: «Другая любовь. Другая любовь...» Проснулся Захар, стуча зубами от холода, но лицо, как ни странно, горело.

Днем он почти не мог ходить по городу. Плотный поток пешеходов почему-

то все время двигался ему наперерез. Люди толкались, пихались, матерились вслед этой странной фигуре с расставленными кряжистыми руками, держащими телевизор. Один раз ему почудился в толпе вихрастый затылок Байрона, и он припустил следом. Но бежать с тяжелой ношей было невозможно. Остановился, заорал ему вслед. Несколько человек испуганно шарахнулись, парень затормозил у обочины, покрутил башкой с чужим носатым профилем и пошел на другую сторону. Захар опустил телевизор на землю и долго стоял, склонив голову, будто прощаясь с кем-то на краю могилы. Потом поднял ящик и медленно побрел дальше.

К вечеру чудом выбрался из клейкого, тянущегося, как жвачка, города и пошел вдоль шоссе. Оттянутые телевизором руки болели, сердце от вялого, прореженного стука вдруг переходило на галоп и рвалось из груди наружу, пустой желудок сжимался в кулак. Но Захар смотрел на себя словно со стороны, как будто это не его руки, сердце, желудок, а какого-нибудь героя из сериалов. Так можно было идти очень долго.

Ночь провел в овраге, привалившись к дереву и положив голову на телевизор. Проснулся рано и долго в него смотрел. Ветер качал кроны деревьев за спиной Захара, и они отражались на экране причудливыми бликами. Стало легче. Камень, давящий на сердце, вдруг отпустил, и оно, легкое, растрепанное, вырвалось на свободу. Достал пульт из кармана и понажимал на кнопки, но по всем каналам передавали лишь серые скользкие тени. Немного погодя, встал.

Подхватил телевизор и принялся карабкаться из оврага наверх, поскользываясь и падая. Он уже почти поднялся, как зацепился за какую-то корягу, рухнул на колени, а выпрыгнувший из рук телевизор покатился по склону, прыгая на ухабах и вертясь. С криком Захар бросился за ним, и его бедное, измочаленное сердце точно так же прыгало и вертелось.

Телевизор ударился о дерево, откатился на несколько шагов и замер, как убитый человек. Захар подбежал, перевернул его дрожащими руками и всхлипнул. Осколки мертвого экрана скалились на заходящее солнце.

Он долго плакал и гладил рукой разбитый телевизор, похожий на череп с одной пустой черной глазницей. Когда стемнело, лег рядом, повернулся на бок лицом к пластмассовому коробу и закрыл глаза. И вдруг почувствовал, как кто-то теплый прижался к его спине и обвил руками. Будто тот давний сон из студенческой юности вернулся: такой умиротворенный, такой волшебный... Он лежал и не смел пошевелиться, а потоки любви пронизывали его тонкими иголочками счастья.

— Кто ты? — тихо шепнул.

— Та, кто давно тебя поджидает.

— Зоя?

— Нет, ее сестра.

— Она про тебя говорила... Ах, вот ты какая... Ты полна любви. Другой любви...

Он закрыл глаза и перед ним пошли вереницей Зоя, Байрон, Чудов, отец, тетка, Саюн под руку с женой, Лермонтов, английский лорд с тростью и еще кто-то: то ли люди, то ли литературные персонажи, которых он с радостью узнавал. Нелепые, смешные, родные, любимые... любимые... любимые...

Совершенно упокоенный, он повернулся к смерти лицом, обнял ее, и они понеслись в быстром танце куда-то в бездонную пропасть.

Сердце летчика не бьется

Я вышел из брифинг-офиса и зашагал вдоль стеклянных окон. На поле садились и взлетали, словно стрекозы, игрушечные самолетики. Густой, насыщенный звук большого аэропорта раскачивал воздух.

Ребята болтали с бортпроводницами и смеялись, настроение у всех было предпраздничным. Я подошел к экипажу, и ко мне тут же устремились нетерпеливые взгляды. Не смотрела только Надя. Отвернулась в сторону подчеркнуто равнодушно, будто что-то рассматривала на пустой стене. Но я знал — маленькое ухо, за которое она быстрым движением заправила кудрявую антеннку, принимает малейшие радиосигналы.

— Ну как, Андрей Сергеевич? — не выдержал паузы штурман. — Как погода-то?

Штурмана в Москве ждала молодая жена, шампанское, оливье и теща — именно в этой последовательности от приятного к неизбежному. Но все же лучше теща, чем холодный гостиничный номер в новогоднюю ночь.

— Нелетная. Метель, — сказал я спокойно. — Москва не принимает.

— А запасной аэродром?! — не унимался штурман.

— Тоже закрыт.

— Неужели не успеем?! — заволновалась стайка бортпроводниц. — Тут придется встречать?!

— Еще восемь часов впереди, — успокоил их Миша, второй пилот, и посмотрел на Надю — ему было все равно где, лишь бы к ней поближе.

Надя же сияла глазами в мою сторону. Вырвавшиеся на свободу пружинки торжествующе стояли дыбом. Она любит, когда все случается, как она задумала. Утром, наверное, орудовала иголкой, чертовка.

— Все, ребята, — скомандовал я. — Едем в гостиницу отдыхать.

Я вышел первый. Расстроенный экипаж и бортпроводницы, подхватив сумки, потянулись следом. Все, кроме Нади, надеялись на скорое возвращение.

В автобусе она уселась ко мне на последний ряд.

— Признавайся, — усмехнулся я, — штопала носки с утра?

— Вот уж не думала, что командир корабля верит в дурацкие приметы, — засмеялась Надя, и я окончательно убедился в своей догадке.

— И пассажиров не пожалела. Оставила всех без праздника.

— А что мне их жалеть? Если даже ты, самый близкий человек, меня не жалеешь, — ее голос из веселого мгновенно сделался обиженным. — Тебе наплевать, что я все праздники одна... — она уверенно встала на накатанную лыжню, чтобы оттолкнуться и поехать по привычному маршруту обвинений.

— А я так больше не могу!

Я скосил глаза к окну. Унылые, типовые постройки окраин Рима тянулись вдоль дороги. Последнее время звук Надиного голоса милостиво приглушали, будто кто-то закрывал мне уши руками. Первый раз я даже растерялся: ее губы шевелились в излюбленном монологе, но я едва разбирал слова. Потом со страхом ждал звуковых перебоев за штурвалом, но, к счастью, ничего подобного. Сердце, правда, пару раз прихватывало. Да и на квартальной комиссии отоларинголог Нина Аркадьевна долго качала головой, изучая показатели барокамеры. Я стоял со снятыми наушниками в руках, ожидая диагноза. Но диагноза она мне не поставила. Проштамповала «здоров» и строго сказала:

— Полетайте пока, Андрей Сергеевич.

В автобусе ребята развеселились. Кто-то достал бутылку шампанского, прихваченного в дьюти-фри. Бортпроводницы хохотали. Штурман громко, с нотками отчаяния в голосе, говорил по телефону. Миша изредка поглядывал через весь автобус на Надю. Все знали, что у меня с ней роман, но это не мешало второму пилоту ее тихо обожать.

— ...Ненавижу Новый год. Из-за тебя ненавижу, — вдруг возник Надин голос. — Либо сделай, наконец, выбор, либо я...

И снова кто-то милосердный прикрутил громкость, оставив меня наедине с мыслями.

Надю мне вручили на сорок восьмом году жизни словно подарок. Два года мы были непринично счастливы. Первый долгий рейс в Чили: по неделе в Дубае, Майами и самом Чили — останется в моей памяти навсегда так же, как и первый, самостоятельный полет в летном училище. В постели Надя показывала высочайший «пилотаж». Жена Маруся за долгие двадцать пять лет супружеской жизни такого не «налетала». Однако последнее время я все чаще чувствовал неподъемную тяжесть ноши. Но разве подарки назад возвращают?

— Андрей, ты меня слышишь?!

Я очнулся.

— Да.

— Я говорю — идем гулять! — она сунула руку в карман моих брюк, погладила сквозь трусы. Горячая волна опрокинулась за шиворот, затопила меня всего. Шепнула на ухо: — Новый год в Риме — это так романтично. Только ты и я...

Я усмехнулся — я уже привык к перепадам ее настроения.

Мы неторопливо брели к площади «Испания». Неожиданно пошел редкий, мелкий снег, словно укутанная метелью Москва передавала нам привет. Обогнув фонтан, остановились у подножия лестницы. Несколько туристов фотографировались неподалеку. Надя расстегнула мою куртку и спряталась в ней, как в палатке. Обвила меня руками, уткнулась лбом в грудь.

— Замерзла?

— Почему у тебя сердце не бьется? Может, ты умер?

— Сердце летчика не бьется, оно ровно гудит, как исправный мотор, — пробормотал я Марусину любимую присказку.

Надя прижалась теснее. Ее волосы щекотали мне лицо. Я зарылся в них, принялся. Рыжие, непокорные, они пахли молодым, норовистым животным. Кобылка. Самая настоящая. Крепкая, ладная. И все у нее прикручено, приверчено правильно. Будто придумана Всевышним исключительно для моего наслаждения. Я жарко поцеловал ее в висок. Надя подняла голову, взглянула хитро — знает, что своей близостью неизменно меня волнует. И вдруг ловкими пальцами расстегнула мне китель, рубашку и, быстро распахнув свою дубленку и блузку, прижалась голой грудью к моему животу. Обожгло, как огнем. Я вздрогнул, посмотрел по сторонам. Но никому до нас не было дела. «И даже белье успела скинуть в отеле. Вот оторва, — поразился я. — Марусе бы никогда не пришлось такое в голову».

— А теперь неровно, — засмеялась Надя. — Мотор неисправен.

Мы стояли, обнявшись. Снег охлаждал мое запрокинутое лицо, а кожу пекло от прикосновения ее тела. Покореженный мотор стучал в груди, захлебываясь в перебоях.

— Пойдем? — Надя кивнула в сторону отеля. Губы у нее увлажнились, будто смазанные. Глаза мягко сияли. Вся, как леденец, облитая блеском желаний, она выглядела невероятно соблазнительно.

Я никогда не мог устоять, но сейчас вдруг мотнул головой. Идти никуда не хотелось. Стоять бы так вечно, недвижимо, ни о чем не думая. «Пора тебя,

ветеран, списывать на дачу, морковку сажать», — снова подумал я Марусиными словами и усмехнулся.

Последнее время между мной и женой побежала трещина. Она и раньше была — тонкая, паучья, едва заметная, — но вот уже год, как трещина начала шириться. Маруся будто чувствовала, что телом я принадлежу другой женщине, и весь наш дом, уклад, двое детей — Саша и Олечка, дача, на которой мечтал поселиться на пенсии, чтобы выращивать эту самую морковку — все грозило сорваться в темноту. Да и сам я, разделенный на дух и материю, между небом и землей, между изматывающим телесным желанием к Наде и безмятежной любовью к Марусе, маялся неприкаянный.

— Мне надо поспать, — сказал я.

Надя сердито отстранилась, застегивая пуговицы:

— К черту! Все к черту!

В семь утра, наконец, дали разрешение на вылет. Измученные, сонные пассажиры, успевшие и напиться, и протрезветь, загружались в самолет.

— Прошу разрешения на запуск двигателя... — выпавшийся, бодрый, я был сосредоточен. — Прошу разрешения на руление...

«Прощай, Фьюмичино!» — я вывел самолет на рулежную дорожку.

Заняли заданную высоту, включили автопилот. Самолет парил между перистыми облаками. Длинные, тонкие ряды сходились за горизонтом, будто целая эскадрилья пронеслась, оставив за собой инверсионные следы. Сломанный мотор в груди вдруг прокрутился и уколол чем-то острым: а ведь это мои самолеты пролетели! Самолеты, которые я любил, и которые мне уже никогда не водить по небесным дорогам.

Як-40, Ан-24, Ил-18, Ил-62. И самый первый, учебный, Л-29, ласково называемый курсантами «Элочка».

Я закрыл глаза и увидел «живую» Элочку. Она была именно живой, а не выцветшим воспоминанием. Запустила двигатель, немного погазовала на стоянке и резво порулила к взлетной полосе. С повлажневшими глазами я смотрел, как маленький самолет взлетает, набирает высоту, затем раз за разом проходит над полосой и, наконец, мягко раскрутив колеса, а не по-курсантски с «плюхом», приземляется на бетон. Я подошел и погладил теплую после полета обшивку, посидел в маленькой уютной кабине. И хотя не летал на Элочке уже тридцать лет, руки привычно легли на рычаги управления, глаза быстро отыскивали нужные приборы и тумблеры...

— Хотите чаю, мальчики?

Миша обернулся, пожирая Надю глазами:

— С удовольствием!

И так же, как живую Элочку, я вдруг увидел, не поворачиваясь, как Надя закусил нижнюю губу, мазнула Мишу взглядом и чуть дольше, чем надо, задержала на его плече пальчики. Я слишком хорошо знал ее позывные. Эта женщина дышала не воздухом, а мужским вожделением.

«Подарки не возвращают, — подумал вдруг я, — но зато уступают тем, кому они нужнее».

— Товарищ капитан!

— Да?

— С вами все нормально? — Миша выглядел встревоженным. — Зову вас, а вы не слышите.

— Я слышу, — сказал я. — И со мной все нормально.

Я встал, потрянул головой и вышел в туалет ополоснуть лицо. Начиналась «собачья вахта» — самое сложное время в полете, когда глаза слипаются, хоть спички вставляй.

«Годовую комиссию не пройти», — подумал я и вытер лицо бумажным полотенцем.

На пороге возникла Надя. Играя лукавыми глазами, она чуть наклонилась вперед, так, чтобы в вырезе блузки была видна грудь, и уперлась рукой в округлое бедро.

— И когда у нас следующий вояж? — спросила мягко, растягивая гласные, тем самым вкрадчивым голосом, от которого у меня обычно сводило в паху.

Я скомкал полотенце и бросил в урну.

— Вылетался я, Надюша... — погладил ее по волосам, щеке, чуть задержался на губах. — Прости... — и пошел в пилотскую, не оборачиваясь. — «Мне пятьдесят. И восемнадцать тысяч часов налета за спиной. Пора глушить мотор».

Солнце не вставало, оно выкатывалось. Вот забрезжил серостью горизонт. Превратился в полоску от края до края. На стыке далекого неба и бескрайнего моря начался перелив всех цветов радуги: темно-синий, лазоревый и до ярко-красного, переходящего в оранжевый. В последний миг, перед тем как появился ослепительный краешек, выстрелил сочный зеленый луч. Я ждал этого мгновения. Мгновения, свидетелями которому бывают только летчики и моряки. Неужели я его больше не увижу?..

Поправив на плече сумку, я потянул на себя подъездную дверь, поднялся по ступеням на второй этаж и достал ключи. Последние пару лет я не будил Марусю — она мучилась бессонницей, пила на ночь снотворное, да и, честно говоря, мне не хотелось видеть ее вечно печального, будто убегающего в сторону взгляда.

Я подержал ключи на ладони и вдруг сунул их в карман. Подняв руку, решительно нажал на кнопку звонка, выдав три фирменных коротких позывных. Дверь мгновенно распахнулась. На пороге стояла Маруся. В ночнушке, босиком, опустив вдоль тела худые, узловатые руки, она испытующе глядела на меня. Я снял фуражку и, не двигаясь, молча смотрел в ответ. И ее лицо вдруг осветилось улыбкой — медленно, начиная с радужки, захватывая голубоватые белки глаз, подсвечивая щеки, губы, растягивающиеся в нежной улыбке. Глядя на нее, я вдруг понял, на что похож тысячу раз виденный мною рассвет. Мне стало очень спокойно, очень легко — я, наконец, вернулся домой...

— Чистый белок, — Надя ловко поставила перед Мишей поднос с едой, слегка задев его плечо грудью. — Очень полезно для потенции.

Миша засмеялся и с опаской покосился на капитана. Тот сидел неподвижно, в странном оцепенении, уставившись вперед.

— Андрей Сергеевич!

Медленно, словно в кино, тот вдруг повалился вперед.

— Товарищ капитан!

С усилием оторвав вцепившиеся в штурвал руки, Миша подхватил его под мышки и стащил на пол. Фуражка слетела с запрокинутой головы и откатилась в сторону. Он аккуратно уложил его на пол в тесной кабине. Надя что-то кричала, мешала, и Миша грубо отпихнул ее локтем.

— Какой ближайший аэропорт? — он повернулся к штурману. — Срочно запрашивай экстренную посадку!

— Дышит?

Миша ничего не ответил и попытался расстегнуть китель негнувшимися пальцами. Но ничего не получалось. Тогда он с силой рванул за ворот, и пуговицы с треском посыпались на пол.

Даур Начкебия

Послание

Рассказы

С абхазского. Перевод автора

Гость

До сегодняшнего дня я был единственным обитателем и хозяином этого дома. Но с недавних пор у меня ощущение, что в нем поселился кто-то еще. На днях я окончательно уверился в этом: прибор для бритья, оставленный мной, как всегда, чистым, утром нашел в спекшейся мыльной пене и грубых волосах.

Я прошелся по комнатам, и повсюду мне попадались следы того, кто решил занять мой дом. Раньше я не замечал, но по всему было видно, что он давно уже вольготно обосновался тут. И я вспомнил: как среди ночи был разбужен непонятным шумом, а в другой раз, когда возился с книгами — счищал с них мелкую пыль и бережно ставил на место, услышал, как громко хлопнула одна из дверей. Я решил — ветер, сквозняк, потому что не мог и подумать, что кто-то осмелится без спросу зайти в мое жилище. Да и как он зашел бы, если ключи были только у меня одного.

Как бы то ни было, он зашел и, похоже, не временно, а на правах нового хозяина. Все говорило об этом. Гость не ведет себя так развязно, он знает, что нельзя злоупотреблять терпением хозяев, потому тих, спокоен, не повышает голоса, не вмешивается куда ему не следует, словом, знает свое место. А этот же нагл: переставил мебель, поменял обои, на место моих скромных цветов поставил какой-то мерзкий радужный букет...

Будто этого мало, уходя, он оставлял все окна нараспашку, а двери никогда не запирал. Слыханное ли дело! Ведь могли забраться воры и просто чужие. Я

Начкебия Даур Капитонович родился в 1960 году. По образованию физик, окончил Тбилисский государственный университет. Автор сборников рассказов «Предчувствие» (Сухум, 1989) и «Дерево» (Сухум, 2005), романа «Берег ночи» (Москва, 2007) и книги публицистики «Лицом к лицу» (Сухум, 2005).

Роман «Берег ночи» переведен на грузинский, хорватский, армянский языки. Один из авторов-составителей книги рассказов писателей Южного Кавказа «Время жить» (Майкоп, 2003), посвященной межэтническим конфликтам.

Работает министром образования непризнанной Республики Абхазия (Апсны). Живет в Сухуме.

в последнее время не покидаю свой дом, но и раньше, когда изредка выходил, двери и окна закрывал плотно, на ключ.

Все, что было в доме, было моим, потому требовало особенно бережного отношения.

Но кто-то хотел пустить все мои труды насмарку, и я не знал, как выдворить его. Сперва мне показалось, судя по его поведению, будто он знает, что он — не хозяин, потому так небрежно относится ко всему. Иначе не оставлял бы двери незакрытыми, не стряхивал бы где попало пепел от сигареты — дом мог загореться. Нет, не похож он был на человека, решившего стать хозяином дома, все он делал играючи, не думая.

Каждое утро он куда-то уходил, видимо, на работу. И тогда в доме и в моей душе воцарялся покой. Как прежде!

Но вот возвращается к вечеру, и не один, а с друзьями, и всю ночь — пение, танцы... Бедный дом дрожал. Не раз думал я зайти к ним и отрубить их, выгнать даже. Но сдерживал себя — все надеялся, что он уберется подобру-поздорову. Ведь должен он когда-то понять, что таким, как он, перекатиполье не место здесь, и тогда он потихоньку соберет свои вещи и будет таков.

Но как бы не так! День ото дня он становился все нахальнее: то уронит что-то, то хлопнет дверью, то громко говорит с кем-то по телефону... Будто меня нет вовсе.

Однажды я понял, к чему вся его бурная деятельность в последнее время. Все, что я собирал годами, он вынес из дому, и занес новое, свое.

Это было уже выше моих сил. Настало время лицом к лицу сойтись с ним и поставить точку.

Я напряг слух, чтобы разведать, где он. Из отдаленной комнаты послышалась возня. Я рванул туда, но пока я дошел, он — в соседнюю комнату. Напевал какую-то песенку, довольный собой.

Я никак не мог догнать его, примечу его беззаботную самоуверенную спину — она тут же исчезает, словно растворяется в воздухе.

В этой долгой одышливой погоне я случайно задел, и он упал — стул.

Я стал как вкопанный: упавший стул не издал ни звука. Я поднял его и с размаху хватил им об пол. Он развалился жалко и неожиданно хрупко, поломанными ножками разлетаясь в стороны, но опять из его горла — ни единого звука.

В доме — в моем доме! — не было слышно меня.

Я рванул к зеркалу. Зеркало было моим надежным прибежищем — оно никогда не лгало, оно всегда подтверждало. Но сейчас и в услужливом зеркале я не нашел себя, я был вычеркнут, вернее, стерт с его спасительной глади. Оно сквозь меня отражало все, что видело, но не меня.

А песенка того все доносилась.

Я не мог уже оставаться в доме. Я распахнул тяжелые двери и вышел за порог.

Меня ждала тьма, непроглядная тьма...

Послание

В послании было сказано, чтобы я в таком-то месте и в такое-то время ждал его.

До назначенного срока еще далеко, но я не удержался и пришел раньше. Встреча наша слишком много значит для меня, и потому, как услышал о ней, не знал покоя, торопился.

Вначале, когда я понял, куда он клонит, я был ошеломлен, долго не мог поверить, что это относится ко мне. Зачем? Почему? Правда, я всегда жил в предчувствии чего-то подобного — что в моем странствии стынь этих слов рано или поздно меня нагонит. Но не думал, что их разящий смысл будет таким неожиданным и тягостным.

Я решил увернуться от встречи, выбрал другие, не мои, пути. Мне казалось: хоть время и вело к неминуемому сроку, избегнув назначенного места, может, я избегну хоть малости того, что назначено мне.

Так я исходил множество дорог, и жил долго в тумане...

Но в один день я понял: в послании указано, что это я должен явиться вовремя, не опоздать. Меня ждут. Не стоит упрямиться, надо идти туда, куда ведет тебя твой путь.

Моя ноша стала легче, словно поток подхватил. Да и послание не казалось уже таким тягостным, было любопытно, возможно ли его исполнение.

И все же временами меня разбирало сомнение: а было ли оно, послание?.. Не придумал ли я его, не обманываю ли себя?..

Но постепенно я поверил, что послания не может не быть, и с тех пор я уже спешил на встречу...

Я слышу его шаги, которые ни с чем не спутаешь. Меня ждало что-то важное, не то, что было до сих пор, и я был готов принять его.

Он все ближе и ближе.

Подошел.

Передо мной стоял тот, чье послание я получил, и он был — я...

Дерево

роман

вырубив леса по всей земле люди взяли в кольцо последнее дерево каждый из них держал по топору и казалось они растут прямо из их туловища и были они так остры что могли волос тонкий расколоть на части отдельно же от всех в молчаливой гордыне стоял предводитель который левой рукой прижимал к груди огромную книгу а в правой его руке колыхалось знамя с багровым тесаком на зеленом поле и холодные льдинки его глаз смотрели в неведомую даль и не видели того с какой решительностью взрезалось дерево в слепящую синь небосвода и макушка его терялась в заоблачной выси отчего люди замерли в испуге и не только они даже росшие из их туловищ топоры сникли вдруг без

прежней свирепости потому что с таким исполином было совладать не так легко и немигающе смотревшие поверх голов глаза предводителя застыли потому что напряженное молчание толпы встревожило его и он спрашивал себя что бы это значило и сердце подсказывало что они столкнулись с доселе невиданным но он не знал с чем это связать с небом ли о котором они толковали непрестанно или же с деревом которое они люто ненавидели но как бы ни было ждать нельзя надо что-то предпринимать и в это время некто вышел из толпы и встал перед народом и он не держал топора что всех удивило несказанно и они с презрением оглядели его с головы до ног потом вновь уставились на дерево но когда он заговорил нехотя обернулись к нему и удивились вновь но на этот раз гораздо больше так как он сказал что не надо убивать дерево и слова эти были страшны для них и они возмущенно зашумели потом воззвали к предводителю и предводитель не дав остыть их праведному гневу спросил слышали ли они что сказал некто а люди услышав голос предводителя утихомирились и замерли обратившись в слух ибо вот уже долгие месяцы как они заприметили вдаль колышущуюся в мареве над горизонтом тень дерева и шли к нему через пустыню не зная устали но дерево было все так же недосыгаемо словно с каждым их шагом отдалялось все дальше и дальше но не это их угнетало ибо до дерева они и так добрались бы рано или поздно а угнетало их равнодушное молчание предводителя потому что молнией пронзавший их дерево сердца родной голос его давно не слышали потому были подавлены а он во время отдыха не видя никого вокруг утыкался в книгу и когда трогались в путь вновь шествовал впереди так они достигли распластанной по пустыне громадной тени дерева и в их рядах стал раздаваться сперва робкий но час от часу набиравший силу ропот и он прослышав об их недовольстве пригрозил тогда если не уймутся лишит их топоров и они довольные тем что предводитель снизошел до них и заговорил весь остальной путь до дерева только о том и говорили какой большой души и какого большого ума их предводитель как он заботлив что отец родной как печется о них и если вдуматься в его на первый взгляд резкие слова о том что отнимет топоры то поймешь глубоко запрятанный в них смысл призывающий собрать все силы и держаться так как недолго осталось до цели и дерева они достигли полные решимости и вот опять он заговорил и они дружно ответствовали ему что слышали несправедливые слова некоего на что предводитель сказал что они больно ударили по их сердцам что как кулак были они едины до сегодняшнего дня что они идут путем указанным предками идут к заветной цели что остался только шаг что не могут позволить кому бы то ни было сбить их с истинного пути и что человек этот их враг и слова предводителя сплывали людей в отлитую пулю и люди ощущали в себе такую мощь что им казалось что само небо смогли бы сорвать с выси и прижать недвижно к земле и вдруг опять раздался голос бестопорного который повторил что не надо убивать дерево что он слышал от деда будто люди происходят от дерева и сказано было это в книге в настоящей книге дед читал ее на что предводитель сказал что бестопорный врет потому что есть только одна настоящая книга и он поднял книгу которую держал прижатой к груди и показал толпе и толпа возопила от восторга но бестопорный не унимался утверждая что была еще другая книга и в ней было написано что жизнь в смычке сна и яви что день без дерева неполный день что если день неполный то и сны человека неполны и тогда предводитель спросил что означает сон кто его видел и толпа дружно отвечала что никто никогда не видел снов но

бестопорный стоял на своем доказывая что в той настоящей книге говорилось о снах любви и смерти на что предводитель возразил что нет смерти с нею давно покончили и толпа с ликованием подтвердила что смерти нет и некоторое время было тихо и дерево все так же решительно взрезалось в небо не обращая внимания на людей и вдруг заговорил предводитель сказав что не может решиться повторить слова этого безумца потому что они могут как зараза поразить их и об этом предупреждает книга в ней есть список слов которые вредны которые надо забыть выкинуть и он открыл книгу и уставился в нее и сказал если кто не верит пусть подойдет и посмотрит и толпа с обидой на это сказала что они верят своему предводителю и они заволновались не понимая в чем провинились что он заговорил с ними так и сомкнули головы посовещались потом один из них вышел и встал перед предводителем и попросил чтобы он простил их глупых недалеких если они по своему неразумию ранили его большое сердце в котором умещается такая любовь к ним и предводитель некоторое время хранил молчание дав народу поволноваться потом закрыл книгу прижал к груди и как ни в чем не бывало сказал что бестопорный трус потому что без топора а люди были в недоумении что предводитель ничего не ответил на их просьбу но когда он заговорил так словно ничего не случилось они пришли в себя и дружно возгласили что бестопорный и вправду трус что он бросил топор что он предатель а бестопорный продолжал свое будто не слышал угроз толпы и говорил о том что мы те же деревья которые когда-то вырвали свои корни и двинулись по земле потому что даль звала нас мы хотели испытать ее и так мы свернули с назначенного пути и кто знает если мы не тронем это дерево может сумеем вернуться к себе на свое место и загладить былую ошибку но предводитель не дал договорить ему сказав что смотря на дерево они всегда чувствовали себя жалкими и ничтожными что дерево всегда унижало и презирало их и толпа заревела что дерево всегда унижало и презирало их и опять установилась тишина и тогда предводитель сказал что они всегда жаждали неба и подумал про себя что и он наконец увидит небо и поймет что они такого в нем нашли и тогда толпа вдруг забурилась задвигалась сорвалась с места и растоптав предводителя и бестопорного с криками неба неба ринулась к дереву а ветер трепал пустые листья книги лежащей на земле

Волк

— Раньше было иначе — немало хищников водилось в лесу. Большой наносили урон: скотина, что не вернулась вечером, считай, пропала — на следующий день находили одни лишь обглоданные кости...

Дедушка и сегодня свою историю, которую он рассказывал не первый раз, начал как всегда, если не считать некоторых изменений. Так, при последнем пересказе зачин был немного другой: «Прежде в наших лесах обитало много различного зверья. Большой вред наносили крестьянам: ночью застрянет скотина в лесу — утром обязательно найдут загрызенной».

Сегодня у дедушки и голос был другой — усталый. Наверное, оттого, что весь день работал в саду — обстригал яблони, подправлял забор.

И осевший голос дедушки, и новые слова, иной порядок прежних слов —

для мальчика все имело значение, все было полно скрытого смысла. Всякий раз эти незначительные изменения будили в его сердце надежду: нарастая от рассказа к рассказу, они со временем отменяют конец — то, как дедушка убивает волка. Неважно, как это произойдет — или он промахнется, или ружье даст осечку, или волк не попадет в засаду.

Качнет дедушка головой, сделает упор на какое-то слово, взглянет на него, жадно слушающего, — все примечалось мальчиком. Ему казалось, что и новые слова, каждый раз вторгающиеся в дедушкин рассказ, преследуют ту же цель: уберечь волка от неотвязно преследующей его пули. Да и дедушка тоже к тому правил свое повествование: к концу речь его замедлялась, шла с натугой — словно хотел забыть давнишний случай, хотел, чтобы у этой истории было иное завершение.

Дедушка боролся с собой и со словами. Но всякий раз что-то более сильное побеждало его.

Может, сегодня будет по-другому, и слова в своем течении пробегут мимо последнего «я убил волка»?

— В тот год стояла необычайно суровая зима. Снегу навалило по колено, не сходил долго, промерз насквозь — твердым, как камень, слоем покрывал землю. Зверье в поисках пищи спустилось с гор, где стояли лютые морозы, в низовья, в наши леса. Ночами, но, бывало, и днем волчьи стаи рыскают по селам, зазевавшуюся скотину тут же рвут. Одного-двух не в меру дерзких волков подстрелили, но легче не стало: скот задирают так же, несем убытки. Тогда сельчане решили устроить на хищников облаву. А делалось это так. По одну сторону леса в засаде располагались охотники, по другую — с шумом входили в лес остальные, распугивая зверей. Те в страхе давай бежать от них туда, где засада...

Дедушка подложил дров в огонь и прислушался. В подсобке стояла тишина. До этого было слышно, как она мыла посуду: стаканы, тарелки, ложки... Наверное, полотенцем высушивает их, решил старик.

Когда донеслось старухино шарканье, он продолжил рассказ.

— Я с детства пристрастился к охоте. Лишь выпадет свободная минута — ружье на плечо и в лес. Мне везло, Ажвейпш¹ был ко мне благосклонен. Со временем заимел славу удачливого охотника, чей глаз остер, а пуля разит наповал.

Он приготовил порох, сам отлил пулю (картечью убить невелика хитрость, а вот одинарной пулей — тут сноровка нужна), до блеска вычистил ружье. Разного зверья на его счету было немало: кабаны, олени, косули, туры, медведи, чьи шкуры, ветвистые рога, загнутые клыки украшали их акуаскья², — но волк еще ни разу не попадался. Будто заклятье висело над ним — завидев волка, он даже и курок не успевал взвести, не то что выстрелить. Зверь мигом испарялся, будто не он, а его призрак явился ему. Навскидку сбивал пролетающую птицу, а с волком...

По молодости очень переживал дед свое невезение. Как он посмотрит в глаза односельчанам, если удача и на этот раз повернется к нему спиной?!

С рассветом люди вошли в лес. Охотники, или просто имевшие ружье и

¹ Божество охоты (абх.).

² Большой деревянный дом на сваях (абх.).

умевшие стрелять — те засели в засаде. Остальные подняли невообразимый шум, спугивая зверье.

Он расположился в развилине огромного дуба, под которым проходила узкая тропинка.

Небо сыпало мелким снегом. Позже много выпало его, и похолодало сильно, но в тот день природа будто сдерживала себя. Голыми ветвями расчертив воздух, одинокие, чужие друг другу стояли деревья.

Ждать пришлось долго. Голоса загонщиков подступали все ближе, несколько выстрелов пронзили морозный воздух, но в его сторону никакой зверь не показывался. Лишь пара зайцев пугливо нырнула в кусты, да лиса пробежала тропкой, раза два опасливо оглянувшись.

Он уже потерял было надежду, как вдруг... увидел его!

Он шел по тропе прямо к нему. Рослый, гордый, волк трусил не спеша, иногда брезгливо, нехотя поворачивая голову в сторону выстрелов. Суровая зима, нехватка пищи изрядно сказались на нем — был худ, из-под полинявшей шерсти выглядывали суставы. Но это не могло скрыть того, что волку неведомы ни упадок сил, ни упадок духа.

Когда волк приблизился на расстояние выстрела, дедушка присвистнул коротким сильным свистом. Волк стал как вкопанный, вскинул голову и огляделся. Он смотрел без страха, и на миг дедушке показалось, что их взгляды встретились — и желтые волчьи глаза холодно, безжалостно, с непонятным укором посмотрели на него.

Он выстрелил.

Волк подпрыгнул. Отлетел на несколько метров. Упал. Затих.

— Прямо в голову попал...

«Веретеном закружился на месте и упал», — сказал дедушка при последнем пересказе. Да еще: пока он сидел на дубе, «тучи разошлись, и между ними проглянуло солнце». Но самое удивительное — была опущена чуть ли не половина рассказа:

«Вот уже три зимы этот матерый волчище не давал селу покоя: то быка задерет, то лошадь, то ураганом ворвется в козье стадо и половину удавит. Видные охотники что ни делали, но не могли застрелить его — сроду не знавшие промаха, стоило им взять его на мушку, как их пули летели мимо. "Большой!" — в один голос твердили они, описывая волка.

Он слушал, но не очень верил, считал все это выдумками незадачливых стрелков. Не верил, пока волк не загрыз их огромного белого буйвола. Стало ясно: в их лесах завелся невиданный доселе зверь.

Раз посреди ночи его разбудил дикий вой. Кричать так могла лишь сама ночь, которой стала невогнута собственная тьма. Казалось, воющий одиноко во мгле зверь исторгает из себя всю боль мира.

Он резко присел на кровати. С него струился холодный пот.

Назавтра в селе только и говорили о ночном происшествии, внушившем всем ужас.

Ужас испытал и он. Стоило ему вспомнить тот вой, как сердце начинало бешено биться. Он нарисовал себе образ волка: могучий, красивый, страшный...

И он решил убить зверя. Сердце говорило: им вдвоем не ужиться под луной: или он, или волк...»

Потом они вышли из амацурты¹ и направились к акуаскья, где должны были спать.

— Всякими небылицами стращаешь мальчика! — проворчала бабушка. — Постарел, а ума не нажил...

Когда в амацурте потушили свет, их объяла ночь. Вначале он решил: ночь не даст им и шагу сделать — так густо, неуступчиво обступила она их. Но дедушка, который держал его за руку, запросто пошел вперед — и ночь разомкнула объятия, отступила, дала дорогу.

Мальчику подумалось, что сияющий след их тел пролегает сквозь тьму, и он оглянулся. Но позади них ночь тут же обрушивалась, накрывая собою все незримое.

Мальчик снизу взглянул на деда. Он терялся где-то в вышине, среди мигавших звезд. А грубая, тяжелая рука его постепенно покрывалась нежным пушком, ногти — росли и заострялись; но они не вонзились в мальчишечью ладонь, а бережно, с любовью коснулись ее.

Мальчик опустил было голову, но потом вновь поднял ее и посмотрел наверх. Там, наверху, затмевая звезды, блестели волчьи глаза — глаза деда.

Мальчик крепко прижался к деду...

И настал день

1

Раз Баджга позвал сыновей и сказал им: «Когда обрattu стопы свои прочь отсюда, несите меня не на кладбище отцов, а захороните в другом, неприметном месте, подальше от глаз».

На их памяти о женщинах и смерти отец никогда не заговаривал, его слова были неожиданными, они оторопели, не зная, что и подумать. Потому, наверно, запомнили их по-разному: старшему послышалось «заройте», младшему — «засыпьте».

Хоть в этом и разошлись они, обоим стало ясно: отец захотел, чтобы его, не обременив ничьим сочувствием, забросали землей и забыли напрочь.

Старший, Арчил, выучился кой-какой грамоте, и теперь город стал ему приютом. Пять дней был затерян он в его многошумье и суете, отбывал жизнь среди чужих людей. На шестой являлся к родным, прихватив хлеб, сахар, сладости, другую мелочь — то, в чем они нуждались. Выходных не пропускал, но для отца и брата его приезд всегда был как снег на голову. Случай человека, которого не ждут. Только сестра Нара, чья молодость уже опадала осенним желтолистьем, радовалась ему, как дитя, и в дни, что он пребывал дома, ее нежность и любовь оберегали Арчила.

И уезжал он точно так же: тихо, незаметно, как с заходом солнца исчезнувшая тень, не позволив никому привыкнуть к себе...

Арчил подумал: может, отец слышал голос, который, обратив его взор к приближающемуся концу, наполнил его уши нестерпимым гулом? Как бы ни

¹ Отдельный кухонный домик (абх.).

было, не придется ему отныне тащиться сюда каждую субботу, отныне... «Свободен».

Младший же, Ардашил, подумал о том, что неплохо бы, как справят годовщину отца, завести себе жену. Самое время. Должен ведь и он оставить след, неужели томящая его ночами сила обречена истечь впустую, не вызрев ни в чьем лоне?

2

Сасария свой возраст мерила не годами. «Стольких пережила, нан¹, царство им небесное!» — вздыхала она, когда спрашивали, сколько ей лет, и начинала перечислять их, пережитых. Не всех, конечно, кто на ее веку отряхнув с подошв своих прах этого бренного мира прошествовал в то самое царство небесное, а тех, кого она знала лично, кто был ей близок, родней, друзьями.

Разные ученые люди так интересовались ее многолетием, навещали с огромными портфелями, набитыми бумагами. Что-то записывали, удивленно качали головами, словно оттуда, из запредельности глядя на нее сквозь толстые стекла очков. Чему дивятся, порази их гром?! Что тут особенного?! Хотя, что скрывать, в глубине души Сасария тоже считала, что зажила на свете, что вдоволь насытилась горькой сладостью жизни, и уже не худо бы упрятать ее подальше от глаз.

Прибирая обычно по старшинству, Апсцваха², то ли от усталости, то ли от скуки, вдруг нарушал правило и забирал тех, кто вроде бы не подходил, отставив тех, кто на очереди. Может, и Сасария таким образом выпала из его поля зрения и осталась позабытой? Но Апсцваха лишь слуга, хотя, как всякий слуга, не прочь иногда посамовольничать, и связан по рукам и ногам: без одобрения сверху шагу не сделает. Раз так, почему Всевышний все отдалял уход Сасарии? Может, дело в ее призвании плакальщицы? Ведь ни одни похороны в округе не проходили без ее причитаний, здесь она не знала равных, и каждая семья, в которой поселилось горе, считала честью для себя присутствие Сасарии в скорбном ритуале.

Наступило время, когда она очутилась в страшном одиночестве — вокруг никаких знакомых лиц, все повально чужие... Но постепенно стали появляться люди, похожие на тех, кого она считала безвозвратно ушедшими и кто был запрятан глубоко в ее памяти. Будто исходив свой потусторонний путь, они вновь топчут посюсторонний. И обликом, и поведкой, и судьбой они повторяли тех, первых. Имена носили современные, но вот они, давние знакомцы: Тамбей, Бардгу, Шханыкуа, Чанта...

Сасарию они не знали и не помнили. Но сколько раз, бывало, уставятся на нее и, кажется, вот-вот узнают. В их глазах застыл немой вопрос: «Мы видели тебя; где? когда?» Но слова узнавания, разломав разделявший их лед беспамятства, только собирались слететь с губ, как их будто уносило ветром, и они отворачивались. Им было невдомек, что они живали здесь и раньше, потому возродись они хоть сотни, хоть тысячи раз, не вспомнили бы Сасарию.

Не все возвращались оттуда, некоторых она так и не увидела, кто знает, что

¹ Нан — ласковое обращение женщины к младшим (абх.).

² Апсцваха — бог смерти в абхазских традиционных верованиях (абх.).

их задержало, куда они подались. В том числе и ее родные, братья, сестры, отец, мать, бабушка, дедушка, многие ушли туда. Но похожих лиц, голосов она ни разу так и не встретила, не услышала.

Когда вдруг перестаешь видеть родные лица, слышать родные голоса, ты невольно начинаешь думать, что тебя предали. Помимо этого, каждый из них, уходя, уносил крупицу ее молодости, чудесной поры, даруемой человеку только раз. Вот так по крупице и унесли ее всю. Правда, молодость изредка давала о себе знать внезапной болью, остро сжимавшей сердце. Но иногда родные приходили к ней во сне, и это ее утешало.

Раз приснились Сасарии люди, стоящие неподвижно, будто окаменевшие, когда-то знакомые, но давно умершие, она ходит между ними, ходит и ходит, а их много, целый лес. Так всю ночь она проплутала среди них, как заблудившаяся. Стоят, смотрят на нее, молчат, но она слышит: «Одна ты осталась, кто помнит нас. Пока ты жива, живы и мы».

Только ушедшие и снились. Были и такие, кто ни за что не являлся в ее сны — те, кто оделись в смерть, как в броню, и теперь не бросали вспять тоскующих взглядов. Им было отрадно, что они покинули этот мир, и хотели только одного: чтобы их забыли навсегда. Но большинство тянулись обратно: «Хотя бы день жизни... хотя бы до полудня...»

В последнее время Сасария была беспокойна: она не видела снов. Не то чтобы не могла обойтись без них, но сон означал, что на следующий день у ворот будет стоять безутешный родственник: «Сасария, просьба к тебе: укрась наши похороны, укрась покойника!»

Если кто решит, что Сасария радовалась чужой смерти, то он будет глубоко неправ. Любая смерть вызывала в ней грусть. Еще бывало ей грустно, когда она, оговорившись, вместо «переменил мир» говорила «умер». В ее причитания слово «умер» иногда затесывалось, конечно, но она тут же осаживала его другими словами. Лишь произнесенное отдельно, оно имело силу и могло обмануть несведущего.

Нет, смер... простите, перемена мира человеком печалила Сасарию. Но и здесь нужен порядок, считала она, Апсцваха свою работу должен делать аккуратно, без перебоев. Неужто люди перестали умирать, спрашивала она себя, когда вот так оставалась без сновидений. Какие бы страдания ни претерпел человек в жизни, впереди его ждет безбрежная радость: угасание, сон, забвение. Еще Сасария знала, что каждый умирает так, как жил. В последний час все, что каждый из нас утаивал при жизни, становится явным. Ничего не скроешь, ибо нет у тебя никаких тайн — ты умер.

Человек всегда жаждет иного, ему подавай все новое и новое, может, на этот раз он придумал что-то получше смерти? Как бы не так! Лишь обессилив и сникнув, человек пытается сравнить смерть и смертоубийство — войны, что прогромыхали на ее веку, убедили ее в этом. Но в последнее время люди вроде поуспокоились, если не говорить о вялых взаимоистреблениях где-то на краю земли. Потому Сасария ждала, когда у ворот ее появится мрачный родственник очередного умершего.

3

Ужас, на что ты решился, Баджга, ужас! Ни соседи, ни поселок, ни село в целом не ожидали от тебя этого, всех ты поверг в недоумение, в боязливое перешептывание: а что бы это значило?

Правда, ничего особенного ты не сделал. В одну ночь, то ли по стечению судьбы, то ли по собственному желанию, ты взял да и умер, как умирали до тебя и будут умирать после тебя все без исключения. Но от этих «всех», кому сызмальства посвятил всего себя, если верить твоим словам, ты всегда держался особняком, не хотел растворяться в их безликой серой толпе, да и никто никогда не смешивал тебя с ними. Удачно пронес ты эту маску, ничего не скажешь!

Но удел «всех» не миновал и тебя, настал тот день...

Напрасно не думай, что тебя кто-то пожалел, что в ком-то смерть твоя отозвалась болью. Вначале, когда прошел слух, что ты умер, никто не поверил, но и потом, убедившись, что ты и впрямь ушел в другой мир, чтобы и его выесть до сердцевины, и его испоганить, и тогда ни в чьем сердце не шевельнулась жалость к тебе.

Речь не о твоём предсмертном крике. В округе все слышали его. К концу долгой зимней ночи раздался он, и все повыскакивали с постелей и как были в исподнем выбежали во двор. Никто не понимал, откуда этот истошный вопль, но кто бы его ни издавал, человек или зверь, не пожалеть его невозможно было.

Баджга, ты давно предчувствовал, что не днем, а ночью будет решена твоя участь. В кромешной тьме, во мраке, когда глубокий сон потушит людей, и никого вокруг, кому сказать свою исповедь. Тебе не хотелось, чтобы так было. Позвал тех двоих, что из крови твоей произошли, и сказал им, где должно быть твое последнее пристанище. (О дочке разговор отдельный. Ее присутствие было невыносимо: ты видел в ней незабвенные черты матери и считал, что она рождена тебе на страдание.)

«Кто они и что делают в моем доме?» — не раз с недоумением спрашивал ты себя. Не то что ты их не любил, как-никак твоя кровь, и все же... Были они не только разных возрастов, разны были во всем — обликом, нравом. Не скажешь, что родные братья. Но ведь должно быть что-то, что выше схожести объединяет людей: кровь. Но и это самообман...

«Когда обраща стопы свои прочь...» — так ты начал, Баджга. Сыновья ждали молча. (Дочь, которая больше всех любила тебя, и которую ты любил больше всех, не позвал, ей не полагалось.) Вместо «когда умру». Не потому, что не хотел пугать их такой откровенностью. Самому тебе тяжело было говорить о смерти, и ты переименовал ее имя, слабое утешение напоследок.

«Когда обраща стопы свои прочь...»

Утром, проснувшись, первое, о чем ты подумал — не доживешь до заката, вместе с солнцем угаснет и твое изношенное старое тело. Если не сегодня, то до завтра — сработало давнее предчувствие — уж точно не протянешь, тебя поглотит ночь. А ты хотел, чтобы наяву, при живом солнце: вряд ли сподобишься увидеть Его, то хоть Его слуге Апсцвахе посмотришь в глаза и тогда, кто знает, может, надежда какая зародится в душе.

Но, правду говоря, ты не боялся умереть. Ты боялся другого — не услышать голос. Тот голос, которого ты до сих пор не удостоился.

Баджга, ты никогда не верил рассказам о том, будто твои отцы, как настанет им срок покинуть жизнь, слышат голос. Впервые узнал об этом еще мальчишкой от бабушки. Что-то натворил, несносный был уже тогда, а бабушка, стараясь не обидеть, но достаточно твердо отругав, добавила: «Если будешь так себя вести, знай, голоса не услышишь». Ты пристал, и она рассказала о голосе, который слышали перед смертью твои предки.

Твой отец тоже стал слышать его, Баджга, и ушел с улыбкой на лице. Свихнулся старик, подумал ты тогда, но был неправ. Твои отцы не головой старились, а ногами: ноги не выдерживали тяжести пронесенных лет и в старости отказывали. Видимо, неслучайно было им так назначено: чтобы в стороне, в одиночестве услышать голос. Если ноги все еще готовы с прежней прытью донести до оглушительного сборища людей, голос тот затаивается, его не будет слышно.

С трудом доплетались старики до тени грушевого дерева, и пока день не погаснет, проводили там. В непогоду устраивались на крыльце акуаскы и сидели, уставившись в даль, отринувшую их из-за их слабых ног. Переживали. Пока не услышат тот голос. Тогда их лица озарялись, будто слышали долгожданную радостную весть, и потом, до ухода в мир иной, их лица так и оставались озаренными нездешним светом.

Ты просил Бога, хотя никого из живущих никогда ни о чем не просил. В последнее время ты все чаще думал о нем, не то что раньше. Раньше... Раньше было по-другому, если и вспоминал, то когда произносил тосты: «Да благословит нас Бог!.. Да будет Бог с вами!.. Да посмотрит Бог на вас!..» Наедине с собой же забывал Бога, тебе не до него было. Теперь же неустанно молил: «Голос! Голос, который слышали мои отцы. Больше ни о чем не прошу».

Сколько уже просишь с тех пор, как ослабли ноги, до этого не знавшие устали, по стольким дорогам, по стольким горам исходившие, а теперь годные лишь на то, чтобы с трудом проволочить тебя до грушевого дерева. Ведь твои отцы именно тогда, как ты сейчас, и начинали слышать голос.

Но у Бога, видимо, свои расчеты, не услышал он твоей просьбы, не снизошел. В непроглядной тьме должна решиться твоя участь, с этим ты примирился; с чем не мог примириться, так это с тем, что не услышишь голоса.

Не верил до самого последнего мгновения. Вот сейчас, вот-вот, рассеяв тьму, до слуха коснется тот умиротворяющий, тот сладчайший голос, и лицо твое озарит никем прежде не виденная улыбка. Кто знает, может, потом эта сияющая улыбка так и останется на окаменевшем твоим лице.

Но все было тщетно. И когда ты понял, что не будет тебе голоса, ты закричал, Баджга. Закричал, собрав все силы.

4

Накануне похорон тьякканье Тигра заставило Сасарию выйти из амацурты. «Что на этот раз привиделось ему?» — пробурчала она. Собачонка была несносная, не раз выводила ее из себя.

Когда она уходила на похороны, Тигр ластился, вымаливая забрать с собой и его. Но Сасария была непреклонна: «Сегодня оставайся дома, охраняй кур и цыплят, а то нет покоя от лис и ястребов». Тигр слушал, все так же любовно и умоляюще смотря на нее, помахивал хвостом. «Будь дома, не видишь, лисы и

ястребы разорили нас!» — пыталась вразумить Тигра Сасария, но Тигр не хотел вразумляться. «Какой же ты несносный, как хвост, не отстаешь от меня! Оставайся дома, иначе, клянусь живыми и мертвыми, получишь по башке!» — и в подтверждение нешуточности своих угроз помахивала палкой перед носом Тигра. Но Тигр был настолько толстокож и непонятлив, что даже истреби лисы и ястребы всех кур, не мог отказаться от своего желания и все смотрел умоляющими глазками на хозяйку, пытаясь разжалобить ее. Но и грозно ходившую над ним палку не упускал из виду, косясь на нее бегающими глазками, чтобы при явности намерений хозяйки и опасном приближении тут же отпрянуть в сторону, ибо не раз преобольно настигала она его. Но и другое заметил Тигр: в последнее время все реже и реже настигала она его, и, осмелев, он стал чаще не слушаться Сасарии.

...Она посмотрела и увидела у ворот кого-то. «Заткнись, если такой смелый, подойди к нему, на расстоянии мы все храбрецы.

Более трусливого пса не встречала... Заходи, нан, он не кусается!»

Вылитый Баджга стоял перед нею. Перешагнувший молодость и в пору зрелости вступивший мужчина. Такой же тяжелый взгляд, с некоторым презрением. Вылитый Баджга, но только на первый взгляд. Если присмотреться, было видно, что и материнское тоже есть в нем. Кровь разбавлена.

«Отец... завтра... похороны...» — с трудом выговорил Ардашил.

Эти три дня тяжело дались ему. Арчил не соглашался, но и он не уступил. Последнее слово умирающего выше всего, в крайнем случае, раз он так захотел, похороним его в конце сада, сказал Арчил: и от дома недалеко, и место укромное. И это при том, что на взгорье есть родовое кладбище, где покоятся их предки! После похорон он уедет к себе в город, а ему оставаться, и ему ничего не забудут. Милая Нара поддержала его, ей не хотелось обижать Арчила, но убедила его, что нет другого выхода.

Ардашил никогда не шел наперекор отцу, но сейчас пришлось пойти, ему хотелось пойти: надо заявить о себе, все сроки вышли. И пришел он к Сасарии потому, что знал, что говорили на селе об отце, с детства ему было тяжело это слышать. Не затем, чтобы Сасария украсила похороны, она скажет нужные слова, как есть на самом деле, что правдивее того, что видят глаза, слышат уши. Не может, чтобы отец не оказался под крылом этой правды.

Баджга стоял перед нею, и когда он открыл рот и голосом Баджги сказал несколько слов, она поняла, что произошло. Она была уверена в том, что кровь Баджги так сильна, что и его детям, и детям его детей до седьмого колена хватит ее. Через семь колен дух Баджги иссякнет. Но, оказывается, в Баджге не было крови, что хватило бы на семь колен, он сам израсходовал ее всю. Ее хватило только на самое простое — сохранить его внешний облик, но не нутро. Голос подражал голосу Баджги, только и всего, от Сасарии это не укрылось.

Она обманулась: напрасно думала, что кровь Баджги способна на большее. — Нан, приду, как не приду... как не оплакать несчастного Баджгу.

5

...Сказал бы, похороните, как всех, еще куда ни шло, а он: закопайте поглубже, холмик могильный с землей сровняйте, камня с именем у изголовья не ставьте, не ограждайте, пусть зарастет и сгинет то место навсегда... Так

говоришь, будто рядом был, когда он выпускал свой поганный дух. Я что, люди говорят; верно, слышал кто-то... Кто? Чужих не было с ним в ту ночь, только сыновья и дочь. Может, они и сказали. Как же, скажут они тебе! Особенно этот, как бы младший. И Нара не баба какая-нибудь, трепать языком не в ее нраве. Но такое не очень-то и скроешь, люди рано или поздно прознают, молва пойдет. Глянь-глянь, что стервец Ардашил вытворяет поперек старшему брату. Сказывают, не дал ему и рта раскрыть. Отца похороним, где положено, там, где покоятся его родные, отрезал он. Сам, говоришь, захотел? Последний, говоришь, его наказ? Здравствуй! Мало ли что взбредет в голову глупому старику... Арчил на это: надо уважить волю отца — и праху его мир, и сердцам нашим покой. Ардашил ни в какую: не будем делать из себя посмешище. Сцепились. Только благодаря Наре до мордобоя не дошло. Пожалейте отца, взмолилась она, стыд и срам, он еще не остыл, а вы тут... Но кто слышит... Да, заткнул его: ты уехал отсюда, твое слово здесь ничего не значит, а мне ничего не простят. А ведь он прав... Отца родного не могли поделить... Да и он тоже, царство ему небесное, не подумал о тех, кого оставляет после себя... Он только о себе думал. И не царство небесное, а ад ему место. Не приукрашивай, нашелся добрый. Не нам с тобой судить, какое место Бог ему назначит. Если он там наверху не ослеп вовсе и ему еще есть дело до нас, ручаюсь, гореть нашему Баджге в аду. Оставьте Бога в покое, поговорим о земных делах. Раз начали, расскажите побольше о покойнике. Я к тому, что, как положено, надо было благословить их и отойти спокойно в мир иной, а он... Черт его попутал, нашептал неповадное на ухо, и все пошло кубарем. Нару жаль больше всех, состарилась, а счастья никакого. Благодаря ей до сих пор семья держалась. Попробуй усьмири трех головорезов. Сто раз вышла бы замуж, если б не отец. В каждом женихе находил изъян: то ростом не вышел, то неприлично высок и дюж, то смугл, что твой арап, то белокур и светел, то фамилия неподходящая... Она же не посмела его послушаться. Откуда берете вы все это? Каким ветром надуло? Народ говорит, а народ все знает. А он, народ ваш, случаем не знает, за что Баджга так себя казнил под конец? Знает, как не знает, но не говорит. Почему же? Дело давнее, какой толк ворошить, отныне ему судья Всевышний, не мы. Когда надо было судить, молчали в рот воды набравши... Тогда другое было время, не то что сейчас... И все же, что такого натворил Баджга, что захотел быть похороненным не на фамильном кладбище? Точно никто не знает. Слухи все. Он делал то, что делали другие. Говорят, будучи председателем колхоза, сдал многих своих недоброжелателей. Но я не верю в это. Я так знаю, что в молодости новые хозяева использовали его, чтобы тайно убирать неугодных, и таким способом не одну душу загубили. Впервые слышу об этом. Ты не слышал, но так было. Сегодня все стало известно. Зачем было убирать тайно, когда могли наяву? Это потом стали наяву, когда пошли издержки с планом, а до этого прибегали к услугам таких, как Баджга. Он как, задарма губил души или же ему звонкой монетой отсыпали? Поди, спроси его, видишь, где он лежит? Чтоб и тебе лежать так в скором времени! Тогда зачем глупые вопросы задаешь! Баджга задарма и курице шею не свернул бы, не то что человеку... Когда стали наяву уничтожать народ, Баджга остепенился, вернулся в родное село, занялся хозяйством. Потом началась большая война, тогда он уже был председателем, это его и спасло. Женился... На той, что была младше него на тридцать лет. У него родились дети. Правда, несчастная Ликор умерла через пять лет. А так у него все было нормально. До сегодняшнего дня. Ну, все мы рано

или поздно умираем... Если хотите знать правду, из-за женитьбы за ним и волочились все эти слухи. Это как? Некоторые помнят. Родители ее были против. Она еще ребенок, а он порядком поизносившийся. На вид был крепок, бугая мог запросто взять за рога и свалить, а до выпить-поесть охоч был по-прежнему, никому не уступал, на всех застольях тамадой он... Около года тянулось это дело. В конце ее родители все же согласились; наверно, надоело отказывать, а он не отстает. К тому времени она была беременна от него. Вот они подальше от позора... Лошадь у него была, Арапка. Большая, сильная. На ней объезжал чайные плантации, смотрел, как идет работа. Кто не вышел на работу или опоздал, тому несдобровать. Был он страшно крут и легок на расправу. Все боялись его. Так вот, в тот день видели, как до самого вечера Арапка стояла привязанной к грабу возле плантации Ликор, а их не было нигде. После этого они и поженились... На сегодня хватит. Лучше пойдемте, ополоснем руки, к столу зовут...

6

В день похорон Сасария только собралась, а Тигр уже ждал ее, улегшись в тени шелковицы, росшей вне двора, у тропинки на большак. Если раньше, видя, что он не отстанет, она примирительно выговаривала: «Ладно, так и быть, сегодня возьму тебя, но знай: в следующий раз ни за что!», то сейчас лишь процедила сквозь зубы: «Твоя взяла, негодник!»

Сасария, когда шла оплакивать усопшего, никогда не придумывала заранее, какими словами она будет причитать на этот раз: ведь умершие схожи только в смерти, а в жизни были разные, потому и разное следует говорить о них. Ей достаточно было присесть у изголовья покойника, посмотреть на его холодное потустороннее лицо, как слова приходили сами. И теперь было то же: она только взглянула на усмиренного смертью Баджгу, чье ожесточенное сердце было сокрушено, как нужные слова пришли сразу.

...Собравшиеся, и старики, и молодые, мужчины, женщины плакали по несчастному Баджге, который сделал им столько зла. Оплакивали как родного, моля Бога о том, чтобы все лучшее, что есть там, куда ушел Баджга, перепало ему. Похороны эти были необычными — присутствующие обливались слезами не потому, что вспомнив умерших близких или свою близкую ли, дальнюю ли кончину исходили жалостью, они сокрушались по Баджге, и только по нему.

Гроб поставили на стол, стоявший в середине двора, и старик, который должен был говорить об усопшем, воткнул свой посох в землю, снял папаху и накинул на него. Он оглядел скорбно молчащих людей, плотно обступивших гроб, и понял, что слова тут излишни, они могут ослабить то, что объединило их, что смыл с их сердец мелкое, уродливое, озаряло теперь их лица. Он подошел к гробу и провел ладонью по груди Баджги (все ощутили, как бережно, как нежно, боясь причинить боль, провел он ладонью по холодной, окаменевшей груди Баджги), потом поцеловал его в лоб (все ощутили, как бережно, нежно, боясь причинить боль, поцеловал он холодный, окаменевший лоб Баджги). «Земля тебе пухом», — одел папаху, взял посох и встал на свое место.

Люди подходили к гробу, проводили рукой по груди Баджги, целовали его в лоб и отходили на свои места.

...Зимний день клонился к закату. Небо вновь покрылось тучами, начало сыпать снежком.

Ребята подняли гроб, водрузили на плечи и понесли. Сделав несколько шагов, они приспустили гроб и слегка коснулись земли, и так трижды, пока не покинули двор. Впереди шли соседские дети, раскидывая цветы. Цветов было мало, поэтому дети берегли их, чтобы хватило до кладбища, раскидывали подальше друг от друга. Это резче проявляло красоту цветов, шедшие за ними невольно задерживали на них взгляды. Казалось, это следы, оставляемые людьми на подернутой снегом земле.

7

Видал, каким агнцем выставила злодея! Ничего не скажешь, Сасария дока по этой части, и камень разжалобит. Ксиву дала ему в лапы, может, выручит она его, примут там бедняжку. А кого не принимали, примут, еще как примут, обратно ни за что не пустят. Он тоже был человек, его тоже создал Бог, кто знает... А ты все сглаживай, все сглаживай! Сасария не вечна, придет и ее черед, и тогда тебя посадим заместо нее, потом сглаживай сколько душе угодно. Все кусаешься... Не кусаюсь, а говорю как есть!

8

Люди расходились. Увиденное и пережитое сегодня надолго запомнится им. Одного из виновников этого они предали земле и забыли.

Другая виновница, Сасария, шла домой. Нара проводила ее, внимательная, добрая Нара. Старухе она сказала столько хороших слов, что Сасария чуть не растаяла, шла, будто летела, Тигр не мог угнаться за нею.

Но и о ней тоже забыли расходившиеся люди, до следующих похорон и не вспомнят. Но Сасария привыкла к этому, она не обижалась. Она считала, что так и должно быть. Плакальщица, сделав свое дело, должна уйти в тень, она уже не нужна.

Думала же она о палке, которая стала ей великовата. Постарела я, сказала она про себя, все клонюсь к земле, которая примет и успокоит.

Потом повернулась к Тигру и пригрозила:

— Попробуй, негодник, в другой раз увязаться за мной, чтоб Алышкентыр¹ тебя взял!

¹ Алышкентыр — божество собак в абхазской мифологии (абх.).

Евгений Солонович

...летает Франческа

* * *

Полюбилось прошедшее время глаголам —
и открылась в словах как бы новая грань.
«Жили-были...» — пронзит среди ночи уколом.
«Жили-были...» — согреет в рассветную рань.

Оглянулся назад — где последняя веха?
Испытательный срок — он велик или мал?
Научилось меня передразнивать эхо:
говорю «обнимал», а оно — «отнимал».

Отливаются розы банальной рифмой —
из таких, на которые маленький спрос.
Эхо было когда-то красавицей нимфой,
по свидетельству автора «Метаморфоз».

Мы кричим — и не слышим себя, горожане,
забываем про эхо, набив города,
и, ему задолжав, мы себе задолжали, —
кто теперь зарифмует дорогу туда,

где прощальные руки на плечи ложились
и разгладиться было непросто челу?
Голова не кружилась, деревья кружились,
всё казалось понятным — слова ни к чему.

Солонович Евгений Михайлович — поэт, переводчик итальянской поэзии (Данте Алигьери, Петрарка, Никколо Маккиавелли, Ариосто, Джузеппе Белли и др.) и прозы (Альберто Моравиа, Джузеппе Д'Агата, Итало Кальвино и др.). Командор ордена «Звезда итальянской солидарности». Лауреат нескольких литературных премий Италии. Живет в Москве.

* * *

На опыт рискуем порой положиться,
когда бы довериться лучше чутью...

Журавль высоко, но не лучше синица:
чуть руку разжал — и синица тю-тю.

На память прихо... прилетает Жар-птица,
и чувствуем сразу, что мы на коне,
И, значит, не страшно ослепнуть от блеска...

Песнь пятая «Ада» — летает Франческа...

Скажите, а вы не летали во сне?

Стечение обстоятельств

Кузнецы своего счастья
выбрали
слишком тяжёлый молот

Зодчие не подозревали
что их воздушные замки
будут построены
на песке

По дороге на работу
заспанная волшебница
вспомнила в переполненном трамвае
что забыла дома
волшебную палочку

* * *

Наедине с былой печалью
ищу в себе разрыв-траву,
Любовь Надеждой величаю,
Надежду Верою зову.
Наедине с самим собою,
навстречу памяти идя,
внимаю дальнему прибою
и стуку ближнего дождя
и, миллиметр за миллиметром,
живую ниточку тяну
в поля, освищенные ветром,

в берёзовую глубину,
где строки золотистой пряжи
октябрь неслыханный прядёт,
где я и не замечу даже,
как дождь пойдёт,
как дождь пройдёт —
и луч запутается в кроне,
подрагивая на весу...

И никого не будет, кроме
двух человек, во всём лесу.

* * *

По грибы ходили, за грибами,
за стихами в «общую» тетрадь
и аукаться не забывали —
долго ли друг друга потерять?

В этой переключке — дань привычке,
дань картинке в давнем букваре,
дружные опята и лисички,
утренние листья в серебре.

Весело аукала округа,
предлагая свой ориентир,
чтобы людям не терять друг друга
и не забывать, что тесен мир.

* * *

Кнопка звёздного звонка,
телефонный диск луны...
Опускается рука,
не нарушив тишины.
Беспрепятственно течёт
тишина над головой,
продолжается отсчёт
против стрелки часовой,
и за тридевять земель,
там, за тридевять ночей —
то ли тихая капель,
то ли слёзы из очей.

* * *

Тянутся тени вечерние
к раннему свету в окне,
звёзд безымянных свечение
кажется дальше вдвойне.

Утро напомнит невзрачное
неумолимо, увы:

лето кончается дачное
в часе езды от Москвы.

Дачное лето кончается,
хмарью подёрнута даль,
и что ни день истончается
отрывной календарь.

Керен Климовски

Отряд по спасению улиток

Рассказ

Я — ребенок ключа. Наконец-то! Я так завидовала этим детям — свободным и стремительным: у них на шее болтался красный пластмассовый шнурок, а на нем — ключ от квартиры. Нет, не болтался, а летал, и то исчезал под футболкой, то показывался снова, сверкал на солнце — как это было красиво, торжественно, они казались мне такими независимыми и взрослыми, эти дети ключа, они ходили по земле гордыми ногами, им доверяли, они были хозяевами жизни — прежде всего своей, а значит и вообще. Дети ключа говорили уверенней и смеялись громче, и бегали быстрее, и всюду бесконечно царили и властвовали дети ключа... Мама утверждает, что по-русски так не говорят, но это просто потому, что в России таких детей нет, а здесь — есть. Ялдей мафтеах — очень красиво звучит! Теперь я одна из них. Как долго я этого ждала... У меня на шее летает красный пластмассовый шнурок, и ключ то исчезает под футболкой, то показывается снова, и сверкает на солнце — пусть все видят, пусть все знают, что теперь я — тоже, я — ребенок ключа, я — независимая и свободная: моей мамы вечно нет дома, она уезжает на курсы, она берет интервью, и папы тоже нет дома — он ищет работу. Раньше сидел дома: угрюмо смотрел в учебник иврита, выписывал новые слова или просто разглядывал свои ладони, потом устроился в супермаркет, возвращал на место тележки, но ему не понравилось — он слишком умный, и теперь он все ищет, каждый день уезжает искать работу и не находит, а я возвращаюсь из школы — сама, с ранцем за плечами, засовываю руку под футболку, достаю драгоценный ключ, открываю дверь — сама, захожу в пустую квартиру — сама, подогреваю обед — сама, и ем — сама, и делаю уроки — сама, и играю — сама, и смеюсь — сама, и плачу — сама, я независимая и свободная, я — ребенок ключа!

Керен Климовски (род. в 1985) — прозаик, поэт, драматург, переводчик. Публикуется с 15 лет. Лауреат премий в области театра, премии Международного Волошинского конкурса (рассказ «Тот вечерний несказанный свет», «ДН», № 3, 2012). Соавтор сценария фильма «Репетиции» (реж. Оксана Карас, 2013). В 2012 году вместе с музыкантом, композитором и актером Элиасом Файнгершом основала Театр КЕФ. Живет в Мальме (Швеция). Публикуемый рассказ отмечен дипломом Международного Волошинского конкурса (2013).

Ладо. Первый. Мне четыре года, ему — двенадцать. Красивый кудрявый грузинский мальчик. Он и не подозревает о моих чувствах. Он просто любит маленьких детей, нянчится со мной, тем более, что я тоже красивая и кудрявая. И спортивная, очень спортивная. Даже Ельцин, который опальный, это отметил, и хлопнул по попке. Мы с мамой в Дубултах, в писательском доме отдыха. Писатели в основном старые и неинтересные, особенно этот дядька Межиров, который постоянно подсаживается к нам за обедом и говорит с мамой на страшно скучные, непонятные темы, да еще и заикается... Зато тут есть море, и все было хорошо, пока я не уселась на муравейник, и мне не искушали всю попу — ту самую, которую дружески шлепнул Ельцин. Он проходил мимо, когда я висела на турнике, как обычно. Кувыркалась, выделявала кульбиты... Так вот этот дядька — толстый и с красным носом — проходил мимо, увидел, как я кувyrкаюсь на перекладине, и сказал «какая спортивная девочка!» и шлепнул меня по попе — легонько, но мне все равно не понравилось, я ведь его не знаю... А мама потом сказала, что это был Ельцин, и что он опальный. Я это запомнила, потому что мне нравится слово «ель», ну и приятно, когда говорят, что я — спортивная девочка. А опальный он, потому что опаленный — его солнце спалило, он ведь ходит без панамки, и поэтому у него такой красный нос. А Ладо все равно о моих чувствах не подозревает. Он просто со мной играет, а я его люблю. Мама спрашивает: «А в чем разница? Ты ведь со многими играешь во дворе в Москве, со многими дружишь...» Такая большая, а не понимает! «Дружить можно со многими, а любишь только одного, мама. И потом — когда дружишь, все просто: и разговаривать, и играть. А когда я смотрю на Ладо, то даже слово сказать не могу — язык немеет, и горло пересыхает». А Ладо и не подозревает, он думает, что я — маленькая, строю башни из песка, и какая тут любовь? На площадке он играет в футбол с мальчишками, гоняет мяч по горячему асфальту, поднимая пыль, а я изнываю рядом на скамейке. Ладо подбегает к фонтану, смачивает лоб водой, капли стекают по мокрой от пота майке, в мою сторону даже не смотрит, хотя я красивая и кудрявая, но я — всего лишь маленькая девочка, а тут футбол... Говорю маме: «Пойдем к фонтану. Только притворимся, что нам что-то нужно, что у нас очень важное дело у фонтана, чтобы Ладо не догадался, что это я из-за него туда иду...» И мы идем к фонтану, и я делаю вид, что только что съела шоколадку, и у меня липкие руки... Я мою совершенно чистые руки в фонтане, старательно тру ладошки, поглядывая на Ладо, а он мотает черными кудрями, брызги попадают и на меня, но он меня не видит. «Ладо!» — говорю, и больше ничего не могу выдать — не получается, просто повторяю: «Ладо!» Он наконец-то меня замечает, улыбается: «Привет, Пушистик!», небрежно гладит по голове и убегает — на площадку, к мальчишкам, к красному кожаному мячу...

Надо записывать, надо все записывать, не потому, что забываешь, а потому, что становится неправдой, точнее, это тебе кажется, что неправда, потому что сейчас — неправда, но важно не то, что сейчас, а то, что было. Например, я любила одного мальчика, а потом полюбила другого, и теперь мне кажется, что того, первого, я совсем и не любила, что то — не любовь, а любовь — это сейчас, но ведь тогда, тогда я не знала другого, второго, тогда не было «сейчас», тогда было только «тогда», и в «тогда» — это и была любовь, и раз я думала, что любила, значит, любила, и нельзя отречься, иначе это и будет самая большая

неправда — если я буду всегда та девочка, которая «сейчас», и все девочки, которые «тогда», во мне умрут, а они не должны умирать, они никуда не деваются, они, как матрешки — одна живет в другой, а та в третьей, а видна только одна — та девочка, которая «сейчас». Конечно, это просто пример — я любила не одного мальчика, и — хотя мне только семь с половиной — у меня было много любовников! Мама и папа очень смеялись, когда я это заявила, и сказали, что я использую неправильное слово, а по-моему, очень даже правильное: если я кого-то люблю, значит, он мой любовник — очень понятно, по-моему. Вот я и решила, что надо написать про них, про своих любовников — чтобы не забыть, чтобы запомнить это «тогда», или хотя бы сделать список, назвать каждое «тогда» одним словом, самым важным словом — именем. Да, напишу список — короткий, на одну страничку, но за каждым именем будет скрываться огромное «тогда», и — днем, когда я одна дома, если мой лучший друг с восьмого этажа занят, и не с кем играть, буду сидеть у окна и перечитывать список, читать имя и доооолго вспоминать, читать и вспоминать, читать и вспоминать...

В первом детском саду, в Москве, я вылезла через открытое окно на улицу и плюхнулась в сугроб. Во втором, в Иерусалиме, заразилась дизентерией. Зато в третьем — здесь, в Нес-Ционе — встретила Шахара. И страшно его полюбила. Шахар был очень хороший: он не обижал меня, а всегда защищал, не смеялся над моими ошибками, а учил ивриту, делился бутербродами с шоколадным маслом, уступал мне лучшие мелки и фломастеры, охранял мои башни из кубиков, гладил по голове, два раза показал свою письку, и делал вид, что не замечал, когда я ковыряла в носу. ...В том детском саду я была новенькая, пришла не в сентябре, а в марте. Надо мной все смеялись: над тем, как я была одета — над платьями с рюшечками и сандалиями, надетыми на носки. В первый же день, в песочнице, одна толстая девочка отобрала мою лопату. Я отобрала ее обратно, и толстая девочка толкнула меня в песок. Все рассмеялись. Я встала, выплевывая песок, плача от обиды, и слезы смешивались с песком, я вытирала их рукавом, размазывая по всему лицу... и все смеялись. Только один мальчик не смеялся — это был Шахар. Он взял меня за руку, повел к умывальнику и помог умыться, и что-то говорил, говорил, хотя я далеко не все понимала. И с тех пор мы были всегда вместе, неразлучны, хотя его все любили и хотели с ним дружить. Он был очень счастливый мальчик — все время улыбался, иногда рассеянно, как будто думал о своем, а улыбался так, по привычке. Он хорошо пел — лучше всех, у него были ямочки на щеках, он был очень хороший и очень счастливый — мне даже казалось, что так не бывает: он никогда не плакал, не жаловался, не злился... У него даже тень была счастливая! И это счастье было таким заразным, особенно когда он улыбался, что всем казалось — надо с ним дружить, и им тоже перепадет, достаточно просто быть с ним рядом, и на тебя тоже прольется немного счастья, потому что его оно переполняло и лилось через край. И так прошел март, апрель и май, и к концу мая я уже носила сандалии на босу ногу, понимала все, что говорил Шахар, успела один раз показать ему свою письку. А потом садик закончился, и начались каникулы, и я написала Шахару на бумажке свой телефон, потому что осенью мы шли в разные школы. Я была уверена, что он позвонит на следующий день, и мы попросим родителей, и он придет ко мне, или я к нему, или мы пойдем гулять, или... но он не позвонил.

И на следующий день он опять не позвонил, а потом опять не позвонил. Я не знала, почему он не звонит, и ждала, и мечтала, что случайно встречу его, ведь Нес-Циона не такой большой город — конечно, он живет в районе вилл, а мы там, где дешевые съемные квартиры, но все равно... И я ждала весь июнь и весь июль, и весь август, а Шахар так и не позвонил, а в конце августа я вдруг догадалась, что можно найти его номер телефона в справочнике, я ведь знала его фамилию... но не сделала этого — мне уже не хотелось.

И мама, и папа дома, но тихо так, как будто их нет. Час назад было очень громко — они кричали и кричали друг на друга, а потом все затихло, и с тех пор — тишина. Но какая-то неприятная, очень громкая такая тишина, оглушительная, колючая и твердая. Трудно ходить по квартире из-за этой тишины — она громоздкая, остроугольная, не так-то просто ее обойти. Я сижу в своей комнате, сжавшись в комок, и ухожу в свои мысли, прячусь в них от тишины, но от нее никуда не денешься, она плотно обступает меня, наваливается на меня своей тяжестью... И вдруг знакомый мелодичный звон разбивает тишину, пробивается сквозь ее броню. Любимый звон! Это машина мороженого со своей веселой песенкой — про мороженое, конечно же — с припевом «куку — ага, глида — това!», «глида — това» — означает «мороженое — хорошее», а «куку — ага» просто красиво звучит. Машина мороженого звенит и поет, и тишина надломилась — рассыпается, как стекло, которое треснуло, как стекло, которое пронзил вдруг солнечный луч. Теперь можно выйти из комнаты, и я не выхожу, а выбегаю — попросить пять шекелей на мороженое — банановое в шоколаде эскимо. Я выбегаю и вижу: в квартире опять просторно, но... но сразу замечаю, что папа читает газету, погруженный в облако тишины, нет — тучу! Он сидит на диване, а вокруг него сгустившаяся тишина, как будто все осколки треснувшей тишины сгустились в тучу и окружили папу. А мама режет салат, яростно лупит помидоры, отрубает головы редискам, и из-под ее пальцев вылетает свистящая, стремительная тишина. «Возьми — там, на столе», — говорит она, не поднимая глаз. «Куку — ага, глида — това!» — звенит за окном. «Куку — ага» — это заклинание, оно работает, работает! Я ведь сама видела, как тишина ежится, бледнеет, рассыпается, только остатки тлеют на полу. Серебристые, блестящие шекели — ровно пять — звенят у меня в зажатом кулаке, но бесшумно вылетает тишина из-под маминых пальцев, бесшумно клубится туча тишины вокруг папы, повторяя все его движения, а я стою, как вкопанная, не могу двинуться, не могу выбежать на улицу, догнать собственные пятки и протянуть водителю звенящие шекели, получив взамен банановое эскимо в шоколаде, я стою и не могу пошевелиться, как будто тишина сползла с папиного дивана, выстрелила из-под маминых пальцев и сковала мои ноги, мои вечно бегущие ноги, и все дальше, все глуше звон машины мороженого, все глуше звучит песня. «Куку — ага» — дальше, «глида — това» — еще дальше, а я все стою — тишина победила! — я все стою — «куку — ага» — уже еле слышно, и незаметно разжимается мой кулак, и шекели — новенькие серебристые шекели, пять монеток — вырываются на волю и падают на пол, и звенят, и поют — «куку — ага», и тут — внезапно — папа перестает читать газету и поворачивает голову, и мамина рука застывает в воздухе (редиска остается нетронутой!), она тоже поворачивает голову, мама и папа поворачивают голову и смотрят на меня — как будто только что заметили — а шекели бренчат на полу, никак не угомонятся...

Третий в списке — каштановый Коля. Написано просто «Коля», но я-то знаю, что каштановый. Он весь коричневый: карие глаза, каштановые волосы, брови, похожие на смешных червяков. Совсем как мой мишка, которого тоже зовут Коля, только мишка темно-коричневый, а мальчик — светло-коричневый. И глаза у Коли, как у моего мишки — гладкие и блестящие глаза-пуговицы. Как я люблю коричневый! Люблю желуди, каштаны, шляпки белых грибов. Это моя коричневая подмосковная осень, последние дачные дни. А в Москве ждет посылка от бабушки: мешок грецких орехов, которые — крик-крэк, как в «щелкунчике» — трещат в пасти серебристого дракона. Я люблю коричневый, и поэтому я люблю Колю. И Коля меня любит. А еще меня любит Колина бабушка. Радует, когда прихожу. У них много детских русских книжек, порусски, которые Коля не читает, а я всегда беру почитать. И Колина бабушка все время ставит меня в пример Коле. Но Коля совсем не любит читать, он любит строить, и мы вместе строим — города из «лего», дворцы из камешков, башни из земли и земляных червей... Еще Коля любит пить чай с сушками — он дует на горячий чай, и его коричневые глаза-пуговицы слегка косят. И вот мы сидим, пьем чай, и Колина бабушка говорит о коричневом. Она знает место, где растут каштаны. Недалеко, рядом с городом. Мы обязательно поедим их собирать, только сначала они должны созреть. Каштаны? В Израиле?! Неужели это правда?! Я начинаю бредить каштанами: каждый раз спрашиваю Колину бабушку: ну, уже можно, уже созрели? И очень осторожно, одними уголками рта повторяю «каштаны», если сказать правильно, то волшебство происходит, и можно его понюхать — этот подмосковный осенний воздух... Но у Коли часто-часто моргают глаза-пуговицы, ползут к переносице червяки-брови. Он ревнует. Я думаю, что бабушку ко мне. Оказывается, меня к бабушке. Он затаскивает меня в свою комнату и говорит злым, дрожащим голосом: «Ты совсем не со мной дружишь, ты из-за бабушки, из-за книжек и каштанов!» И глаза-пуговицы — уже совсем черные, коричневое ушло. Как ты мог, Коля? С такими глазами, как у мишки Коли... как ты мог? Неужели тебе было жалко книжек и каштанов и даже бабушки, которая у тебя была вся, а я хотела только чуть-чуть, потому что своей не было, потому что это слово «бабушка» — такое коричневое и теплое и очень нужное мне сейчас... Я ничего тебе не ответила — молча повернулась и ушла. И больше не приходила. И несколько месяцев не могла называть мишку Колю по имени.

Уже не помню, из-за чего все началось, но вот — опять: мама что-то говорит, очень много слов — их так много, что я уже не понимаю смысла, как будто она говорит на иностранном языке. Ничего не понимаю, только смотрю, не отрываясь, на мамины губы — они накрашены помадой персикового цвета. Сегодня Йом Кппур, судный день, и через час, когда стемнеет, в синагоге будут петь «Коль Нидрей» — из этой молитвы я тоже не понимаю ни слова: она на арамейском, а не на иврите, но когда слышу ее, сжимается сердце, и от маминых слов тоже сжимается, но по-другому. Мы готовимся к выходу: мама, по традиции, в белой одежде — белой кофте и белой юбке, а папа в парадных брюках — шелковистых серых — и такой же жилетке, надетой на белую рубашку. Я слежу за мамиными персиковыми губами, и все не могу понять смысл слов, но каждое слово — отчетливое, острое, колющее, как пчела. Мамин рот закрывается и открывается — как персиковый цветок — а из цветка

вылетают, одна за другой, пчелы, только это очень горькие пчелы, которые делают горький мед. Целый улей пчел летит на папу, а он раздраженно отмахивается от них руками, а когда пчеле все-таки удастся ужалить, морщится — скорее брезгливо, чем от боли. Но пчел слишком много — от них уже не защитить лицо, они жалят и кусают всюду, эти горькие пчелы... Папины ноздри раздуваются от гнева, его губы дрожат, он кричит «Замолчи!», но из маминого рта-цветка вылетают все новые и новые пчелы, и вдруг папа выдергивает из своих серых брюк ремень — тоже серый — и начинает со всего размаху хлестать им о спинку стула. Мама замолкает на полуслове и оторопело смотрит на него, а папа все хлещет и хлещет стул ремнем, его рука двигается как заведенная, он тяжело дышит, с него слетели очки и болтаются на шнурке, а он наказывает стул, и ремень страшно свистит в воздухе — как бич, как плетка. Он стоит далеко от мамы, он не прикасается к ней, я знаю, что не маму он бьет ремнем, но ремень опускается на спинку стула с таким свистом, так яростно сжаты папины губы, так напряжены его скулы, такие колючие у него глаза — как будто мамины пчелы укусили его в глаза, и глаза превратились в пчел, — что мне становится страшно... ..А потом папа вдруг перестает — наверно, в руке закончилась батарейка, вдевает ремень обратно в брюки, причесывает волосы, и мы все выходим из дома и направляемся к синагоге. Идем молча, я — между мамой и папой. Они не смотрят друг на друга. Не поворачивая головы, мама цедит: «Ты совсем озверел», и мы продолжаем идти в тишине. Я смотрю на папу — он и правда озверел: в этом сером костюме, с напряженными, белыми скулами и острыми глазами он похож на седого волка, потрепанного и постаревшего волка, побитого, но не сдавшегося — на Акелу из «Маугли». И хочется сказать это вслух, но я знаю, что папе это не понравится. Просто невыносимо хочется что-то сказать — что-то смешное, чтобы растормошить, развеселить маму и папу, но в голову ничего не приходит, а сказать хочется очень сильно, какой-то бесенок сидит во мне и щекочет, и страшно хочется проверить папину реакцию, посмотреть, что будет, смогу ли вызвать опять это бешенство, и страшно и любопытно одновременно — потому что если я чего-то боюсь больше всего, то именно этого и хочется — пройти по кромке, по краю, посмотреть, как далеко могу зайти... И я набираю в легкие воздуха и не говорю, а пою — неуместную и глупую песенку: «Папа-папа озверел: превратился в петуха, папа-папа озверел: превратился в петуха!» Почему именно в петуха? Это просто первое, что пришло в голову — конечно, хотелось сказать: «превратился в волка», но это слишком близко к правде, поэтому иду от обратного — от неловкости, от растерянности, от желания замести следы — пройти по краю и одновременно рассмешить — выбираю самый нелепый, неподходящий образ, потому что, конечно, меньше всего папа похож сейчас на петуха... «Папа-папа озверел...» — осекаюсь, встречая папин взгляд — грозный, как ему кажется, а на самом деле жалкий... И вдруг сердце сначала сжимается в комок, а потом начинает биться часто-часто. Сердце очень быстро бьется, я вытираю потные руки о нарядное платье — до меня дошло: петух, конечно, петух. Нам рассказывали, в школе, именно сегодня, про обычаи и традиции Йом Кипура, и мне запомнилось больше всего про петуха. Петуха, живого петуха, вертят над головой, читая молитву, и он, петух, берет на себя твои грехи, а потом его режут и дают бедным — на обед, то есть сначала он берет на себя твои грехи, а потом его приносят в жертву. И я понимаю, что только что принесла в жертву папу, потому что взяла сторону мамы, хотя и не

взяла даже ничью сторону, а просто не выдержала и запела, но папа уверен, что взяла, и мы с мамой отделяемся от него, горячий ветер надувает наши белые платья, как парус, и мы плывем по жаркой, душной улице в синагогу, а папа только делает вид, что идет рядом, а на самом деле застрял во времени — все стоит там, дома, один, и хлещет стул ремнем. Или — нет — папа принес в жертву сам себя: другие вертят петухом над головой, а он вертел ремнем перед собой, рассекая пространство, это была его, папина, молитва — ведь ремень так свистел, он разговаривал... всю обиду, всю горечь и досаду — которые у мамы превратились в пчел — папа обрушил на стул, он принес его в жертву, и этим искупил свои грехи — все не сказанное им и не сделанное, но он ошибся, не рассчитал: ремень больно ранил воздух, и этот воздух бумерангом ударил по папе, порезал его своими расколотыми краями, так что вышло, что папа сам стал петухом, и неведомо, искупил ли грехи, и простит ли папу израненный воздух... Я смотрю на папу, на седые редкие волоски на шее, как будто его уже пытались ошипать для супа, на глубоко посаженные птичьи глаза за большими очками, на похудевшие руки, на взъерошенный, но совсем не победоносный вид, и думаю: петух, конечно же, петух, бедный петух, который проиграл в петушином бою, и из-за этого его надо было принести в жертву — проигравших съедают, из них готовят суп, бедный папа, зачем же ты избил воздух и стал петухом?.. Бедный папа...

Леня, четвертый любовник, был совсем не в моем вкусе — блондин. Но я сразу в него влюбилась из-за жеста, которым он откидывал назад челку, и из-за того, как он уверенно и небрежно жевал жвачку — как в кино! Он приехал в Израиль всего месяц назад, поэтому я не понимала, откуда это он такой уверенный и небрежный. Хотя у него были модные кроссовки и свой магнитофон с кассетами. Но все равно! Он был тут всего месяц, а я целых два года, у меня было явное преимущество, и я всему его учила: и ивritу, особенно ругательствам, и тому, как одеваться, но главное — я рассказывала ему о самом важном. Например, про «макор ахасида» — «клюв цапли» — липучие продолговатые колоски: срываешь горсть, бросаешь в кого-то, и смотришь сколько колосков прилипло к одежде, если три, значит у этого человека будет трое детей, если одиннадцать — то все одиннадцать! Открыла ему безымянные красные цветочки, похожие на пилюлю: если надавить на них, цветок лопнет и издаст такой же восхитительный звук, как воздушные кружочки на оберточном целлофане! Рассказала про то, как смешно называют богомола — гамаль Шломо (верблюд Шломо) и мокрицу, которая сворачивается в шарик — Ури кадури (Ури-мячик). Спела песенку, которую поют улитке, чтобы она вышла из домика: «Береле, береле, це ахуца!» («Береле, береле, выйди наружу!») А в апреле, сразу после Песаха, я рассказала Лене о своей главной страсти: о шелковичных гусеницах. Они жили у меня в коробке из-под ботинок: полосатые черно-белые мальчики и белые пухлые девочки. Сначала, когда учительница природоведения подарила мне их, они были маленькие и тоненькие, как глисты, а потом наелись тутовых листьев и сильно подросли. Они только и делали, что ели и толстели. И какали: к вечеру коробка заполнялась черными кубиками размером со спичечную головку. Я любила смотреть, как гусеницы едят. Они ели бесшумно, аккуратно — выгрызая узоры в листьях, методично и страстно. Это были очень серьезные гусеницы. И очень прожорливые. Леня помогал добывать корм: каждый день

мы залезали на большое тутовое дерево около моей школы и срывали несколько охапок листьев. А иногда я залезала одна, а Лёня оставался внизу и, шурясь от солнца, смотрел вверх — делал вид, что готов поймать меня, если упаду, а на самом деле — заглядывал мне под юбку. Но я почти всегда была в шортах, и Лёня лез вместе со мной. В мае, когда остальные дети объедались туловыми ягодами и возвращались домой с фиолетовыми липкими руками и фиолетовыми языками, нас волновали только листья — гладкие листья с четкими линиями, похожими на линии жизни, шелковистые листья — специально для шелкопрядов. Мы приносили гусеницам добычу и играли у меня в комнате, а гусеницы кормились и росли. А когда они стали совсем большими и медлительными, тогда — одна за другой — залезали на стенки коробки и вили вокруг себя кокон — так же основательно и трудолюбиво, как до этого ели. Из рта тянулась тоненькая ниточка, и гусеница обматывала ее вокруг себя — круг за кругом. Пока, наконец, в коробке не осталось ни одной гусеницы, а только светло-желтые коконы, похожие на «бамбу», хрустящее кукурузное израильское лакомство. Я боялась, что кто-то может открыть коробку и съесть коконы, перепутав с бамбой. В середине лета из коконов вылупились бабочки и улетели. Бабочки улетели, и я о них не жалела. Я жалела о гусеницах, которые нравились мне гораздо больше: бабочки были красивые и бесполезные, а у гусениц была цель, и они упрямо к ней шли... А еще мы с Лёней охотились на кузнечиков. Ленивыми летними вечерами у меня дома жила тишина, выпихивала меня на улицу: мама и папа сидели дома, сторожили свою тишину, подкармливали ее, а мы с Лёней охотились на кузнечиков. Кузнечики жили и стрекотали в кустах с белыми, пахучими и клейкими цветочками. Папа говорил, что это не кузнечики, а цикады — крупные, темно-оливковые, но на иврите все равно одно слово — харголь, а цикада — это вроде стрекозы: стремительная, невероятно поющая, неуловимая и грациозная, я не смела охотиться на цикад, а на озорных, прыгучих кузнечиков — смела, поэтому я звала цикад кузнечиками, и мы с Лёней охотились на кузнечиков. Мастерство было в том, чтобы поймать кузнечика в кулак, не оцарапав руку о колючки и до того, как кузнечик успеет прыгнуть. Конечно же, я превосходила Лёню — не зря я так долго изучала повадки кузнечиков, их ритм, их прыгучесть. Я подстерегала кузнечика, потерявшего бдительность, увлеченного своим стрекотанием, зажимала в кулак и держала — крепко, но бережно, чтобы не раздавить. Потом, конечно же, отпускала, но сначала разглядывала — похожие на смычки пружинистые конечности, изящные антенны и глаза пришельца. А потом ловила другого и тоже отпускала, и опять ловила и отпускала — у меня были натренированные кузнечиковые пальцы, настроенные на кузнечиковую волну. Иногда кузнечик срывался до того, как вокруг его тельца смыкались мои пальцы, но это тоже было красиво: мы наблюдали, как сжимается и разжимается пружинка, и кузнечик звонко подпрыгивал, и дугой улетал в темное летнее небо. Больше всего кузнечиков было в кустах во дворе моей школы. Летом она, конечно, была закрыта, ворота были заперты, и мы с Лёней перелезали через двухметровый железный забор и ловили кузнечиков до одурения, а потом бежали наперегонки с песчаной горки. Однажды мимо проходила Ленина мама и поймала нас на месте «преступления»: Лёня был уже во дворе моей школы, по ту сторону забора, а я перелезала — одна нога тут, другая там, и громко, на всю улицу, пела. Увидев Ленину маму, я сразу спрыгнула во двор школы, и мы с Лёней взялись за руки

и побежали — вдоль забора, а потом дальше, вглубь, и — бегом, как сумасшедшие — вниз с песчаной горки, и все это время не разжимали руки. Леня откидывал назад челку — уверенно и небрежно — и смеялся, и я тоже смеялась, и мы бежали так быстро и легко, как будто летели, бежали сквозь мягкую, невесомую темноту, и чувствовали, что никогда еще не были так близки. А потом мы два часа подряд ловили кузнечиков и запускали их с наших ладоней в космос, где они превращались в звезды и мерцали, и подмигивали нам... Это был наш последний вечер. Ленина мама, конечно же, позвонила моей, и нам устроили очную ставку в присутствии родителей, а потом нам досталось. Уже не помню, как меня наказали, наверно, не очень сильно, и тем более не помню, как наказали Леню, только помню, что во время разговора с родителями он очень громко жевал жвачку, теребил длинную, выжженную на солнце прядь волос и избегал смотреть мне в глаза, а потом сказал, что это я уговорила его лезть через забор. Так и было — Леня сказал правду. Он оказался правдивым мальчиком, правдивым предателем и трусом. А этого я простить не могла.

Мама и папа разводятся. Они так торжественно мне об этом сообщили, как будто это было большим сюрпризом, и я сама бы ни за что не догадалась. Я еще месяц назад сказала Дани с пятого этажа, что мои родители, наверно, разведутся, а он сказал, что в таких случаях делят вещи, и что если папа заберет мою кровать, то я могу ночью приходить домой к Дани и спать в его кровати, и я поняла, что я Дани нравлюсь. Но мою кровать никто не забирает. И мебель никто не делит. Зато они никак не могут поделить книжки. Я захожу как раз когда мама говорит: «Хотя бы Шекспира оставил своей дочке!..» И слышу папин ответ: «Рано ей еще Шекспира, она ничего не поймет». А я говорю: «А вот и не рано! А вот и читала! Ромео читала! И Джульетту читала! И все поняла!» И папа снисходительно улыбается: «И что же ты поняла?» И я кричу изо всех сил: «Я поняла, что они молодцы, они правильно сделали, что вовремя умерли, потому что все равно потом развелись бы и вопили бы на всю квартиру: "Достоееееевский!", "Чееееехов!", как два дурака!» и ухожу в свою комнату, хлопнув дверью. И там сажусь за письменный стол и думаю, стоит ли включать Дани в «список любовников». И решаю, что не стоит: конечно, он очень красивый, даже слишком красивый, и я почти готова его полюбить, но мне сейчас не до любви: мама с папой разводятся, и надо быть начеку — мало ли что. Можно сказать, что Дани мой «почти любовник», ведь когда он мне предложил свою кровать, я чуть не растаяла, но «почти» не в счет.

Зато Тома, рыжего Тома я не могу не включить в список. Хотя никогда его не любила. Но он так любит меня, так любит меня, что он больше «любовник», чем все остальные в этом списке, просто он любовник наизнанку, потому что я его не люблю. Я даже не знаю, как его можно любить: толстый, медлительный, вечно потный. Зато он знает, как любить меня. Он не говорит о своей любви, он вообще мало говорит, просто расплывается в улыбке каждый раз, когда видит меня, и его рыжее лицо — все в веснушках — становится похожим на большой блин. Он знает, как любить меня, и приносит мне щедрые дары: кузнечиков, зажатых в кулаке, горсти божьих коровок, гусениц, завернутых в листья, рыжих сердитых муравьев в банке с землей. Гусеницы уползают, муравьи зарываются в землю, кузнечики прыгают в небо, а божьи коровки слетают с руки Тома до

того, как я успеваю их рассмотреть. Я остаюсь ни с чем, но таких прекрасных подарков я не получала ни от кого. А еще мы помогаем улиткам. Мы создали секретный отряд, он так и называется: «отряд по спасению улиток». Улиткам страшно тяжело живется, им все время нужно помогать. Они круглые и большие — размером почти с абрикос, а их домик похож на морскую раковину. Летом они тратят весь день на то, чтобы залезть на низенькие круглые фонари, которыми утыкан газон. А вечером фонари зажигают, и улитки могут умереть от перегрева — сгореть, высушиться. Я этого никогда не видела, но точно знаю, что от фонарей они умирают. Поэтому летними вечерами мы с Томом выходили на дежурство и снимали улиток с фонарей, и — если успевали — заходили еще и в соседние дворы и делали то же самое. А на следующий вечер глупые, упрямые улитки опять оказывались на фонарях, и опять надо было их оттуда снимать, так что мы не скучали, работы было по горло, и мне было чем заняться, я не сидела без дела и не думала о том, как печально закончилась история с Леней. А с тех пор как похолодало и начались дожди, надо вообще все время быть начеку. Улитки любят, когда мокро и влажно, и выползают. Они не остаются на газоне, а выползают туда, где ходят все жильцы восьмиэтажного дома. Ползут себе с одной стороны газона на другую — может, в гости друг к другу, ползут по мокрому асфальту, по которому ходят взрослые люди — они все время спешат и смотрят вперед, а даже если и смотрят мрачно под ноги, то все равно ни черта не видят. И каждый день новые жертвы: хрустнувшие под чьей-то подошвой круглые морские раковины. Поэтому наш отряд по спасению улиток старается изо всех сил. Я прихожу домой, обедаю, быстро делаю уроки и бегу на улицу, где меня уже ждет Том. И начинается работа: медленно обходим весь дом, стоянку за домом, тротуар, и как только видим улитку в опасности, аккуратно поднимаем ее и переносим на траву или на куст, и стараемся не менять направления движения — вдруг она и правда идет к кому-то в гости. Но улитки очень упрямые и неблагодарные: мы едва успеваем обойти всю улицу и вернуться, а у нашего дома опять полно улиток на асфальте и надо начинать все сначала. Том уже устал и тяжело дышит, и страшно потеет. Он стоит рядом и виновато улыбается, и смотрит на меня с обожанием, и его лицо похоже на большой блин, а я нагибаюсь и распрямляюсь, и опять нагибаюсь, и горячими пальцами поднимаю с асфальта улиток, одну за другой, и кладу их на мокрые листья, и мне жарко, и почти хорошо, и я вижу, как Том на меня смотрит, и хочется его полюбить, но не могу.

Хоть убейте, никак не могу понять: что разведенные мамы делают с вешалками?! Когда папа ушел, он забрал свои брюки и рубашки, и в шкафу остались только мамины платья и пустые вешалки. Я несколько раз залезала в шкаф и там еще немножко пахло папой. И тогда я придумала такую игру: как будто папа не ушел, а уехал на войну с марсианами, и я должна охранять его вешалки, и тогда он вернется и опять будет жить с нами. А через неделю я открыла шкаф, а вешалок уже не было, только мамины платья. И я поняла: папа уже никогда больше не будет жить с нами. Но куда исчезли вешалки? Может, есть такое специальное место, вроде склада, куда их относят? И большая вывеска: «Вешалки от ушедших пап». Нет, лучше так: «Послепаповые вешалки». И эти вешалки так и хранятся на складе, а продавать их нельзя — из суеверия, а то вдруг чей-то другой папа купит вешалки и тоже уйдет — это заразно!

В конце ноября всегда идут дожди. Это самый грустный месяц. Почти отцвел мой любимый осенний цветок — хацав, похожий на белую морскую звезду, и далеко до хануки и до моего дня рождения, хотя на самом деле всего три недели, но кажется, что очень далеко, и целыми днями проливные ливни (хотя они всегда проливные, они ведь проливаются), и ничего не происходит, ровным счетом ничего, такой это унылый, тоскливый месяц, месяц сплошного ожидания — ожидания декабря. А тут еще мама все время плачет — она это от меня скрывает, но я знаю, потому что у нее краснеют веки и глаза, и нос. Она говорит по телефону с папой — почти каждый день, и плачет, и я никак не могу понять, зачем надо было разводиться, чтобы говорить каждый день по телефону и плакать. Единственная хорошая вещь — это Тора, которую мы, наконец, начали учить, с самого начала второго класса. Там очень интересные истории, а самое главное — она очень вкусная. То есть, там вкусно все рассказано, подробно: про верблюдов, ослов и овец, про серебряные шекели и про золотые шекели, про хлеб и виноград и финики, про караваны в пустыне, про пурпурные одежды первосвященников. Мне нравятся все эти слова: они очень вкусные и сытные, особенно хлеб — лекем. Читаю про хлеб — а там много про хлеб — и сглатываю слюну. А тут еще от самой книги — небольшой книги в темно-синей обложке и с очень тонкими листами и старинным шрифтом, заманчиво и вкусно пахнет — типографией, это — любимое папино слово, а мое любимое — лекем, но пахнут они почти одинаково, и на уроках Торы я всегда хочу есть. Иногда я беру с собой двойной завтрак, и отламываю куски от белой булки с маслом — на коленях, под столом — украдкой запихиваю в рот и долго держу, и тогда совсем хорошо, и вдвойне вкусно произносить про себя вкусные слова на иврите, и держать хлеб во рту, и бояться проглотить... Но сегодня я забыла про булку с маслом, даже не достаю ее, она так и осталась лежать в рюкзаке, сегодня мы проходим про Якова и Рахель, и про то, как он работал за нее у Лавана семь лет, но так любил ее, что они показались ему как семь дней, и я так потрясена этой фразой, что даже потеряла интерес к аппетитному описанию стада Якова, про то, как у него стали рождаться ягнята в клеточку и в крапинку. Целых семь лет — это как мне, точнее, будет восемь, но это еще через три недели, и это очень много, ведь в ноябре время всегда тянется, я уже с июля всем говорю, что мне «скоро восемь», но внутри чувствую, что на самом деле — семь. У меня столько всего случилось за семь лет: я родилась, жила, научилась читать, переехала из Москвы в Израиль, пошла в школу, у меня было четыре с половиной любовника (если считать Тома за половинку), а для Якова эти семь лет были как семь дней, потому что он любил ее, любил ее, но я тоже любила и Ладю, и Шахара, и Колю, и Леню, но не так, я знаю, что не так, а Том любит меня, но что же означает это странное «любит», и «как семь дней», и если ты любишь кого-то так же, как Яков, можешь ли ты развестись, можно ли любить так и развестись, и никогда не знаешь, что и как будет, и когда закончатся «семь дней» и начнется один длинный, нескончаемый день, и семь дней будут тянуться, как «семь лет», как время в ноябре, и ты поймешь, что все позади, что «и они показались ему как семь дней» больше не будет, никогда... Я думаю об этом весь оставшийся урок, и после звонка, и когда плетусь к воротам школы, где меня встречает папа, который приезжает ко мне каждую среду, и во время прогулки с папой тоже думаю об этом, и поэтому рассеяна, и даже не радуюсь тому, что опять пошел дождь, и папа повел меня в кафе есть мороженое — ведь мама никогда бы не

разрешила мне есть мороженое зимой, но сейчас это неважно, я по ошибке беру клубничное вместо любимого шоколадного, и думаю про «семь лет», про «семь дней» и про «он так любил ее»... А потом папа провожает меня до дома, где на ступеньках уже сидит Том и ждет меня, сидит прямо на влажных после дождя ступеньках, без куртки, и, наверное, у него совершенно мокрая попа, но ему все равно — он смотрит на меня, расплывается в улыбке, и лицо его становится похожим на огромный блин. Папа целует меня и уходит, а Том говорит: «Ну!» — это он об улитках, сегодня их выползло очень много, я даже чуть не наступила на одну, поднимаясь по ступенькам. Том говорит еще раз: «Ну!», и добавляет: «Идем спасать!» А я сажусь рядом с ним, на влажные, грязные ступеньки, сажусь прямо в белой куртке, зная, что мне попадет от мамы, и говорю: «Нет.» И потом повторяю, громче: «Нет!» Том не может поверить, а я яростно говорю: «Все, Том, мы с этим закончили, больше ничего не будет, никакого отряда по спасению улиток, это — просто глупость и все, ты же понимаешь, ну, конечно, ты понимаешь — это совершенно бесполезно, это абсолютно глупо, и бессмысленно и бесполезно: мы не можем их всех спасти, даже одну не можем, она в любой момент может выползти на асфальт, нас там не будет, и на нее наступят, нет гарантий, никаких гарантий, зачем их спасать, раз они все равно идут к своей смерти, они стремятся к ней, они глупо и упорно умирают, и так будет всегда, как бы мы ни старались, и я не хочу себя больше обманывать, думая, что мы спасаем, мы никого не спасаем, это только отсрочка — на день, на два, они все равно умрут, и это все бесполезно, бесполезно, я больше не хочу, и не буду, не буду, не буду!» И плачу, очень зло плачу, и знаю, что у меня красное лицо, и грязная куртка под попой, и от этого плачу еще сильнее, а Том смотрит на меня, ничего не говорит, дает мне выплакаться, а потом — когда я уже только всхлипываю, подходит ко мне и приказывает — тихо и властно: «Будешь. Ты будешь это делать. Ты сейчас встанешь, и мы пойдем спасать улиток, да, это бессмысленно, да — бесполезно, но это надо делать, — я знаю, поверь мне, просто надо и все! И ты будешь это делать! Будешь, будешь!» И я в потрясении, потому что Том никогда не говорит так много, он медленно думает, и медленно говорит, и обычно только три-четыре слова за раз, я в таком потрясении, что механически встаю, и впервые я иду за Томом, а не он за мной, и я спасаю улиток, потому что Том сказал, что так надо. Я иду и спасаю улиток, я понимаю, что это — бессмысленно, да — это бесполезно, но это надо делать, и я делаю, иду и спасаю улиток, все иду и спасаю улиток, я давно выросла, я не знаю где Том, и куда забросила его жизнь, но когда вижу улитку на мокром асфальте, я поднимаю ее за домик и кладу на лист или в траву — не меняя направления движения: вдруг она идет в гости, я не могу поступить иначе — ведь я состою в отряде по спасению улиток, потому что их нужно спасать, потому что это абсолютно глупо, и бессмысленно, и бесполезно, но так надо.

Олег Чухонцев



Стихи и переводы

Моя первая публикация в «Дружбе народов» появилась в 1958 году, когда отделом поэзии заведовал Ярослав Смеляков. «Дружба народов» — единственный серьезный журнал, который первым напечатал самые дорогие, самые «непроходимые» мои стихи.

Поэт всегда находится со своим временем в конфликтных отношениях. Любой поэт. С любым временем. Тема родины — тема времени тоже.

Все мы меняемся с годами, и хотя теперь я сам смотрю на свои старые стихи, что называется, со смешанным чувством, если не с досадой, в смысле биографическом, да если хотите, и в историческом, они вполне объективны.

* * *

На Каме-реке и на Белой реке —
леса над водой и леса вдалеке,
большая вода с островками;
затоплены русла и на море вод
то вынырнет куст, то труба прорастёт
на Белой реке и на Каме.
И реки не знают своих берегов!
Весной, когда паводки сходят с лугов,
стога подмывая и ёлки,
с верховий уральских по фронту реки
плывут, как утопленники, топляки,
их ловят баграми у Волги.
Страна моя! Родина братских могил!
Наверно, небедно нас Бог наградил,
коль пашни свои затопили
и боры свели ради пресных морей
и сами для будущей жатвы своей
по водам свой хлеб отпустили.
Ну что же, распашем речной чернозём,
по руслам затопленным к устью пойдём,
и пресное станет солёным.
Вокруг и под нами струящийся мрак,
а звёзды на Каме как царский пятак,
а воздух шибает озоном.
Широкая ночь упирается в грудь.
Постой, подыши. Ничего не вернуть,
лишь волны гуляют на Каме.
Мотор пневматически бьёт молотком.
И сердце стучит, но о ком? и о чём?
Ни зги не видать за буями.

Пробуждение

1

Проснувшись, и в сознание приходя
с трудом, и в темноте соображая,
что со своей женой лежит, хотя
жена могла быть рядом и чужая,
и то, что он лежит не где-нибудь,
а в собственной постели, на кровати,
вдвоем с женой, а ведь еще чуть-чуть —
и мог бы очутиться в результате
не здесь, где он очнулся в темноте,
а где-нибудь в подъезде повалиться
или в сугробе, неизвестно где,
а мог и вообще не пробудиться,
а если и проснуться, не понять,
где: в вытрезвителе иль на вокзале
на этот раз, и хорошо кровать,
а то бы лавки, нары, вот бы стали
допытываться: кто? да тыкать в грудь,
да личность выяснять, слюнявя палец,
и разве объяснишь кому-нибудь
хоть что-нибудь, и ладно бы мерзавец,
а то ведь свой же брат, но с кобурой
на горло брал бы, а уж горло точно
как у Царь-пушки, поглядишь: герой!
и морда — во! — недавно со сверхсрочной,
небось в дежурке, балуясь чайком,
сидит такой, как в Киселёвке дома,
тепло, светло и голубь за окном,
откроет рот — и нету полбатона,
вот так сидит, а голубь смотрит в рот
голодным оком, смотрит, выжидая,
не поперхнётся? нет? — едок не тот,
не поперхнётся! — и была такая,
такая рань еще, что не со сна,
а с радости, что на своей кровати
проснулся, и бок о бок спит жена,
и сам он цел-целехонек, и кстати
есть самогон в заначке, а ведь мог
не быть, и что никто ему не плюнул
ни в душу, ни в лицо, — а вечерок,
пожалуй, получился, он подумал.

2

Проснулся, кот, подумала жена,
привычно просыпаясь, как на шорох
замёрзший караульный старшина
у складов оружейных, у которых
пропискнет мышь — и чудится шпион,
и так лежала, затаив дыханье,
воскресным утром, слушая сквозь сон,
как он встаёт, и зная всё заране:
и что сейчас у мужа на уме,
а у него одно, и зная даже,
где самогон — давно бы уж в тюрьме
сидел дружок, не будь она на страже, —
и слушая в сердцах, как за стеной
трубит смеситель, с болью под лопаткой
внезапно поняла: и у самой
сработалась какая-то прокладка,
не заревела бы, как этот кран,
а ведь не так давно один художник
водил её в шикарный ресторан,
а он мужчина был, а не валежник,
дарил цветы и говорил не раз:
у вас неординарная фигура,
я нарисую обнажённой вас,
да хоть бы голой! испугалась, дура,
уж не больной какой: ну что за блажь
глазами щупать? баб не видел, что ли?
вот мужики пошли: один алкаш,
другой маньяк, поди, тут поневоле
бесполой станешь, волочишь как вол
семейный воз, а ночью наваждение:
то апельсины падают в подол,
то Польша, объявляют, в положение,
ну Польша-то к чему? пускай родит!
тут дочь родная не дала бы крена,
тринадцать лет, а этот паразит
зальёт глаза — и море по колено,
а хлопнется в постель — и вся любовь,
хоть вызвали куда мозги бы вправить!
нет в жизни счастья, говорит свекровь,
и что обидно: дура, а права ведь.

3

Последний год всё чаще говорят
о счастье и о мире во всём мире,
спросонок поразило, год назад
ещё не так об этом говорили,
уж не к войне ли, бабка говорит
и крестится, и так изводит маму,
что у неё нашли миокардит,
а я люблю воскресную программу,
жуёшь себе с колбаской бутерброд,
а кто-нибудь, тряся свою бандуру,
перед тобою пляшет и поёт,
я вообще люблю литературу,
вот где балдеешь, взять хоть Лужники,
народу туча, нет пустых скамеек:
прожектора, поэты, пирожки
с повидлом по одиннадцать копеек —
копейка олимпийский сбор, — гляжу,
один выходит, свитерок с фасоном,
сiju вот так и пирожок держу,
а он с рукою перед микрофоном
как в поезде качнулся вдруг — идут
белые снега, а на слово шустрый,
так завернул, что даже ком вот тут,
не сразу раскусила, что с капустой,
да где тут аппетит, а стадион
так и гудит! — из корифеев кто-то
не зря сказал, что человек рождён
для счастья, мол, как птица для полёта,
тут есть о чём подумать, мне везёт,
а может, я счастливая, не знаю,
счастливая, наверно: папка пьёт
и мамка лается, а я летаю,
раскину руки и плыву, плыву,
пока во сне, но говорили в школе,
что можно оторваться наяву,
сосредоточившись усилием воли,
и я иной раз выйду на балкон,
в лопатках страх, но неземная тяга
толкает полететь, я слышу звон,
шажок, ещё шажок, ещё полшага...

4

Прости, Господь, что разумом темна,
прости меня, неграмотную дуру,
что вместо окаянного вина
поставила ошибкой политуру,
моя вина или попутал бес,
помилуй бестолковую Матрёну,
что он спросонок в валенок полез,
сынок мой, а сноха ушла из дому,
лишь дверью хлопнула — куда? зачем?
неужли из семьи? или за пивом?
пошли, Господь, Своё терпенье всем
и ухо приклони к нетерпеливым,
к изверившимся, к сбившимся с пути,
кто матерью гнушается и домом,
и стар и мал, мы все в Твоей горсти,
так с сердцем не оставь ожесточённым
нас в тесноте фанерной без икон,
и так перед людьми чужими стыдно:
— Пошла бы ты, Матрёна, в исполком
да помахала б книжкой инвалидной, —
а перед кем махать-то? или Ты
оставил нас властям и учреждениям?
спаси нас от душевной тесноты,
и так по горло сыты мы презреньем,
князья земные, их глаза пусты,
а их столы обильны всяким хлебом,
за свой паёк положат животы,
а наш кусок солёный им неведом, —
не откажи и Ты слезам моим,
не для себя ищу Твоей поддержки,
истаяли деньки мои как дым
и кости выжжены как головешки,
не оставляй, прошу, мужей и жён
и огради детей Своей десницей,
отставь от тех, кто алчет, самогон,
а тем, кто выпил, дай опохмелиться
слезами их, и если грех наш весь
перед Тобой, Тебе метать и громы:
что со слезами мы посеём здесь,
потом с великой радостью пожнём мы.

* * *

Колючий воздух утреннего Крыма
и этот свет — не ярок, а слепит.
— Скажи, скажи! — но грусть неизъяснима,
лишь галька черноморская скрипит.

Отбушевав, отпнясь, море кротко,
как после близости. И ты со мной.
И сохнет перевернутая лодка
на берегу, забытая волной.

О чем еще? Я был недавно молод
и тоже бушевал. Но поутих.
Как это назовешь: внезапный холод,
озноб восторга и тщету двоих?

— Люблю, люблю! — еще бормочут губы,
а опыт сердца не находит слов,
и тихие серебряные трубы
поют, не слыша наших голосов.

Не говори ни слова. Дай мне руку
на неизбежное. На здесь и там.
На встречу или вечную разлуку.
На память жизни, предстоящей нам.

Никто от своего не уклонится.
Какого же еще подарка ждать?
Какой невосполнимостью томиться?
И так с избытком эта благодать!

Паруйр Севак

С армянского. Перевод Олега Чухонцева

Когда застывает взгляд

От слова о д и н о ч е с т в о
дрогнет и воздух в комнате.
И я осознаю, что у человека
самое слабое место — глаза.

Когда застывает взгляд, говорят:
кто-то должен прийти.
Если это не ложь, то доброта,
и родилась она от бессилья, и только.
Мой взгляд застывает,
но ты не придешь.
Не можешь прийти, я знаю!
И воздух в комнате будет дрожать
от слова мучительного
о д и н о ч е с т в о,
напоминая о том, что пропасть,
может быть, и существует затем,
чтоб испытать человека.

Как мне быть,
если это действительно так,
если пропасть действительно существует
для того, чтобы броситься вниз?
Что мне делать,
ведь я не кувшин, а кувшинка
и падаю, падаю, не разбиваясь,
а опадая...
Я просто устал.
Я устал, как бумага устала от слов,
бледных и невыносимо бескрылых,
которые также меня выражают,
как курица самолет...

Есть ложь, которая стоит правды;
я верю в сознательную ложь,
что мы друг друга не потеряем.

Есть страх, который стоит смерти,
я опасаюсь, что жизнь войдет в колею,
а я останусь жалким историком боли.

Есть шаг, наконец, который стоит полета,
и я вырываю себя из собственных мыслей,
как вырывают из десен здоровый зуб.

Я просто устал.
Настолько устал,
что ничего не чувствую,
боли не ощущаю.
Ах, если б только не ощущать, что глаза —
самое слабое место у человека.

Под ношей

Ты проходила...
Казалось, весь вечер был твой,
вечер весенний —
и ты проходила легкой походкой.
Будь платье со шлейфом,
я мог бы сказать:
за тобой и вечер, как шлейф волочился.
Но ты была в платье коротком
и в складках колен собиралась вечерняя темь,
пока на плечах золотел догорающий день...

Косые лучи облекали тебя в золотое шитье
и пряжей блестящей наматывались на пуговицы,
и тень вырастала, как обаянье твое,
и, опережая, тянулась, тянулась по улице...

И чем-то довременным обдало из темноты,
и странное чувство возникло, сосущее, ноющее:
когда есть такое сокровище в жизни, как ты,
как мог я считать эту жизнь
пустой и нестоящей?
Как мог я оскомину чувствовать, а не блаженство,
не верностью ей дорожить, а свободой жеста?

Как часто я опускался до унижительных ссор,
до ненависти и гнева — лишь бы наперекор.
Я чувствовал не восхищение,
а злобу и отвращение,
Вот потому сегодня — хоть поздно! —
прошу прощенья...

Хватит! Я больше не буду
отягощать чужую судьбу!
Не буду больше склоняться
под гнетом житейской ноши!
И так я несу с рожденья
огромный орган на горбу,
несу на спине, как горб, —
до смерти, видно, не брошу...

Пока ты идешь — он звучит...
О, проходи, проходи!
Чтоб легкой походке в такт
и кровь моя бешено билась,
чтобы глаза успокаивались,
видя тебя впереди,
чтоб, тайно владея тобой,
сердце к тебе стремилось
и чтобы, как тень, тянулись покой и умиротворенье
и легкими полами платья развеивались сомнения.

Ояр Вацietис

С латышского. Перевод Олега Чухонцева

Земля

Мария, ты мне обещала в ту ночь, когда перестанут
стрелять в каждого, кто ходит ночами, что ты пойдешь
со мной вдоль цветущего поля ржи до конца, до
следующего поля и снова до следующего, пока я не
почувствую вдруг, что ты — святая.

Тебя закопали где-то в конце второго поля, потом мы
долго со стариками твоими землю рыли, вырыли целый
карьер, ища тебя, а потом проходила другая, и я за нею
ушел, а старики остались копать, пока не померли сами.

Мария, эта земля полынная, нам возвращающая лишь пот
и труд и ни гроша в придачу от боли, ненависти, любви, —
эта земля полынная наша, пот возвращающая и труд,
в себя вобравшая и потерявшая ту Марию, которая мне
дала обещанье, что я почувствую рядом святыню, —
слово сдержала.

Эта земля — священна.

* * *

Что-то легонько-легонько, как снегопад,
что-то тихонько-тихонько и еще тише —
ты лишь начни, а о чем слова говорят —
я уже близко и так — и это услышу;
ближе и быть невозможно — я и вдали
близок настолько, что сведены расстоянья,
эти пространства так наши судьбы свели,
словно и воздух прозрачен от пониманья,
и так легонько — и слова не уронив,
и так тихонько — и снега не замечая,
самое грустное спой — самый грустный мотив
легче молчанья.

Песенка о безумной Лизе

Ты слышала: ночью гроза разразится,
безумная Лиза, безумная Лиза,
иди же ко мне с головою укрыться,
безумная Лиза.

Для брачных поминок, безумная Лиза,
безумная Лиза, безумная Лиза,
сплетут тебе черти венок из кувшинок,
безумная Лиза.

Со мною до смерти, безумная Лиза,
безумная Лиза, безумная Лиза,
тебя похоронят болотные черти,
безумная Лиза.

А после — нас Бог милосердный рассудит,
безумная Лиза, безумная Лиза,
да нас уж не будет, безумная Лиза,
безумная Лиза.

Погонят ребята, безумная Лиза,
безумная Лиза, безумная Лиза,
по косточкам нашим рогатое стадо,
безумная Лиза.

Золотые страницы «ДН»

Дмитрий Быков



Знак беды и знак надежды

Василь Быков. «Знак беды». — «ДН», 1983, 3, 4 (Ленинская премия 1986 г.)

«Знак беды» появился в мартовском номере 1983 года, открывавшемся, насколько помню, подборкой Окуджавы (ради которой и был куплен в газетном киоске журфака, поскольку я, тогда девятиклассник, занимался там в Школе юного журналиста). Первое стихотворение этой подборки, опубликованной после долгого перерыва и удивительно оптимистичной, я до сих пор помню наизусть, так и процитирую, не сверяясь с текстом: «Внезапно спал мороз, и ртутный столб взлетел. Узкоколейка санная коробится манерно. Неужто это то, чего я так хотел? А впрочем, это самое из нужного, наверно. Вот обрубает лед ленивым топором, и ручейками хилыми сбегает он в овраги, а я пишу стихи отточенным пером лиловыми чернилами по меловой бумаге. Во всем видны судьба, и пламень, и порыв, и с заметями снежными разделаться несложно... Надеюсь, что не зря все, чем я жил и жив, и я живу надеждами — иначе невозможно».

В восемьдесят третьем, в глухое андроповское время, демонстрировать подобный оптимизм было странно — и между тем я потому и запомнил эти стихи, что они совершенно совпадали с моим ощущением: нечто началось. И «Знак беды», при всем трагизме этого сочинения, был на самом деле знаком перемен, которые от власти ничуть уже не зависели: советская литература в своем развитии давно обгоняла политику и с ней не считалась. На журнальные страницы все чаще прорывались вещи, которые никак не согласовывались с советскими фундаментальными установками — с чего, собственно, и началась горбачевская реформация. «Знак беды» — вещь революционная, и не только для Быкова, но скорей для советской концепции двадцатого века: война тут предстает возмездием за советскую бесчеловечность, вынужденным возвращением к человеческой норме. Во всяком случае так я это прочел тогда — и, пожалуй, с тем же ощущением перечел сегодня.

Быков, которого я считал величайшим из однофамильцев и с которым пятнадцать лет спустя познакомился в Минске (интервью велось при телефоне, прикрытом от прослушки подушкой), вообще не слишком социален, он никогда не приписывает зло конкретному режиму — скорей уж человеческой природе, в которой это зло растворено; и в «Знаке беды» не Белоруссия, не Россия расплачиваются за коллективизацию, а конкретные люди — за то, что «не отказались». С того прочтения я и запомнил главные, на мой взгляд, слова в повести: «Но вы же не отказались». Произносит их пан Яхимовский, который потом повесится («даже на то, чтоб повеситься, человеку не хватило места, так было низко и неудобно в этом амбаре»). Когда хутор переходит к Петроку и Степаниде, они не отказываются — а кто бы отказался? Ведь не сами взяли — им его отдали. И Яхимовский никого вроде бы не винит — «Я совсем не желаю вам зла», — но напоминает: «Грех зариться на чужое». Холм, на котором похоронили Яхимовского, прозвали Голгофой, и ни на какое счастье, ни на какой достаток на хуторе рассчитывать не приходится — земля эта, пишет Быков, для жизни малопригодна. Речь, думаю, не о клочке земли, на котором живут Петрок со Степанидой, но о Земле как таковой. По Быкову, чья проза

трагична от самых ранних текстов до последних, вовсе уже безвыходных, — Земля малопригодна для жизни, а не просто «для веселия мало оборудована». И на этой Земле жить приходится так, чтобы по-самурайски — а в общем, по-христиански, — во всех моральных коллизиях выбирать смерть; об этом «Пойти и не вернуться», «Дожить до рассвета», «Мертвым не больно», а в особенности «Сотников» и «Обелиск». Нельзя брать то, что предлагают, никого ни о чем нельзя просить, ни на что нельзя надеяться; расплачиваться приходится за все. И Россия, и Белоруссия в войне расплатились именно за то, что слишком многое принимали, слишком многое терпели. И Степанида никак не может ответить — это в мире все перепуталось или в ней самой «что-то переиначилось, надломилось, превратилось в прах?». Знак беды — не замерзший жаворонок, хотя с этой дурной приметы все и начинается; знак беды — первое отступление, любая готовность смириться, хоть с советской, хоть с любой иной несправедливостью (те, кто прячется от колхозов, ничем не лучше — «свой» ограбил Степаниду, не посмотрев ни на какое родство; там, где советские или позднейшие авторы обычно отыскивали спасение, — в идее родства, рода, самой архаичной связи, — Быков никогда не видел спасения. У него был рассказ «Свояки», где как раз родня родню предает).

Самая же страшная мысль Быкова — о том, что народ расколот навеки («Раскулачивания ты вовек не забудешь»), а расколот потому, что и прежде в нем не было единства, нет ничего по-настоящему связывающего, даже родственные или соседские связи бессильны («Я же отца его знал! Отец человеком был!»). Гуж, сделавшись полицаем, мстит за раскулачивание — а не было бы раскулачивания, нашел бы, за что. Все перед всеми виноваты, никто никого не пожалеет, и под любым растлевающим гнетом — большевистским, фашистским ли, — в первую очередь вылезают наружу эти старые страхи, застарелая ненависть, задавленная мстительность. Вместо солидарности — одно непрерывное сведение счетов. Иначе никакая, даже самая крепкая и омерзительная власть не удержалась бы. Это и есть знак беды, бомба, заложенная под народ, — та бомба, которая в последней фразе повести «дождалась своего часа».

И, как мы знаем теперь, дождалась.

Не думаю, что прозрение Быкова было тогда всеми замечено, — скорее срабатывал шок от такого описания коллективизации и оккупации: ничего подобного советская литература не знала, хотя и секретом все это не было даже для школьников. Важно было ощущение, что почему-то вдруг на журнальные страницы прорвалась совершенно иная проза — с другим уровнем правды, с другой интонацией. Быков никогда не отличался жизнерадостностью и, в отличие от большинства современников, никогда не верил в народ, не прикрывался этой верой от ужаса жизни; но в «Знаке беды» все было как-то особенно беспросветно. Так называемые «чистые родники народной нравственности», о которых так любили писать в советские времена (а до того — в народнические), никакого отношения к реальности не имели, но мало кто об этом говорил вслух. Спасает только отдельная, частная человеческая верность собственным правилам, только отдельный, одинокий, чаще всего бессмысленный подвиг. Быков предъявлял человечеству исключительно строгий счет, писателей с такой христианской бескомпромиссностью не то что в России, а и в Европе было мало, — но что делать, если XX век требовал именно такого счета?

Повесть Быкова была знаком беды, но воспринималась как знак надежды; впрочем, все тогда казалось надеждой, а обернулось бедой. Проза самого Василя Быкова, как и участь его в лукашенковской Белоруссии, становилась все беспросветней. Чтобы появилась новая надежда, должен сформироваться новый народ — но боюсь, от этого мы сегодня еще дальше, чем тридцать лет назад, когда я покупал мартовский и апрельский номера «Дружбы народов».

Юрий Каграманов

На подходе ко Второму Просвещению

Стой, солнце, над Гаваоном...
Книга Иисуса Навина. 10:12

Существует ли средство предотвратить «закат Европы», точнее, европейской цивилизации? Если не брать в расчет возможность появления какого-нибудь нового Иисуса Навина, который прикажет солнцу остановиться.

С началом нынешнего века на разных академических перекрестках Запада заговорили о необходимости Второго Просвещения, которое придало бы европейской цивилизации новый импульс — подобно тому, как это сделало классическое Просвещение за десятилетия, предшествовавшие двум «Атлантическим революциям» (Американской и Французской).

Естественно, что Второе Просвещение, коль скоро таковое становится быть, начинается с самоопределения по отношению к своему классическому предшественнику.

Первое, что можно заметить о просветителях XVIII века: они представляли собой как бы одну дружную семью. И было у них «фамильное гнездо» — Париж. Конечно, очаги Просвещения возникали и в других городах — Эдинбурге и Неаполе, Амстердаме и Копенгагене. Не говорю уже о Лондоне, где Джон Локк стоял у самых истоков Просвещения; вообще англо-шотландцы сыграли очень существенную роль в подготовке этого движения. Но его бесспорной столицей был Париж — с его аристократическими салонами и демократичными клубами, его библиотеками и кофейнями. Здесь привечали и единомышленников из других краев, хотя иногда и подтрунивали над их французским языком или немодной завивкой парика. (Исключение сделали для американцев: с начала Войны за независимость они встречали здесь восторженный прием: Бенджамину Франклину и Томасу Джефферсону не только прощали их нечистый французский выговор, но даже подражали ему.)

Могут возразить, что считать просветителей единомышленниками — натяжка: в некоторых вопросах их взгляды существенно разнились. Это, конечно, так, но было нечто, что всех их объединяло: это вера в добрую природу человека и в неограниченные возможности науки (последнюю идею не разделял Руссо, но он вообще примыкал к Просвещению лишь «одним боком»). И еще их объединяло убеждение, что философы призваны изменить мир (Маркс не был первым, кто высказал эту мысль). И хотя большинство из них были собственно не философами, а скорее публицистами, *hommes de lettres*, — сегодня их называли бы интеллектуалами — дружным напором они таки сумели это сделать.

Мишель Фуко был близок к истине, сказав (привожу его слова по памяти), что Просвещение предопределило, «кто мы есть, что думаем и что делаем сегодня». Приведенные слова не означают позитивной оценки Просвещения (со своей точки зрения Фуко, как мы далее увидим, подверг его острой критике). В самом деле, еще можно понять тех, кто аплодирует многообещающей увертюре, но только оторопь должна вызывать дикая какофония, какую являет собою современная цивилизация.

Французский социолог Марсель Гоше пишет, что «воинствующее Просвещение постиг коллапс как раз на взлете его триумфа».¹ Но это сказано уже излишне категорично. В поле Просвещения были посеяны и питательные семена, которые следует отделить от плевел; и заданы загадки, которые надо попытаться разгадывать сегодня. В этом, очевидно, и состоит задача Второго Просвещения.

Идея о двух концах

Самая плодотворная часть из оставленного Просвещением наследства — его политическая философия. Это из его горнила вышла либеральная демократия, на которую многие народы и государства сегодня равняются. Между тем, понятие это составлено из двух не вполне «пригнанных» друг к другу частей. Либерализм делает акцент на свободе и правах личности, каждой в отдельности, а демократия ставит во главу угла «общее дело», будь то в масштабе нации или местной общины. Изначально либерализм тяготел к некоторому элитизму, а демократия склонялась к эгалитаризму. Раннее Просвещение в лице Локка, Монтескье и Вольтера (последний, прожив долгую жизнь, умер в 1778 году, но его взгляды в основном сложились уже в первой трети века) считало необходимым сохранять имущественный ценз, чтобы не допускать низшие слои к управлению государством. Но следующее поколение, энциклопедисты и Руссо, после некоторых колебаний приходило к выводу, что к участию в демократии должны быть привлечены все граждане, независимо от имущественного положения. Спор перекинулся и в Америку, хотя в этой стране таких «голяков», как в Европе, почти не было. Второй президент Соединенных Штатов Джон Адамс пытался отстоять особые права имущественной элиты, но верх взяла позиция Джефферсона, первого по значению идеолога молодой республики и ее третьего президента, отстаивавшего равные права для всех граждан (исключая до поры до времени женщин и негров). Джефферсон пытался влиять и на положение дел во Франции: в 1789-м он советовал своему другу Лафайету, редактировавшему в тот момент знаменитую «Декларацию прав человека и гражданина», исключить из нее всякие упоминания о собственности.

Спор об имущественном цензе время от времени и сегодня возникает в некоторых странах, в том числе и в России; так что можно считать, что этот поднятый Просвещением вопрос не закрыт окончательно. Как мне представляется, напрасно. Все люди должны быть равны в глазах друг друга, ибо ценность каждого из них, не исключая последнего бомжа, определяется на небесах. Эта истина заложена в христианстве, а инициатива ее практической реализации в гражданской сфере принадлежит просветителям. Честь им и хвала за это.

Но люди равны, если смотреть на них, так сказать, «сверху» и совсем не равны, если смотреть «снизу». Расширительное толкование принципа равенства оказывается ловушкой, в которую может провалиться целая цивилизация.

Раннее Просвещение как будто это понимало. Монтескье и Вольтер выступали, в частности, против всеобщего образования. Монтескье считал, что «человека с улицы» образование только портит. Вольтер опасался, что распространение образования на крестьян, составлявших подавляющее большинство населения, приведет к тому, что все они потянутся в города и некому будет работать на земле. Только содружество энциклопедистов во главе с Дидро и д'Аламбером после некоторых колебаний выступило за всеобщее начальное, а в перспективе и среднее (Руссо, тот считал, что вообще школа портит любого человека). Их поддержал Джефферсон, утверждавший, что в Америке «фермеры читают Гомера» и способны воспринять любые искусства и науки, сколь бы ни были они сложны.

Сегодня приходится констатировать, что идея «подтянуть» массы до уровня культурной элиты (масштабная попытка такого рода была предпринята в СССР) с треском провалилась. Как писал Иван Солоневич в «Диктатуре сволочи», «масса надула всех», то есть всех теоретиков любых направлений; его слова относились к России, но в равной мере они могут быть отнесены и к западному миру. Особенно в последние десятилетия стало очевидным, что не только масса не желает возвыситься до уровня культурной элиты, но скорее наоборот, элита стихийно опускается до уровня массы; даже внешняя культура («хорошие манеры») мало-помалу оказывается архаичной (в американских фильмах мы видим, к примеру, что в молодежной среде громко рыгать или ковырять в носу становится «комильфотным»).

Член Французской Академии Жан Дютур в книге «Огни Просвещения погасли» пишет, что культурная элита проваливается в массу, как в трясины. И что человечество в целом не только не стало зрелым, о чем мечтали просветители, но скорее впадает в детство: «Нынешнее человечество, впервые за время своего существования, интересуется только телом, удобствами, благополучием, мощностью или скоростью материальных предметов, появление которых сделали возможными новые знания... инфантильное человечество III тысячелетия демонстрирует недостатки и пороки, свойственные детям: легкоеверие, аморальность, малодушие, невежественность, склонность к насилию, дух стадности».²

Не все огни Века Просвещения погасли. Но идея равенства оказалась — о двух концах.

Высоко поднял, да снизу не подпер

Веку Просвещения ставят в заслугу его гуманность. Действительно, то, что мы сегодня называем гуманностью, идет от просветителей. Гуманизм Ренессанса имел иной смысл — возможно более полная реализация своих человеческих способностей; притом относилось это понятие обычно к кругу избранных. Гуманность просветителей — участливость в отношении других, пусть даже совершенно чужих людей, эмпатия, мягкость в обращении. Цены бы не было такому пробуждению интеллигентности (назовем это явление словом более позднего происхождения), если бы не оказалась здесь к месту русская поговорка: «высоко поднял, да снизу не подпер».

«Голубиные слова» Века Просвещения вылетели из христианского гнезда — это признают даже историки-атеисты. А вот христианское представление о греховности человека просветители оставили «темным» Средним векам. Человек по природе добр, решили они, порочным его делают дурные, непра-

вильные институты. Стоит заменить институты, и люди откроют в себе лучшие свои качества — и тогда все-все сольются в объятиях.

Век Просвещения — век мечтательной улыбки, румянца на щеках, естественного или наведенного (его тогда наводили не только женщины, но и мужчины).

Наступающий «праздник», по убеждению просветителей, состоится в отсутствие Бога, который, оказываясь, только мешал его приходу. Место Бога занимал свободный человеческий Разум (с большой буквы). Вольтер, хотя сам он был не атеистом, а деистом, то есть признавал существование Бога как первопричины всех вещей (его знаменитый призыв «Раздавите гадину!» относился, как известно, к католической Церкви, а не к религиозности как таковой; замечу также, что французское *infame* в данном случае точнее было бы перевести словами «бесстыдница», или «нечестивица», вместо излишне грубого «гадина»), тем не менее, готов был приветствовать общество, состоящее из одних атеистов, при условии, что все они будут походить на барона Гольбаха. Аристократ Гольбах (правильно: д'Ольбак) был человеком приветливым и дружелюбным, всегда готовым прийти на помощь всякому, кто в нем нуждался.

Барон д'Ольбак не дожил до «великой» революции 14 июля. Зато мясник Колен с улицы Плохих мальчиков (это не метафора, а подлинное название ныне уже не существующей улицы на о. Сите) дожил и в один из дней «сентябрьских убийств» 1792-го отличился тем, что, орудуя мясницким ножом, разрезал на части еще живую княгиню де Ламбаль (ближайшее к Марии-Антуанетте лицо), чем вызвал восторг «революционных фурий», плясавших вокруг сего «перформанса» свой дикий танец. В числе посетителей салонов был один-единственный человек, который такого рода кунштюки предвидел и готов был едва ли не приветствовать их как выражение «свободного Разума». Это маркиз де Сад. Он тоже принес «присягу на верность» Разуму, но понял его как технический разум, способный служить чему угодно.

В следующие полтора столетия с лишком о де Саде практически забыли, а если изредка и вспоминали, то пожимали плечами: дескать, что поделаешь, в семье (просветительской) не без уродов. Все поменялось после 1968 года: произошел «взрыв» интереса к де Саду, в котором теперь видят истинного «сына Просвещения», только представляющего его как бы с изнаночной стороны.

Будем объективны: волны гуманности, рожденной Просвещением, не ушли целиком в песок. Но культурная революция обнажила темные пласты европейского сознания, где дурным голосом кричат похоть и рядом с нею жестокость. Де Сад возведен в ранг провозвестника этого темного (приходится употребить такой оксюморон) Просвещения. Его когда-то запрещенные романы переиздаются, по ним ставятся фильмы. Нельзя сказать, чтобы те и другие пользовались широким успехом: де Сад не художник, он мыслитель. Его произведения производят странно противоречивое впечатление: они шокируют и в то же время читать их скучновато. От этого противоречия не смогли уйти и постановщики фильмов по его романам, даже талантливый Пьер-Паоло Пазолини, экранизовавший «Сто двадцать дней Содома».

Но вот на пороге XXI века выходят два апологетических фильма о де Саде, достаточно искусных в художественном отношении и, значит, способных произвести впечатление и сделать его в общественном мнении героем. Это французский «Сад» Бенуа Агако (2000) и американский «Перо» Филипа Кауфмана (тот же 2000). В обоих действие разворачивается в психиатрической лечебнице в Шарантоне, куда маркиз был заключен в последние годы жизни. В

первом он выступает как бескорыстный возбудитель «подавленных» естественных эмоций, устраивая случку «зажатой» юной виконтессы с конюхом (заодно продвигая таким образом демократию в аристократическую среду). Во втором он — неистовый поборник свободы слова; его лишают бумаги, чернил, пера, но он все равно находит способ записывать свои драгоценные мысли. В обоих фильмах де Сада изображен таким, чтобы он был способен вызвать зрительские симпатии.

«Возрождение» де Сада — одно из свидетельств той мешанины, какая возникла в нравственном поле европейского сознания.

О несогласных

Фраза из «Философии будущего» де Сада: «Наше будущее висит на кончике Вашего пера». Неважно, к кому в данном случае эти слова обращены, ибо они могли быть обращены ко всем вообще просветителям. Впервые в истории «люди пера» оказали столь мощное воздействие на дальнейший ее ход. И в какой-то степени продолжают направлять ее и сегодня. Несмотря на все силы противодействия, какие они встречают в продолжение уже двух с половиной столетий.

Исайя Берлин ввел в обиход термин «Контрпросвещение». По его, достаточно обоснованному мнению, зачинателем Контрпросвещения был Руссо, хотя он оставался с ним «одним боком» («другим боком» он был несомненным единомышленником просветителей); а именно, он противопоставил «человека сердца» рационально мыслящему человеку. Руссо оказал сильное влияние на немецкие умы. Два Иоганна, Гаман и Гердер, выступили с резкой критикой Просвещения. Гаман писал, что просветители ослепили сами себя и не видят реального человека, который руководствуется скорее чувствами, чем рассудком. Гердер делал акцент на том, что человек не может быть всегда и везде равен самому себе и что на его поведение оказывают влияние история и культура. Гаман стоял у истоков поэтического движения Sturm und Drang («Буря и натиск»), направленного не в последнюю очередь против просвещенческого рационализма. Один только штюрмер по фамилии Гете представлял собою фигуру, к которой никто из острых умов Парижа не мог даже приблизиться по масштабу дарования; а «Страдания юного Вертера» имели в Европе успех, перекрывший успех любой другой книги на протяжении всего XVIII столетия; она показала, что внутренний мир человека сложнее каких бы то ни было предписаний и предначертанных схем.³ Штюрмерство стало предвестием великого движения романтизма, охватившего всю Европу и иссякшего лишь где-то в середине XIX века. За редкими исключениями романтики были или откровенно несогласны с Просвещением или, во всяком случае, находились в трудных с ним отношениях.

Последнее можно сказать и о Канте, крупнейшем из философов XVIII столетия. Кант тоже был пленен видением царства Разума, в котором человеку может быть предоставлена неограниченная свобода волеизъявления. Но он, по крайней мере, признавал греховную природу человека, только верил, что ratio способен увести человека от греха.⁴

Нет нужды излагать всю дальнейшую историю Контрпросвещения. Ограничусь общим соображением: если политическая философия, враждебная духу Просвещения, оставалась до последнего времени маргинальной, то в сфере культуры и антропологии авторитеты, в той или иной мере настроенные

антипросветительски, получали, казалось бы, широкое признание. И тем не менее, свернуть европейское человечество с пути, однажды намеченного Просвещением, им никогда не удавалось. *Idees-forces* (идеи-силы), брошенные просветителями в мир, прокладывали себе большак, преодолевая все препятствия. Ударным инструментом служит им научное знание и производный от него технический мир — агрессивно-услужливый и в то же время сущностно мертвый.

О «десном пребыванье»

Наука стала для просветителей орудием ниспровержения религии. Величайшим авторитетом явился для них Ньютон, который завершил создание новой картины мира, начатое Кеплером и Галилеем. Она представила собою конфигурацию тел в пространстве, движущихся относительно друг друга сообразно со строгими законами механики. Богу здесь можно было оставить роль механика, который однажды привел систему в движение, как считал Ньютон, но можно было и «обойтись без этой гипотезы», как позднее выразился Лаплас.

Н.А. Бердяев заметил, что натурфилософы и теософы Ренессанса правильнее подходили к тайнам природы, чем ученые XVII — XVIII веков.

Сейчас трудно представить, какое впечатление произвела эта новая космология на людей XVII—XVIII веков. Человечество прозрело — и человечество ослепло: оба суждения будут верны. Второе суждение развивает французский историк Пьер Шоню: «Для людей, внезапно пораженных слепотой и глухотой (в результате научных открытий. — Ю.К.), неизменные небеса больше не будут петь славу Господу, звезды, покинувшие неподвижную сферу, вслед за планетами лишенные массы, во второй половине XVII века будут, как и все некогда небесные (интонационно подчеркнуто: радикально отличные от земных. — Ю.К.) тела, уравнены с унылой материей подлунного мира».⁵

Важнейшим следствием научной революции XVII—XVIII веков было то, что она, как тогда казалось, изгнала из мира тайну.

Как результат, теология, считавшаяся прежде «царицей наук», постепенно (на протяжении XVIII—XIX веков) была переведена фактически на положение паранауки, а затем (в XX веке) «выдавлена» из школ, по крайней мере, в большинстве европейских стран. В «расколдованном», по известному выражению Макса Вебера, мире должна была воцариться светлолицая богиня Разума, со свитком в одной руке и циркулем в другой. Но как это часто случается, гладко было на бумаге.

Сейчас все чаще слышишь, что обыватель, «разочаровавшийся» в христианстве, а чаще всего просто мало что о нем знающий, «заново околдован». Он не верит больше в Христа, но готов поверить в сон, и в чох, и в птичий грай. Если он еще ценит «духовность» (слово, которое теперь предпочитают «религиозности»), то ищет ее на рынке, соблазняющем богатством выбора. Здесь можно найти набор старых языческих божеств, совсем не обязательно персонифицированных (можно чтить, скажем, Венеру или Диониса, отнюдь не полагая, что они где-то существуют во плоти). И руководства по различным восточным и архаическим верам. Свой товар предлагают и новые лжедухоносцы, экстатики и визионеры. Подлинным же хозяином положения на рынке является оккультизм.

На протяжении двух столетий, XVII и XVIII, наука освобождалась от объятий оккультизма и казалось, что освободилась от них навсегда, что

алхимические печи, каббалистические книги, пентаграммы etc. отошли в область истории. Не тут-то было: на заре XXI века оккультизм до такой степени овладел массовым сознанием, что это показалось бы невероятным предшествующим поколениям. С одной стороны, это объясняется отступлением христианства, но с другой — светлолицая богиня вовсе не так светла лицом, как это хотелось бы видеть ее почитателям: никакая научная картина мира не устоялась, она постоянно меняется на глазах и в ней все больше преобладают темные (в человеческом восприятии) краски. И господствующей фигурой на рынке «духовности» становится алхимический Гермафродит: уродливая фигура, в которой «тайные знания» более чем сомнительного происхождения сращены с научными, а чаще псевдонаучными.

Если в мировоззренческом плане наука утрачивает прежние позиции, то в практическом плане она цепко за них держится. Инициированная Просвещением переделка среды обитания научно-техническими средствами продолжается и кажется, что остановить ее невозможно. Хотя тот факт, что она несет не только блага, но и различные напасти и, может быть, роковые бедствия, давно уже сверлит умы. И как с этим быть, зависит, опять-таки, от того, как будут решены мировоззренческие вопросы.

Главный из этих вопросов — о взаимоотношениях науки и христианства. Что признает и значительная часть научного сообщества. Так, Первая конференция «За Второе Просвещение», состоявшаяся в калифорнийском университете в сентябре 2011 года (первая она — для Калифорнийского университета), поставила целью развивать «метасистемное мышление» — при активном участии «эволюционного евангелизма». Хотя почему только эволюционного?

Центральная тема спора, который ведут между собою наука и христианство — происхождение мира и человека. Просвещение, как уже было сказано, за основу своего мировидения приняло космологию Ньютона, вернувшись к представлению древних греков о том, что пространство и время, равно как и материя и энергия, существовали извечно. Но в 20-х — 30-х годах прошлого века обнаружение «красного смещения» в спектре удаленных звезд привело ученых к выводу, что Вселенная возникла из одной-единственной сверхплотной точки в результате Большого взрыва и продолжает расширяться. Таким образом стало возможным схождение научного взгляда с библейским положением, что Бог создал мир «из ничего».

Последовали и другие удивительные открытия. К их числу относится так называемый «антропный принцип», сформулированный Стивеном Хокингом в конце прошлого века. В свое время Коперник лишил нашу Землю ее царственного положения во Вселенной, а в ходе дальнейших астрономических исследований она «стушеввалась» в этом бесконечном пространстве почти до неразличимости. Лет сорок назад французский биолог Жак Моно писал: современному человеку «всего лишь ведомо, что он, словно цыган, примостился на краю универсума, который глух для его музыки и равнодушен к его надеждам, страданиям и преступлениям». ⁶ Но за последние десятилетия ученым стало ясно, что наша планета в мировом пространстве — единственная и неповторимая в том смысле, что только в ее пределах сложилось такое сочетание различных параметров, которое сделало возможным существование человека: будь у нас хоть чуть-чуть меньше или, наоборот, больше гелия или азота, будь хотя бы чуть-чуть другой масса протона или нейтрона или чего-то там еще, даже земляной червь не появился бы на земле, не то что человек. Поистине, в холодной вселенной наша планета — благословенная «теплица», и человек —

«тепличное» существо. Пишет английский физик Джон Полкинхорн: «...Антропный принцип показал, что наша Вселенная (здесь в смысле нашей галактики. — Ю.К.) особенна, так сказать, одна на триллион. Осознание этого можно считать чем-то вроде антикоперниковой революции... Если Вселенная снабжена возможностью "тонкой настройки", это может означать, что есть и божественный "настройщик"». ⁷

Еще удивительное открытие: так называемый «малый антропный принцип». Оказывается, наша планета представляет собою точку во Вселенной, откуда вся она просматривается наилучшим образом. Идеальная «смотровая площадка», так сказать.

Все эти открытия еще не доказывают существование Творца, но делают его в высокой степени вероятным. И, следовательно, открывают возможность **н а у ч н о г о** спора между учеными-материалистами и сторонниками библейской концепции творения.

Подобным же образом ведется спор о происхождении жизни на Земле и ее (жизни) высшей формы — человека. Этот спор начался с выходом книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов» (1859), где утверждалось, что новые виды животных и растений появляются путем естественного отбора в ходе борьбы за существование; и что сам человек происходит от общего с обезьяной предка. Против концепции Дарвина резко выступили те, кого стали называть креационистами и кто придерживается библейской концепции творения. В пользу своей концепции Дарвин выдвинул ряд фактов, отрицать которые невозможно. Но и креационисты не только опираются на Священное Писание, но и указывают, в свою очередь, на факты, которые с теорией Дарвина никак не согласуются.

Сегодня противопоставление эволюционизма и креационизма выглядит упрощением: с той и с другой стороны и «между ними» возникли разнообразные концепции и точки зрения — на сей счет уже существует обширная литература. Так, среди эволюционистов есть ученые-материалисты, продолжающие настаивать на принципе «самоорганизации материи». А есть верующие, выдвинувшие концепцию «продолжающегося творения»: Бог не только однажды создал мир, но и продолжает до-создавать его, направляя «самодетельность» Земли (как и других планет) и творчество человека. В любом случае, однако, спор ведется в поле науки и редко выходит за его пределы.

Дурная наследственность дает о себе знать: это Век Просвещения создал крен (подготовленный развитием науки в предыдущем столетии) в сторону левостороннего (логического и аналитического) мышления, в ущерб правостороннему (образному, интуитивному, эмоциональному). Правостороннее мышление «отвечает» за искусство и религию, которые в современном обществе превратились в своего рода заповедники, слабо связанные с течением жизни (если не иметь в виду массовое искусство, которое просто плывет по течению).

У психологов всегда наготове дежурное соображение о равноценности лево- и правостороннего мышления. Но есть основания считать, что в мировоззренческих вопросах правостороннее мышление должно быть определяющим. Наверное, не даром в русском, как и в других языках, слово «правда» — однокорневое со словом «правый». ⁸ А в православии существует даже молитва «о десном (от слова «десница») пребыванье». Высшую правду о мире способны поведать только религия и (с некоторыми оговорками) искусство. А естественные и точные науки ставят целью узнать, скажем так, малую правду о мире, покуда он заключен в клеть пространства-времени. Высшую правду нельзя узнать, ползая по земле или по небу (по небу тоже можно ползать). Говорят, что

только таким путем можно получить объективную картину мира. Но вот что пишет великий физик Вернер Гейзенберг: «Естествознание стремится придать своим понятиям объективное значение...», но «кто может утверждать, что объективная сторона более реальна, чем субъективная?»⁹ В самом деле, субъективность человека тоже объективно существует, и в ней есть глубина, не им самим заданная.

Художника, писал Фолкнер, не интересуют факты, его интересует правда. То же можно сказать вообще о человеке. Фактами нельзя пренебрегать, но правда (в интерпретации Андрея Белого: *пра в да*) выше фактов.¹⁰

Просвещение оставило в поле зрения человека один только природный процесс — без смысла и цели. Тогда хотя бы научная картина неба (возвращаясь к космологии) еще представляла собою нечто благообразное. А что мы видим сейчас? Мы видим «разбегающуюся» Вселенную, где небесные тела со страшными скоростями несутся в разные стороны. Куда? Зачем? Если верно говорят, что каждому человеку полагается иметь в небе «свою» звезду, то этот «запрос» с Земли давно уже удовлетворен: число звезд в миллиарды раз превышает число жителей Земли, живущих ныне, живших когда-то и еще только обещающих народиться. Сегодня мы знаем, что расстояния в космосе измеряются миллиардами световых лет, чувственно никак не воспринимаемых человеком; что это царство вечного холода и вечной тьмы, к тому же то ли на три четверти, то ли даже на девять десятых заполненное какой-то зловредной «черной энергией», о которой и ученые ничего толком не могут сказать. Такой космос выглядит злой насмешкой над человеком с его земными представлениями.

Ощущение, что это «неправильный» космос, по-своему выразил Роберт Фрост:

Наш мир пространства искажен —
Став беспредельным, стал ничтожным он.

Неожиданный, с точки зрения общепринятых представлений, разворот: не человек ничтожен в масштабах космоса, а наоборот, такой космос ничтожен пред лицом человека, задуманного Господом как средоточие творения. Последнее соображение высказал другой поэт (и одновременно выдающийся для своего времени астроном), Омар Хайям:

Цель Творца и вершина творения — мы.
Мудрость, разум, источник прозрения — мы.

«Мы» — это человечество, продукт множителя, однажды примененного к Адаму и Еве. Еще один поэт, Эдгар По (тоже, между прочим, увлекавшийся астрономией и свято веривший, что звезды когда-нибудь сольются воедино) отстаивал сами познавательные возможности поэзии, вообще искусства, сравнительно с наукой. «Человек, — писал он, — не может долго или сильно заблуждаться, если он позволяет себе руководствоваться своим поэтическим чутьем...» А «Вселенная есть самая возвышенная из поэм», следовательно, кому, как не поэту о ней судить.¹¹ Здесь, правда, есть и некоторая переоценка возможностей искусства, вообще характерная для многих романтиков, пытавшихся в обход религии, своими силами, так сказать, остановить наступление рационализма. Но искусство не может заменить религию, даже на самых

высоких своих высотах. Ибо оно есть, как выразился один из отцов Церкви, «молитва ни к кому». Хотя все-таки — молитва.

С другой стороны, христианство само родственно поэзии. Напомню, что Христос говорил притчами (тот же Гейзенберг признавал, что о «высшем слое реальности» можно говорить только притчами). Бог — «поэт Неба и Земли», по выражению св. Василия Великого. Творение — «песнь». Даже литургию некоторые христианские авторы сравнивают с балетом. Эзра Паунд хотя и называл Бога «хмурым пугалом», в католической мессе видел «наивысшее произведение искусства». «Истина бытия, — пишет американский православный богослов Дэвид Харт, — "поэтична" прежде, чем "разумна" — она и впрямь разумна именно вследствие своей высочайшей поэтической слаженности и богатства подробностей — и ее невозможно по-настоящему познать, если перевернуть этот порядок».¹²

Рациональные конструкции богословия возникли тогда, когда выявилась необходимость для христианства утвердить себя в поле философии, где существовали развитые системы, выстроенные греческими мудрецами (и христианством частью отвергнутые, а частью принятые). Но и при этом язык богословия остается символическим по преимуществу.

Просвещение поставило задачей изгнать тайну из мира и из самого человека, «просветив» их до самого «дна». Что такое «дно» вообще существует, крепко усомнились те, кого сегодня называют контрпросветителями. Виланд, автор «Оберона» (более известного сегодня благодаря опере Вебера), в эссе «Где границы Просвещения?» (1789) вопрошал: «Как далеко должен распространиться свет, чтобы дальше было нечего видеть (nichts mehr zu sehen ist)?»¹³ Сегодня мы можем сказать, что и мир, и человек крепко «держат» свою тайну, не желая ее отдавать.¹⁴ В мире, как уже было сказано, по мере продвижения научных исследований только расширяется область неизвестного и непонятого. Высшей тайной остается душа человека, немыслимо сложное устройство, вышедшее из «рук» Бога. Оно не дается тем, кто глядит в микроскоп или орудует скальпелем (Сервет сказал, что изрезал все тело человека, но нигде не нашел места для души) и даже от «строгой научной» антропологии ускользает. Даже Пикассо, у которого, как известно, за левым плечом стоял черт, сказал (в беседе с галеристом Д. Канвайлером), что психология и психиатрия рассматривают не живого человека, а его как бы проекцию на плоскость и тем препятствуют святости души, обедняя и даже разрушая ее.

Глупо думать, что «устройство», о котором идет речь, явилось результатом самоорганизации материи. Или, вернее, глупа была бы материя, если бы устроила его таким, каково оно есть.

Просвещение излучало оптимизм (в перспективе земного строительства), неведомый всем предшествующим поколениям; а привело к нынешнему положению, когда пессимизм становится преобладающим умонастроением в обществе, хотя оно не всегда в этом сознается самому себе. Правда, и у просветителей иногда возникали сомнения в том, что «все к лучшему в этом лучшем из миров». Например, «фернейский злой колдун», как назвал Вольтера Пушкин,¹⁵ всегда готов был осмеять все на свете, не исключая самого себя и собственных взглядов; так, в «Кандиде» он провел своего героя сквозь огонь, воду и медные трубы с мечтою о прекрасной Кунигунде, каковую он в итоге и получил, только уже многожды изнасилованной, постаревшей и подурневшей. Не такова же ли судьба идеала, с которым преподносилось Просвещение?

Каковы бы ни были успехи в земном строительстве (а они, конечно, есть,

хотя далеко не всегда легко определить, что можно считать успехом, а что нет), мы сегодня видим и другое: глубокое расстройство на экзистенциальном уровне, неверие в будущее, которое наглядно отражается в множащихся апокалиптических видениях. Человек, пишет французский православный богослов Оливье Клеман, «выброшен из самого себя», он уже не видит подлинный мир — таким, каким его создал Бог во славе Своей... Он видит Вселенную по образу своего падения, он строит мир по образу своему. Воспринимая мир со своими похотями и отвращением, он затемняет, ожесточает, дробит его. Так рождаются новые, смертоносные формы времени, пространства и материи — появляются время истощения и смерти, пространство, которое разделяет и замыкает, непроницаемая детерминированная материальность — зеркало нашей духовной смерти, застывшая лава эроса без агапэ, давящий сгусток нашего неведения о Творце и Его творениях. Бог умер, поруганная земля становится могилой для человека — Эдипа с залитыми кровью глазами».¹⁶

Расстройство на Земле отражается расстройством в небе — и наоборот. Яркий пример: нашумевший пару лет назад фильм «Меланхолия» Ларса фон Триера, в котором некая планета, многократно превосходящая нашу по величине, неумолимо надвигается на Землю, чтобы раздавить ее.¹⁷ Участь, убеждают нас, заслуженная. Как говорит героиня фильма, «Земля — это зло. Никто не станет о ней жалеть».

Кого ждет Европа

Если просветители, как уже было сказано, представляли собою одну большую и в общем дружную семью, то инициаторы Второго Просвещения наводят на мысль о басне, в которой лебедь, жука и рак тянут в разные стороны.

Привожу самый беглый, по необходимости, обзор направлений, выступающих под флагом Второго Просвещения.

Большая группа научных работников видит задачу в том, чтобы прищипорить научного конька и спешить дальше в направлении, указанном Первым Просвещением. Философ Цветан Тодоров, например, считает, что пришло время «заново выдумать» (re-inventer) Просвещение, то самое, что однажды уже было «выдуманно». В том же ключе издатель журнала «Free Inquiry Magazine» Поль Курц пишет, что надо попытаться «пробудить новую очарованность (re-enchancement) Просвещением, ибо существует неотложная нужда в Новом Просвещении», долженствующем, по его убеждению, «распространить методы науки на все области человеческого интереса».¹⁸ Но я что-то плохо представляю, где эти девственные области, на которые до сих пор не посягнули методы науки.

С этой же стороны доносятся призывы крепить секулярную этику, основанную, опять-таки, на доводах научного порядка. А как быть с разгулявшейся за последние десятилетия улицей Плохих мальчиков (на сей раз это метафора), в гробу выдавших, как говорится, любые науки?

Но когда корабль дает крен, грозящий его остойчивости, моряки знают: надо поставить его носом против волны.

Французский философ Люк Ферри констатирует, что просветительская уверенность в том, что человек способен взять судьбу мира в свои руки, полностью утрачена; мир несется вперед сам по себе с возрастающей скоростью — неведомо куда. По его словам, «не о правах человека надо сегодня заботиться, но

о принципе осторожности, главный враг которого — научный оптимизм».¹⁹ Автор этих строк, между прочим — бывший министр по делам науки.

Американский биолог Раджани Кант просветителей жалуется еще меньше. «Нескладные воители Просвещения, — пишет он, — осветили мир, чтобы изнасиловать его и ограбить, и все во имя прогресса».²⁰ Сегодня Кант убежден, что Второе Просвещение, заслуживающее называться таковым, может быть только зеленым — иницилирующим возвращение к природе. Еще один американец, политолог Роберт Бартлетт: «Мы живем в век "разочарованности", не только в божестве и в традиционных источниках морали и политического руководства, но и в самом разуме, инструменте просвещенческого критицизма: "Бог, может быть, и умер, но и разум последовал за ним в могилу"».²¹ Бартлетт не верит ни в какое Новое Просвещение, напротив, он за то, чтобы меньше было «искусственного света» (на избыток которого, замечу, жаловался еще Гете в последние годы жизни), за некоторое «затемнение» (obscurity, darkening), более того — за возвращение в платоновскую пещеру.

Велик Платон и замечательна его идея «пещеры»,²² но это все-таки не последнее слово мысли.

Серьезный урон научному разуму нанесли парижские «проклятые философы» последних десятилетий XX века (Фуко, Делез и др.).²³ В университетских (в гуманитарной их части) и левых кругах США сейчас, пожалуй, нет авторитета первее Фуко. Его любимая идея, неожиданно получившая широчайший отклик: знание есть власть, которую надо «разоблачать». В чем-то он созвучен тем же Хоркхаймеру и Адорно, сразу после окончания Второй мировой выступившим с книгой «Диалектика Просвещения», в которой они объявили просветителей ответственными за возникновение в XX веке коммунизма и фашизма (в фокусе их внимания был именно фашизм, точнее, национал-социализм, так как ужасы лагерей смерти уже потрясли мир, а о ГУЛАГе еще только ходили смутные слухи). Именно в этой книге было сказано, что после Освенцима больше нельзя сочинять стихов.

Действительно, некоторые идеи Просвещения, сами по себе далеко не всегда хорошие, с течением времени попали в откровенно плохие руки (хотя национал-социализм обязан своим существованием не только и даже не столько просветителям, сколько контрпросветителям, от Гердера до Ницше, чьи мысли были превратно ими истолкованы).

Последователи Фуко ставят целью «радикализировать Просвещение» в той части, в какой оно постулировало свободу и автономию личности, но при этом отвергают авторитет знания, вообще отвергают авторитеты любого рода. По крайней мере, «старой» Европе с ее пантеоном героев и гениев отказано в доверии раз и навсегда. А распространение Интернета осенило фукоистов: теперь они говорят, что если Первое Просвещение вызвала к жизни примерно одна тысяча человек в Европе и Северной Америке, то «авторами» Второго станут миллионы пользователей Интернета, уравненные в своем праве на истину и получившие возможность непосредственно сноситься друг с другом. Счастье, полагают фукоисты, придет, когда не станет авторитетов.

Образом того Просвещения может стать «Пьяный корабль» Артюра Рембо (из одноименного стихотворения), отдавшийся на волю волн — без руля, без якоря и без ветрил. Веселее ли плыть на таком корабле, чем на корабле, захваченном пиратами (коими изобиловал минувший век), большой вопрос. Огульное отвержение авторитетов может поставить под вопрос само существование либеральной демократии, как-никак опирающейся на известные автори-

тет. Американский историк Дэниэл Гордон: «Одна из самых жгучих проблем либерально-демократического общества — возрастающая трудность, с которой оно сталкивается, пытаясь отстоять, в рамках своих принципов, те или иные авторитеты».²⁴

Мультикультуралисты, со своей стороны, ждут, что в «заново просвещенной» Европе станет больше мультикультурализма. Просветители, напомним, были стойкими европоцентристами; при том, что именно век Просвещения инициировал серьезные исследования иных культур, в первую очередь Индии и Китая. А для мультикультуралистов иные культуры, по сути, служат инструментами разрушения собственной, европейской культуры.

Позитивный, казалось бы, проект Второго Просвещения выдвигают либеральные протестанты. Они правильно указывают на то, что основная мировоззренческая задача на сегодня — выяснение отношений между религией и наукой, но полагают, что можно решить этот вопрос на пути их «конвергенции».²⁵ Особенно далеко зашел в этом направлении американец Сильвестр Стеффен, автор монументальной «Трилогии Второго Просвещения». Он смешивает понятия христианства с понятиями квантовой механики, эволюционной биологии и т.д., зачастую «пригибая» первые ко вторым. Для него, к примеру, «сознание есть электрическая чувствительность, закодированная в материи»;²⁶ есть ли в этом взгляде что-то, отличающее его от материалистического? Либеральные протестанты, хоть они и любят приводить ставшую расхожей фразу Достоевского «красота спасет мир», фактически рассматривают религию и науку в одной и той же плоскости рационализма; мистическая и художественная стороны христианства фактически выпадают из их поля зрения. Крен в сторону левостороннего мышления сохраняется.

«Самым обсуждаемым критиком Просвещения по обе стороны Атлантики», как назвал его один журнал, является английский (живущий в США) философ Алэсдер Макинтайр, в свое время прошедший путь от «розового» марксизма к католицизму. Основным предметом своей критики Макинтайр сделал моральный аспект Просвещения. В христианстве, по его словам, заложено стремление человека к совершенству и в то же время понимание недостижимости этой цели, а у просветителей нет ни того, ни другого. Есть попытка рационального оправдания индивидуализма (каждый определяет критерии морали сам для себя), которая окончилась полной неудачей и привела к нынешней неразберихе (ее реальный провозвестник — Ницше). Предотвратить полный крах, к которому движется Запад, может только возвращение к Божьему Закону с его объективными моральными критериями. И еще традиция добродетелей, уходящая в глубь веков. «Если традиция добродетелей смогла пережить ужас веков мрака, — пишет Макинтайр, — мы не полностью утратили надежду. На этот раз нас не ждут варвары на границе, они уже управляют нами... Мы ждем не Годо, а другого св.Бенедикта, хотя и весьма отличного от прежнего».²⁷

Зрячему след, а слепому слезы

Мировоззрение или околеванца ждать?

А.П. Чехов. «Иванов»

К добру ли, к худу ли, но Просвещение поставило мир «на голову», как позднее выразился (стилистически не очень удачно) Гегель. «Мысль предше-

ствует всему» (*de la pensee avant toute chose*) — этот девиз просветителей ввержен в плоть и кровь европейского человечества и сохраняет такую же актуальность, как и в старые годы. Философия, сколь бы она ни выглядела отвлеченной, выполняет, в конечном счете, жизнеустроительную функцию и ничто в этом отношении не может ее заменить. Правда, нынешняя ситуация сильно напоминает ситуацию Рима IV века, о котором Аммиан Марцеллин писал, что место философов в нем заняли шуты; но если дальнейший ход вещей примет катастрофический, в том или ином отношении, характер, что в высокой степени вероятно, шутов сразу сдует со сцены.

Просвещение сообщило мощный толчок европейской истории, резко ускорив ее течение. Чтобы изменить ее ход, нужна другая философия. Но какая именно? Жак Деррида (вовсе не такой оголтелый деструкционист, каким его иногда представляют, он формулирует и конструктивные, в его понимании, задачи), например, считает, что свое будущее Европа должна строить, опираясь на греческую и немецкую классическую философию (которую он заканчивает Хайдеггером). Но это все равно, что предложить опираться на философию «вообще»; потому что у греков и у «классических» немцев существовали очень разные мыслители и направления. Более избирательно точен Макинтайр: по его убеждению, если у Европы есть будущее, его может обеспечить только «динамический томизм», включающий в себя силы отрицания (просветителей и Ницше, отрицающих не только томизм, но и друг друга) и диалектически их преодолевающий.

Смею думать, что русские в этом смысле не должны испытывать затруднений с выбором. Если в XVIII веке почти лишенная философского багажа Россия стояла еще только «на пороге Просвещения» (прот. В. Зеньковский), то сейчас положение радикально другое. У нас есть бесценный «стратегический запас» — русская религиозная философия XX века (корнями уходящая в XIX век, в первую очередь к В.С. Соловьеву). Она стала «продолжением», по слову Ф.А. Степуна, великой русской литературы XIX века. Мир образов литературы философия претворила в понятийно-дискурсивные разработки, сохраняющие силу и в совершенно иных исторических условиях; при этом сохраняя связь с художественным мышлением, выгодно отличающим ее от большинства философских систем Запада, избыточно наукообразных.²⁸ Кстати, у истоков русской религиозной философии стоял среди других и Достоевский, писатель, которого с полным правом рассматривают также как философа и богослова.²⁹

Все послесоветское двадцати с лишком -летие мы видим в телевизоре людей, которые говорят о том, сколь необходима нам идеология и, глядя друг на друга, ищут в этом вопросе «консенсуса». Не в идеологии нуждается сегодня российское общество, а в мировоззрении (гораздо более широкое понятие). И чтобы выработать мировоззрение, необходимо оглянуться на тех, кто выше нас ростом. Всегда и везде лицо времени определяют гении; в противном случае время становится безвременьем, что мы и наблюдаем сейчас. Конечно, надо и самим думать, но «вместе с ними».

Нужно то, что по-итальянски называют *sacrale conversazione*, собеседование людей, «прописанных» в различных веках. Впрочем, Золотой век русской философии³⁰ к веку текущему хронологически совсем близок; последние ее классики ушли из жизни относительно недавно: А.Ф. Лосев — в начале «перестройки», о. Георгий Флоровский — несколькими годами ранее.

Заметим, что русская религиозная философия — явление далеко не «эндемическое», но в высокой степени значимое для всего христианского мира.

Длительное время она была малоизвестна в Европе (за немногими исключениями, среди которых некоторые книги Бердяева, англоязычные работы позднего Флоровского и о. Александра Шмемана). Но ближе к концу века положение меняется. Выходят не только отдельные работы русских философов, но и собрания их сочинений. Что ново: некоторые книги издаются тиражами, рассчитанными на более или менее широкую аудиторию: так, в Германии выходят «Три разговора» Соловьева, а в Италии книга о. Павла Флоренского «Детям моим», которую некоторые критики ставят рядом с «Исповедью» блаж. Августина. И это в общественной атмосфере, отнюдь не способствующей распространению религиозной литературы христианского толка.

При всех различиях в духовной ситуации России и Запада главная задача у нас и у них одна и та же. Об этом достаточно точно высказался американский историк Гленн Олсен: «Запад и Россия в равной мере... нуждаются в том, что называют Вторым Просвещением, в переосмыслении посылок, из которых исходило Первое Просвещение и на которых выстроен современный мир».³¹ Это долгий путь, на котором придется запастись терпением — предстоит расчистить образовавшиеся за три столетия завалы ложных идей, выхолощенных понятий и отработанных смыслов.

Одной из главных забот Первого Просвещения была школа, логично считать, что ей надлежит быть в фокусе внимания Второго. Только императив Первого — *Sapere aude* («Возьмем смелость знать») сегодня должен быть отнесен также и даже в первую очередь к религии, которая для множества европейцев давно уже стала *terra incognita*.

Конечно, изучение наук, естественных, точных и гуманитарных, не должно понести ущерба. Но как ни важно для школьника накопление разнообразных знаний, еще важнее другое:

Быть или не быть, вот в чем
Вопрос, таким сычом,
Как сэр Исаак Ньютон?

(Уильям Блейк)

Конечно, нельзя не ценить то, что сэр Исаак дал человечеству. Но надо отдавать себе отчет в том, что он у него «отнял».

Бедный мальчик Кай из андерсеновской «Снежной королевы»! В опасную для него минуту он хотел было прочесть «Отче наш», но в уме у него вертелась одна только таблица умножения.

Оксфордский профессор по специальности «биохимия» и одновременно англиканский священник Артур Пикок полагает, что «детская вера с невероятной легкостью разрушается, столкнувшись с упрощенческим наукообразием».³² Это очень сомнительное утверждение. Ребенок верит в сказку и когда узнает, как все обстоит «на самом деле» (то есть с позиции научной отстраненности), то такую перемену он должен принимать болезненно (говорю «должен» потому, что, как правило, мы о ней не помним). О своем опыте приобщения к наукам свидетельствует Флоренский: «Глубоко затаилось в душе восприятие мира как живого и духовного, вся естественная символика природы, все волнения, нравственные и нежные. Этому не было места в области мысли, научное приличие требовало, чтобы об этом не говорилось, с этим не считались и относились как к несуществующему. Но оно не перестало существовать и ушло в подполье. В душевной жизни людей образовалась трещина, начало возникать

раздвоение, трещина стала шириться и впоследствии повела к большому кризису...» Вывод: привитие с детства религиозных понятий «соответствует потребностям души. А привитие научного мировоззрения идет против них». ³³ С Флоренским согласился бы известный математик и философ А. Уайтхед, который писал, что только «внутреннее чувство», человеку данное от рождения, снабжает нас ключами к тому, как следует понимать все явления природы.

Религия прибегает к языку сказки, потому что ее предметом является онтологическая реальность, которая «сама» обращается к человеку на этом языке (другое дело богословие; оно не может не пользоваться научным инструментарием, хотя тоже предпочитает символический язык). ³⁴ Язык обеспечивает «доходчивость» религиозных понятий для ребенка, который получает таким образом некоторое представление о мета-физике, прежде чем обратиться к изучению конкретных наук с их сугубо частными смыслами.

Поколениям, на чьи плечи ложится ожидаемое Второе Просвещение, предстоит освоить наше замечательное наследие. И ему не нужна волшебная палочка, которая укажет, где золото зарыто, все — «в открытом доступе».

И кто знает, быть может, прообразующий смысл имел тот факт, что на московском великокняжеском знамени изображен был Иисус Навин.

Постскриптум. Не хотел бы, чтобы изложенные в статье соображения использовались бы во вред академической науке, которая подвергается сейчас сомнительным «реформам». Напротив, мировоззренческая полнота должна способствовать тому, чтобы частные науки развивались in justo ingresso, «правильным ходом».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Gauchet M. La religion dans la democratie. «Gallimard». Paris. 1998, p. 141-142.

² Livre.fnac.com/a 1200147/Jean-Dutour-Le siecle des Lumieres eteintes

³ Заметим, однако, что на склоне лет Гете признавался, что в юности испытал сильнейшее влияние Вольтера.

⁴ Макс Хоркхаймер и Теодор Адорно в «Диалектике Просвещения» пишут, что Канта естественным образом «дополняет» де Сад, показавший, что ratio может быть поставлено на службу зла, что Канту по-настоящему даже не приходило в голову. Ту же мысль проводит Карло Аччетти в книге «Кант и Сад»: по его словам, на выходе из Просвещения высятся эти две фигуры, указующие человечеству путь в совершенно разные стороны.

⁵ Шоню П. Цивилизация Просвещения. М. 2008, с. 243.

⁶ Monod J. Zufall und Notwendigkeit. «Auf. Dtv». Munchen. 1975, S. 151.

⁷ Полкинхорн Дж. Антропный принцип и споры о науке и религии. — «Страницы». 2010, № 14 : 1, с. 118.

⁸ Вообще в языке слово «правый» имеет преимущественно (хотя и не всегда) позитивные коннотации, а «левый» — преимущественно (хотя и не всегда) негативные. Не станем придавать этому обстоятельству слишком большое значение, но и игнорировать его тоже не стоит.

⁹ Цит. по: Кюнг Г. Начало всех вещей. «ББИ». М. 2007, с. 149.

¹⁰ Не так уж глуп изображенный тем же Фолкнером «упертый южанин», который не только убежден, что Солнце вращается вокруг Земли, но и лезет драться с каждым, кто ему возражает. И не так глупы 35% сегодняшних россиян, которые думают так же (цифра приведена академиком В. Фортовым в «Комсомольской правде» от 22.10.2013, с. 7). В телеологическом смысле Солнце «обслуживает» Землю, и значит, «вращается» вокруг нее, хоть и не физически, а только метафорически.

¹¹ Эдгар По. Эврика. Поэма в прозе. Перевод К. Бальмонта (az.lib.ru/p/po_e_a/text_1848_eureka_balmont.shme).

¹² Харп Д. Красота бесконечного. Эстетика христианской истины. «ББИ». М. 2010, с. 200.

¹³ Цит. по: Nisbet H.B. Was ist Aufklärung? — The Enlightenment. Vol. I. «Routledge». London. 2010, p. 164.

¹⁴ Приведу выразительную цитату из воспоминаний писательницы Татьяны Поликарповой. Воспитанная в материалистическом мировоззрении комсомолка впервые смотрит в телескоп, и вот ее впечатление: «Я... вдруг поняла, что тяга круглого черного, набитого звездами отверстия усилилась. Что я уже вроде и не на земле, а страшно далеко от нее, и хоть звезды не приближались, все равно создавалось такое ни на что не похожее ощущение... нет, я не скажу — полета, стремительного удаления от земли... меня просто засасывало в это черное оконце... Я оглянулась с чувством, близким к безумию. Еще бы немного, и мне не возвратиться к себе, в себя». (Поликарпова Т. Было — не было. «Татар. кн. изд-во». Казань, 2012, с. 549.)

¹⁵ В поместье Ферне Вольтер провел последние годы жизни.

¹⁶ Клеман О. Смысл земли. «ББИ». М. 2005, с. 21.

¹⁷ В ряду апокалиптических страшилок это действительно страшный фильм. На расстоянии невесть откуда взявшаяся планета голубого цвета кажется поэтически красивой. Но когда над Землей нависает, заслоняя собою все небо, эта чудовищная масса мертвой материи, становится по-настоящему жутко. Смерть явилась в голубом! С окончанием фильма думаешь с облегчением: слава Богу, что это фантазия.

¹⁸ Secularhumanism.org/library/fi/Kurtz_24_3htm

¹⁹ Exposition.bnf.fr/lumieres/arret/05_4hfm

²⁰ Kanth R. Breaking with the Enlightenment. «Humanity Press». Atlantic Highlands, NJ. 1997, p. 119.

²¹ Bartlett R. The Idea of the Enlightenment. A Post-mortem Study. «University of Toronto Press». Toronto. 2000, p. 9-10.

²² По-своему ее выразил Владимир Соловьев в знаменитом стихотворении: «Милый друг, иль ты не видишь...» и т.д.

²³ Не очень удачно названы так по аналогии с «проклятыми поэтами» XIX века: те, действительно, чувствовали себя отверженными обществом, а эти пользуются широким признанием. Или само общество ныне чувствует себя проклятым?

²⁴ Gordon D. On the Supposed Obsolescence of the French Enlightenment. — The Enlightenment. Vol. V, p. 306.

²⁵ См. большую подборку статей разных авторов под общим заголовком «Welcome to 2nd Enlightenment» (www.secondenlightenment.org).

²⁶ Steffen S. Second Enlightenment Trilogy. Vol. II. Quantum Religion. «Author House». New York. 2003, p. 16.

²⁷ Макинтайр А. После добродетели. «Академический проект». Екатеринбург. 2000, с. 354. Годо — персонаж абсурдистской пьесы С. Беккета «В ожидании Годо». Св. Бенедикт — основатель монашеского движения на Западе; католической Церковью признан небесным покровителем Европы.

²⁸ «Великая суть» западного рационализма вызывает некоторое отторжение и в западной философии. Об этом свидетельствуют, в частности, те же «проклятые философы» или, по крайней мере, некоторые из них, чья связь с художественным творчеством очевидна.

²⁹ Католический теолог Джеймс Алисон называет Достоевского «величайшим богословом девятнадцатого столетия», а «Братьев Карамазовых» — «своего рода Суммой» (Алисон Дж. Жизнь в последние времена. «ББИ». М. 2010, с. 195).

³⁰ Определение Р.А. Гальцевой, справедливо указавшей на то, что понятие «Серебряный век» приложимо только к литературе и искусству (для которых Золотой век, действительно, остался позади), а синхронно расцветшая философия только вступила в свой Золотой век.

³¹ Olsen G. The Turn to Transcendence. «Catholic University». Washington. 2010, p. 4.

³² Пикок А. Богословие в век науки. «ББИ». М. 2004, с. 13.

³³ Священник Павел Флоренский. Детям моим. «Московский рабочий». М. 1992, с. 165.

³⁴ Шпенглер пронизательно заметил, что мир народных сказок не может быть отделен от «миров высшего созерцания» (Шпенглер О. Закат Европы. Т. I. «Айрис-пресс». М. 2004, с. 464). Шпенглер намеревался развить эту мысль в одном из последующих своих сочинений, но, к сожалению, не сделал этого, насколько я знаю.

Вячеслав Запольских

Покатая глина

...Приходилось слышать такую историю: давным-давно, еще в советское время в Перми этнографы решили издать книжку про коми-пермяков. Собрали материал, передали в одно из московских издательств. Художника тоже выбрали столичного. А потом весь тираж пришлось пустить под нож: коми-пермяков иллюстратор изобразил узкоглазыми и в ненецких малицах.

Край Европы! Приуральский север! Какие там еще могут быть автохтоны-туземцы...

А вот такие. Этнографы еще в конце XIX века предрекали коми-пермякам неминуемое исчезновение языка и, как следствие, угасание и полное обрусение народа. Решетников в хрестоматийных «Подлиповцах» живописал их деградацию. А они не просто сохранились, но дали свое имя всем нациям, обитающим ныне в Пермском крае. Теперь здесь татарин, немец, русский, еврей — все пермяки.

Если подбирать лироэпический образ для земель, с давних пор, с тринадцатого века обжитых коми-пермяками, то им может стать сосенка, выросшая на обочине проселка и осыпавшая вокруг себя шишками глинистый песок. А может, вид из окна ветхой избы в деревне Старое Шляпино — изба стоит над обрывом, под которым до неровного горизонта распростерся бесконечный лес, прорезанный путаными блужданиями речки Велвы, туманное пространство, слившееся серо-зеленые комки тайги с белесо-голубым пустынным небом. Хотя старики, покрепче утвердившись на оползающей темно-красной глине, водят в воздухе перстом: вот здесь были колхозные поля, а там, за перелеском, стояла деревня со странным названием Велозавод.

Еще характерная особенность края: непуганая дворовая живность, просто вот никакого страха не имеют козочки, котики и коровки. Едем по деревне, местный житель на переднем сиденье вдруг орет: «Стой! Жучка под колеса кинулась». — «Так ведь у нее инстинкт самосохранения, отскочит», — флегматично отвечает водитель. — «Не отскочит!» — жалобно вскрикивает местный, привставая и пытаясь заглянуть поверх капота. Пришлось садануть по тормозам. Но тут же стало не до судьбы безрассудной Жучки. Завидев остановившийся «лендровер», от ближайшего забора отклеилась свинья и, струясь грязью,

потрусила по направлению к остановившейся машине. Исчезла в «мертвой зоне» перед бампером, а потом внедорожник потряс таранный удар.

Уж на что курицы пугливые создания, но только не пермяцкие. Зайдешь на двор, а они, вместо того, чтобы кинуться врассыпную, с назойливым любопытством окружают незнакомца, а если достанешь фотоаппарат, то буквально лезут в кадр, отталкивая друг друга и выбирая наилучшие позы для фотосессии.

И непуганая живность в пермяцких деревнях, и сам мирный и неторопливый образ жизни этого лесного народа демонстрируют нетронутость изначальных природных установлений, в гармонии с которыми жили и живут пермяки. Время здесь заторможено и закольцовано, в один и тот же момент совершаются древние языческие ритуалы — и обмен цифровыми снимками этих обрядов в социальных сетях, а рингтоны мобильных у молодежи воспроизводят песенный фольклор.

...По чашобам и весям коми-пермяков буграми ходит глина, изредка застывая неровными плоскостями, пригодными для пшеничного поля, кладбища или райцентра. В этой глине и мелкой галечки не сыщешь, поэтому, когда обнаружится крупный камень, он объявляется священным. Как, например, «громовой» камень с природной дыркой — «чариз», что придает колдовскую силу воде, пролившейся сквозь него. Водой этой, что в результате древнего обряда сделалась целебной, на городище Курегкар умываются школьники, а льет ее из берестяной корчаги завуч сельской девятилетки.

Траектория небесного камня

Поля вокруг села Ошиб заросли одинакового росточка осинками, что трепещут остатками шершавой желтизны, и сосенками дымчато размытой — «нестеровской» — зелени. По высоте этих деревьев можно высчитать, когда лес принялся за реконкисту угодьев совхоза «Ошибский». Получается, в начале девяностых. Впрочем, точка отсчета новой эпохи и без обмеров всем известна...

У крепеньких рыжиков неладно с эффектом Доплера, их оранжевое сияние дразнит в жухлой траве насмешливым зеленым отливом. Наступишь на такую рыжую кнопку, в подземной грибнице сощелкнутся тайные контакты, и начнется неуправляемая реакция движения времени вспять. Неолитическое небо прочертит огненная змея метеорита, и в трех верстах от Медвежьего поля, давшего имя Ошибу, врежется в тайгу огромный камень. «Ен Из!» — воскликнут родановцы (ну, или представители гляденовской культуры, в общем, раннесредневековые предки нынешних коми-пермяков) и начнут поклоняться каменишке, посланной добрым небесным богом Еном в утешение бедному лесному народу.

Древние пермяки Ен Изу поклонялись. Потом пришла пора пионерской натурфилософии, школьники во главе с учителями пытались откопать камень, чтобы вымерить его точные размеры. Делали сколы, проводили минералогические анализы. Выяснили, что камень отнюдь не небесного, а земного происхождения. Содержит окислы железа. Может, ледник его сюда принес? Но почему — один-единственный? В здешних суглинках даже камешка, для мальчишеской рогатки годного, не раскопаешь.

Некоторые впечатлительные дамы, постояв у камня, падают без чувств. В земле вокруг него множество непонятного происхождения лунок, разного

диаметра и глубины. В них ничего не растет, даже трава. А еще Ен Из иногда исчезает. Точнее, заставляет блуждать по лесу желающих до него добраться — будто у Ен Иза дурное настроение или неприятный день... Вроде ноги сами шагают по привычному маршруту, а места вокруг открываются какие-то неведомые, и хоть три часа пытайся отыскать заветную поляну, все равно придется вернуться, до цели не добравшись.

В моём тёмно-красном сердце —
тяжесть сотни медведей.
Оно гонит кровь по тропам,
полня силой тайгу...
И с этим бессмертным грузом
вдаль по чашам, болотам
бреду...
И свой след теряю
в мокром клюквенном мху...

Бродячий пермский поэт Ян Кунтур не случайно, наверно, по дороге выщепывал строки, кочковатые, словно заросшее быльем поле Оша-медведя:

И каждый мой след — как яма...
Льётся влага забвенья —
зеленый настой кореньев —
в них... и ловит клочки
разорванных туч осенних,
посланных во спасенье
Отцовской крылатой сини...

Не умирает версия, будто Ен Из — осколок тунгусского метеорита. Кое-кто из местных краеведов высчитал, что этот метеорит в 1908 году пролетал по своей катастрофической траектории именно над Ошибом, и обронил кусочек.

Позитивистской философии камень не одобрил. После того, как его со всех сторон окопали, стал уходить под землю. Теперь в сырой яме, поглощающей Ен Иза, виднеется только спина каменного хтонического чудовища. Она облеплена золотыми восточными дирхемами и почерневшей медью старофранцузских денег. Осины продолжают жертвоприношения, осыпая камень своими дарами, схожими с диковинными монетами разных народов и эпох, какими богаты клады этой древней земли, скандинавскими скальдами называвшейся Биармией.

Теперь пришла новая эпоха. На почерневшем, мхом обросшем, осиновой опавшей листвой облепленном боку камня виднеются малоуспешные попытки процарапать назойливое: «Здесь был...»

Ен Из все терпит. По крайней мере, пермяки не забывают древние легенды, к небесному камню до сих пор иногда приходят.

Седло Ильи-пророка

Свой небесный камень имеется и в селе Архангельское. Но поменьше. Зато не в лесу прячется, а положен прямо в центре села, внутри церковной ограды. Относительно его происхождения у сельчан нет сомнений: это метеорит.

Вообще-то в начале своей истории Архангельское звалось Карповым

Посадом. Но то ли в XVIII веке, то ли в XVII — сии сведения сельская история не сохранила — небо прочертил огненный хвост, а потом со стороны деревни Калинино, это от Карпова Посада верстах в двадцати, ураганный порыв ветра принес грохот и отсветы лесного пожара.

Богатый калининский крестьянин нанял мужиков с лошадьми, чтоб они отыскивали небесный камень. Лес еще догорал, небесный гость остывал в воронке, образовавшейся при его падении. Находку привезли в Карпов Посад, где имелась часовня, возле нее и уложили, рассудив, что, раз камень с неба упал, значит, его Бог послал. Называли его сперва, как и ошибский мегалит — Ен Из, «камень доброго бога Ена». Но получалось как-то уж слишком по-язычески, и потому камень прозвали «Седло Ильи-пророка», поскольку на его поверхности имелось удобное углубление, прямо-таки приглашавшее присесть.

Похвальное христианское добронравие сельчан было поощрено тем, что в Карповом Посаде построили и в 1842 году освятили церковь во имя архистратига Михаила. Село получило новое название: Архангельское. Старая часовенка к той поре обветшала, ее снесли, а камень переместили к храму, найдя для него место возле крестообразно раскинувшего ветви кедра в церковной ограде.

Камень оказался строгий, с норовом.

Парни как-то решили похулиганить, вывернули глыбу и покатали к реке, а там спустили с крутого обрыва. Но камень, пробороздив склон середины, вдруг остановился, будто чья-то невидимая рука его удержала. Тут уж и старухи прибежали, возмутились, начали молодежь стыдить-стращать. Хулиганы усовестились, раздобыли лошадей, веревки, и затащили камень обратно.

В пятидесятые годы прошлого века небесному камню нашли хозяйственное применение. Зимой для расчистки дорог от снега обычно использовали что-то вроде деревянного грейдера, называемого «клин», и таскали его трактором... Естественно, «клин» надо было утяжелить — в качестве груза и использовали «Седло Ильи-пророка». Если сейчас внимательно рассмотреть камень, то можно увидеть: со стороны, обращенной к церкви, он слегка подтесан, заострен — видимо, чтобы укладывался в рубленый короб «клинка». Когда же на дорогах коми-пермяков появились тракторы с ножами и настоящие грейдеры, камень был брошен за ненадобностью и пребывал в небрежении, постепенно вращаясь в землю возле центральных колхозных мастерских. «От обиды, — замечают сельчане. — Это он от нас уйти хотел».

Церковь начали восстанавливать в девяностые, тогда же старики вспомнили о посланце небес. К открытию храма, в 1996-м, камень снова перенесли под кедр внутри церковной ограды, и с тех пор он там и лежит. Обрастая не мхом и лишайниками, а новыми легендами. Как тут не поверить в его внезапно открывшуюся врачевательную силу, если все свидетельства о чудесах снабжены достоверными подробностями, именами... Кладезь подобных историй — церковный староста Александр Иванович Селин.

Дядя Гена Овчинников лежал, парализованный, без движения, и во сне ему явился Серафим Саровский, посоветовал: сходи в церковь, а потом посиди на камне — выздоровеешь. А как тут куда-нибудь пойдешь, если ни ногой, ни рукой... Впрочем, сначала пальцы на руках у дяди Гены шевельнулись, а потом он после ночного видения и руками владеть стал. Попросил у родни костыли и добрался до «Седла Ильи-пророка». Долго сидел на нем, уж стемнело, и народ весь по домам разошелся. Некого попросить, чтоб помогли подняться, костыли

подали. Но собрал все силы, встал и поковылял до дому. А метров через сто ноги сами пошли. Взял костыли под мышку и вернулся домой здоровеньким.

К названию «Седло Ильи-пророка» добавилось новое: молодежь стала называть небесного посланца «камнем любви». Во-первых, здешние парни и девушки любят посидеть на камне парочками, помурлыкать. А главное, говорят, он помогает от бесплодия.

Однажды в Архангельское на поклонение камню откуда-то из-под Карагая приехала едва держащаяся на ногах женщина. Ее, под руки поддерживая, повели на исповедь, а она упала на клиросе. Селин сумел поднять ее аж на колокольную, поставил под самый большой колокол и как следует «прозвонил», чтоб все болезни выгнать.

Спустя несколько лет та женщина снова приехала в Архангельское. С маленькой дочкой. Принялась рассказывать продолжение своей истории: «Не помню, как тогда и с колокольни спустилась... А когда села на ваш камень, вдруг подумала: хочу дочь! Стала гнать эту мысль, ведь у меня уже было трое сыновей. Но та упрямо возвращалась. И вот, видите, я теперь не только здорова, но и доченька у меня родилась».

Колдуньи-фельдшерицы

И еще о таинственном и непознанном. О загадках и колдовских чудесах, которыми богата коми-пермяцкая земля.

Коми-пермяки — что в цивилизованных райцентрах, что в спрятанной за скачущими ухабами проселков и петляньем рек лесной глубинке — могут от чистого сердца креститься, заходя в церковь, и считать себя вполне верующими людьми, но при этом с почтением относятся к своему верховному богу Ену и уверены в существовании родной пермяцкой нежити.

И в XXI веке молодой семье на свадьбу дарят родовую наследственную ценность — стол, сделанный из громадных размеров старинной иконы. Обратная сторона исчиркана столовыми ножами, а какой-то смутноразличимый апостол со свитком в руке принужден уставиться в пол. Библиотекарша в норковой шапке, с правильным городским выговором заявляет, что в Иисуса Христа она, конечно, верит, но считает, что это одно из имен Ена. Признается, что бабушка у нее была травницей, а талант знахарки передается по наследству. Детей и внуков к врачам не водит, интуитивно чувствует, какую болезнь чем следует лечить. Притом настаивает, что знахарка и колдунья — это совершенно разные «специальности». В чем разница? Как определить колдуна? О, это непросто, можно только догадаться. По каким-то мелким предметам в его обиходе. По травам, которыми пользуется. Опять-таки, если случилось что-то неприятное, значит, надо приглядеться к соседям, наверняка кто-то порчу навел.

Попытки расспросить про колдовские наговоры наталкиваются на несознанку.

— Может, кто-то этим и занимается, который в это верит... Знают какие-то слова... Хотя, если скотину держишь, обязательно надо ворожить. В рождественские дни наговоры очень помогают, чтоб урожай и приплод были обильные.

Внучки и дочери травниц становятся фельдшерицами, совмещая медицинскую ученость с традиционным знахарством. С удовольствием делятся целебны-

ми свойствами здешней флоры. Вытащат картонную коробку из-под импортной микроволновки, перекалывают пучки сушеных трав, перетряхивают гремучие связки кореньев. Корни сабельника от болезней суставов, мать-и-мачеха очень крупная растет на наших глинах — отхаркивающее, черная трава — не знаю, как она по-научному, бабушка говорила: от нервных припадков. В ведро ее клали, поджигали, накрывались чем-нибудь и дышали дымом. Синюха у нас в народе заменяет но-шпу.

Потом, притишив голос, добавляет как бы необязательное:

— Есть много способов вылечиться и без трав.

Многозначительно-загадочно:

— Все поправим, коли надо. Другими способами даже и лучше.

Но, как попросишь поделиться наговорами, сразу молчок, соберет свои целебные пучки и замкнется в немоте, куда-то под потолок позыркивая.

Здешние колдуны не дают объявлений в газеты и ТВ о своих услугах, потому что колдун — это, в общем-то, норма. А вот которые в церковь ходят, те и есть настоящие-то чародеи.

— Я при церкви нашей кручусь, вожусь, помогаю, в общем. Однажды попалась мне там черная бабушка. За плечо меня — раз. Сколько я потом плечом болел!..

Полупьяный рассказчик в селе егва и сам себя готов выдать за колдуна, лишь бы на опохмелку дали.

— Но бывают в церкви и белые, добрые старушки. Они видят, кто как живет, че почем... Десять рублей у тебя есть?

Время прибавляет свои толкования загадочным способностям пермяков. Бригадир колхозный тоже считался «тэдысь», то есть «знающим», поскольку ведал, когда сеять, когда жать. Морок эзотерических сект и доступность печатного слова, что пропагандирует излишние умствования, тоже даром не проходит. Целительница из деревни Корчевня объявляет себя еще и ясновидящей. Демонстрирует отпечатанные на принтере и посаженные на пластиковые пружины офисным перфоратором-брошюровщиком книги собственного сочинения. Листая «Мир мой души», поясняет:

— Пишу стихи, песни. Однажды задала себе вопрос: кто же я такая? И пока писала эту книжечку, нашла ответ. Оказывается, не простой я человек. Бог выбрал меня и через мое посредство проводит проект, как человеку сейчас снова войти в единение с природой.

Берегись чечкома!

В далекое, от праздного любопытства укрытое сквернодорожьем село Пармайлово, пренебрегая ухабами, едут и едут корреспонденты, художники и иностранцы. Недавно двое негров заявили. Веселые: похватили местных баб и устроили танцы прямо на дороге. Геннадий Федорович Утробин впервые видел арапов живьем. До того созданный им музей пермяцких чудов посещали поляки, французы и прочие европейские народы.

Дядя Гена Утробин уже седьмой десяток разменял, а начал вырезать деревянных коми-пермяцких идолов еще смолodu. В совхозе работал трактори-

стом, домой возвращался уже к вечеру и брался за инструмент: бензопила, топор большой, топорик поменьше и полукруглая стамеска.

Идолы у дяди Гены получаются карикатурные. Некоторые глупые, другие злобные, но всегда смешные, не страшные. Сначала выставлял свои произведения во дворе дома. Потом вдоль дороги. Наконец, Утробину выделили целый гектар земли на окраине села, и он принялся устраивать музей резной скульптуры под открытым небом. Для начала благоустроил этот гектар, посадил сосенки, елочки, березки и рябинки, множество разнообразных кустов. Обихаживал их, поливал. Теперь вот сам не узнает собственные посадки. «Волчья ягода» так облагородилась на ухоженной земельке, что выглядит декоративной аристократкой.

За музеем, где начинается голое поле, трава едва пробивается сквозь россыпи щепок: здесь дядя Гена и рубит своих идолов. «Рубить надо в поте лица», — признается. Меж щепок воздвигаются неохватные пни, такие только трактором из лесу вытащить можно, и корабельной толщины сосновые стволы, сами себя хищно пеленающие осьминожкой путаницей ветвей. Утробин ходит по лесу, подыскивает деревья с подходящим расположением сучков, с необычно выгнутыми и переплетенными ветками. За тридцать лет нарубил и настрогал целый bestiary чудов: кузь кыв — «длинный язык», заставляющий сквернословить, «уна юра диво» — многоголовое диво, «сюра пеля» — чудище с рогами и развесистыми ушами. Некоторых изваял по рассказам стариков, о других прочел в фольклорных книгах, а вэр дядь ему самому однажды повстречался.

— Лешие есть, только у них гипноз сильный, — объясняет Утробин. — Его и не увидишь. И я не видел, он меня только напугал. Как-то летом я поехал за дровами на тракторе с тележкой. Вдруг кто-то по борту как брякнет! Звону было! Я вышел, осмотрелся — а место было открытое — кто, думаю, так-то стукнул? Никого нету. Но несчастный случай был после этого... Ай, не буду рассказывать.

И правильно: о встречах с пермяцкими чудами лучше не трендеть. Как-то члены Кудымкарского велоклуба решили встретить день зимнего солнцестояния на Курегкаре — «Птичьим городище». Приехали, расположились, принялись любоваться ледяным звездным небом. Вдруг вспомнили, что именно на эту ночь приходится предсказанный календарем майя конец света. Это обстоятельство несколько добавило мистической жути в настроение. Тут-то одному из велосипедистов и показался чечком. Мелькнуло в сумерках нечто маловнятное, а чему ж это и быть в таком месте и в такое время, как не «белому человеку»?

Но лучше б велосипедист о встрече с чечкомом никому не рассказывал. Это порождение злого бога Куля не просто так — для испугу — показывается, а предупреждает о зловещем событии, которое уже близко подстерегает пермяка на жизненном пути. Причем в мифологии жителей таежного края отсутствует роковая предопределенность, свойственная, например, древним грекам. Если не рассказывать никому, что встретил чечкома, то можно обмануть судьбу, и напасть тебя минует, только мохнатой лапой из бифуркационной точки погрозив... Впрочем, если встретишь не чечкома, а чечкоморта, то готовься к неизбежному.

Может статься, как раз скелет чечкома раскопали недавно «черные археологи» в Сюзь-Позье, когда разоряли древнюю могилу. Вообще-то предки

пермяков росточка были невеликого, а тут — двухметровый гигант, да с богатым вооружением захоронен.

...Сюзь-Позья («Гнездо филина») — это не деревня, а целая местность, объединяющая несколько деревень. Именно там было в давние годы обнаружено древнее городище и несколько интересных могильников. Петуховское городище вскоре после археологических раскопок местные хозяйствующие субъекты срыли начисто, добывая гравий. Нынешние пожилые ошибские жители вспоминают, как пацанами бегали на карьер, находили старинные вещицы, а однажды с ужасом наткнулись на часть скелета, человеческую фалангу, беззащитно валявшуюся на груде гравия. Археологи отыскивали и раскапывали могильники в огородах деревни Канево. Сейчас, правда, огороды эти пребывают в запустении, поскольку большинство деревень Сюзь-Позьи брошены. А там, где еще теплится жизнь, местным бабушкам приходится собирать дождевую воду, потому что к роднику старым людям уже не пройти, там сначала тропинка, а потом — бух! — крутой обрыв. От электричества остатки сюзь-позьинских жителей отрезали. Сохранился, правда, магазинчик, у крыльца которого беспризорная корова с аппетитом жует картонный ящик из-под чешского пива. Собаки не брезгают газетами.

А местность эта удивительно красива. Стоит на обрыве, под которым затайливо змеится старица Велвы. Сперва кажется, что река здесь течет по-прежнему, но потом взгляд удивленно фиксирует, как велвинская вода внезапно упирается в ничто, в глинистый берег — подобно тому, как рельсы обрываются железнодорожным тупиком. На просторную пойму надвигается горбатый холм Яг Юр, густо обросший сосняком. В брошенных избах можно найти древнюю глинобитную, то есть без единого кирпича сложенную, печь.

Село с языческой репутацией

В древнем селе Большая Коча — первое упоминание о нем в писцовой книге относится к 1579 году — перед революцией было две большие церкви, часовня, да еще и женский монастырь. Епархиальные власти стремились направить в село, которое издревле считалось оплотом язычества, как можно больше миссионеров. Нельзя сказать, что пермяки не были добрыми христианами и в церковь ходили только для виду. Но в них уживалась и поныне уживается искренняя, порой истовая православная вера с суевериями, завещанными предками, что жили, поди, с пятого века на окрестных городищах Курегкар, Ошкар и Быльдэгмыс.

Нет уже в Большой Коче прежних богатых церквей. Герасимо-Питиримо-Иоанновская, названная в честь первых епископов — просветителей пермяков, нещадно рубивших языческие «прокудливые березы», оставил по себе память только храмовыми деревянными скульптурами, что хранятся теперь в Пермской художественной галерее. От монастыря остался парк с вековыми соснами, а сама обитель первой пала жертвой большевистской мести: монашенки, говорят, преподнесли Колчаку вышитое золотом знамя. Но кочинцы, восстановив по рассказам стариков давние свои обряды, и при служении своим чудам не забывают перекреститься и воскликнуть «аминь!». Сколь бы ни был образован пермяк, в каких бы заграничах ни побывал, негласно соблюдает он завещанные

обычаи. Идешь в лес за грибами или ягодами, скажи вслух: не для продажи беру, а для прокормления семьи! Пусть собираешь дары леса именно на продажу, главное — успокоить взрुकля, пермяцкого лесовика, хранителя тайги. Создатель и хранитель кочинского школьного музея Василий Иванович Гагарин, если найдет в брошенном доме царских времен монетку, демонстративно объявляет: не для себя беру, для экспозиции.

Действует система старинных строгих табу. Нельзя ловить рыбу в устье реки, на сбросах воды у прудов и мельниц. Иначе вакуль-водяной накажет: перевернет лодочку, набьет сети тиной, снимет с крючка щуку, а вместо доброго улова прицепит корягу. Пермьский вакуль, впрочем, не такое уж страшное существо. Мужчине вакуль может показаться красивой женщиной, а женщине явиться в облике юноши. Единственный способ определить, не вакуль ли перед тобой, взглядеться ему в глаза: у этого чуда нет зрачков. Жертв не требует, в омут утянуть не норовит. Другое дело, Мара. Недалеко от Большой Кочи стоит деревня Мараты. К знаменитому линкору или к жертве Шарлотты Кордэ это название не имеет никакого отношения. Мараты означает «озеро богини смерти Мары», и вот эта богиня, действительно, может утащить человека в воду и утопить его.

Нельзя торговать иконами. Нельзя беспокоить предков, например, разбазаривать какие-то вещицы, бывшие дорогими сердцу бабки с дедом. Предки могут рассердиться и наслать проклятие — мыжу. Это болезнь непонятной этиологии, лечится очень долго, а может и вообще не вылечиться. Если уж накликать мыжу, придется пройти через обряд вешания топора — чер ошлан. Характерно, что подношение знахарке, узелок с шишечками хмеля, клались на божницу, чтобы они вобрали в себя побольше святости. Потом шишечки бросались на печные угли, а над ними на шнурке подвешивался топор. Впрочем, иногда вместо топора подвешивали икону. Знахарка начинала перечислять имена умерших предков, и на каком имени топор (или икона) качнется, тот, стало быть, и мыжу наслал. Далее предка следовало умилоствовать, отслужить панихиду, устроить обеддэз — поминки.

В Большой Коче не так давно возродился древний и довольно-таки кровавый общепермьский ритуал принесения быков в жертву Ену. В давние времена на этот языческий праздник животных пригоняли со всей округи, даже из-под Чердыни и Соликамска. На поляне у речки Онолва их резали, тут же в котлах варили мясо, съедали его, а остаток вялили про запас. А запас, порой, оставался немалый: в 1914 году сюда на заклание пригнали восемьдесят быков — почти гекатомба. Сейчас остатков не бывает, на празднике только одного бычка и режут, а народ-то по-прежнему собирается со всей округи.

...А на окраине Большой Кочи деревенские дамы в красных сарафанах-дубасах, в рубашках, вышитых специфическим национальным орнаментом — пернами, несколько напоминающими рунические знаки, в полосатых вязаных носках под колено молча нагибались и нашаривали что-то в августовской суховатой траве. Ильин день для коми-пермяков — праздник «Турун вежан лун», «день смены травы», прощание с летом. В этот день женщины выходили в поле, шли к лесу, каждой нужно было собрать пучок из пяти разных трав, непременно чтоб уже с семенами.

Женщины, хмурясь, выдергивали из земли какие-то былинки. «Да что там трава, глядите, грибов-то какое море!» Но в ответ на мой крик они стали страшно

округлять глаза, шипеть и прикладывать к губам пальцы. Во время обряда не разрешалось произносить ни звука. Иначе кукушка язык украдет.

После сбора трав женщинам полагалось слышать голоса пяти разных птиц. Но только не кукушки! Правда, к Ильину дню кукушки уже не кукуют. Но иногда, хоть редко, эта птица все же подает голос. Такую зловредную кукушку называют «блудной».

— А вот в Кудымкаре, говорят, мало уже кто из коми-пермяков говорит на родном языке. Выходит, украла-таки у них язык блудная кукушка? — спрашиваю у Анны Ивановны Теплоуховой, руководительницы ансамбля «Мича Асыв» и инициатора возрождения старинного обряда.

— Те, которые в Кудымкаре, они ближе к Перми, обрусевшие. А мы люди лесные, у нас здесь язык самый живой и интересный, его невозможно забыть. Вдали от городов, от цивилизации, в таких уголках, как наш, язык, конечно, не украдешь никогда.

Разбойная слава

На ошибском кладбище недавно восстановили редкий памятник: камень, поставленный в 1910 году убиенному попу Свято-Дмитриевской церкви Михаилу Зубареву. Стояло когда-то недалеко от Ошиба сельцо со странным, непривычным для этих мест названием — Хайдуково. Откуда в коми-пермяцкой Парме могли взяться гайдуки? Однако обитали в Хайдукове люди с лампасами на штанах, и молились не в церкви, не в часовне, а клали поклоны кресту на древней обомшелой ели. Говорили по-русски. Имели репутацию разбойников. Вот эти-то хайдуковцы проводили, что у попа Михайлы имеется замечательная, ну просто роскошная шуба. Так что ошибские прихожане, собравшись как-то раз на службу, попа в церкви не обнаружили. И дома его не нашлось. И восхитительная шуба исчезла... Впрочем, имеется у этой истории другое толкование: якобы Зубарев не доплатил наемным работникам за ремонт церкви.

Ближайшая к Ошибу деревня Ёгва славилась ярмаркой, на которую съезжались со всей губернии. Ёгвинцы внимательно следили, кто из заезжих гостей много пьет, а некоторым робким и сами подливали. А потом доброго жеребца подменяли выпивохе на полудохлую кобылу. Оттого заслужили репутацию конокрадов. Но, коли ошибцы их обзывали конокрадами, в долгу не оставались: сами вы, говорили, «поп виинце», то есть «люди, убившие попа».

«Ошибский пермяк до крайности скрытен и хитер по сравнению с русским человеком, — записывал в 1904 году свои впечатления священник местной церкви. — Неповоротлив, медлителен, в делах своих осторожен, и всегда семь раз померяет и один раз отрежет».

Могу заверить, что данная характеристика может быть отнесена не только к ошибским, но и вообще ко всем коми-пермякам. Сами они объясняют свой национальный характер так: для дома в старые времена делали мебель, скамейку, например, только из цельного дерева. А чтоб подходящее дерево найти, его надо искать полдня. Отсюда вдумчивость, неторопливость.

Посреди Пармайловского музея чудов высится двухэтажный веселенький теремок, пряничностью своей затмевающий глазурный домик Гензеля и Гре-

тель. Это Утробину из районного управления культуры направили проект дошатаых чудо-хором. Но зачем же он будет из досок теремок строить? Он его из бревен срубил и всякими деревянными узорами фасад изукрасил.

— Я в телевизоре видел, как одна тетка говорила: нужно украшать свое жизненное пространство, — кивает на свой терем дядя Гена. Но украсил он пространство не для себя. В этих сказочных хоромах он не живет, отдал для ребят, которых в каникулы привозят сюда с детских площадок и лагерей. Там проводит для них мастер-классы по резьбе, встречает и чаем угощает наезжающие фольклорные коллективы, на втором этаже собирается открыть музей.

«Мы люди мирные», — любят подчеркивать пермяки. Но и обидчивые. Дядя Гена рассказывает:

— Этим летом трое корреспондентов из Москвы приезжали. Три часа их всюду водил, все рассказал. А они потом про меня написали: маленький мужичонка, залпом выпил стопку самогона. Опозорили перед людьми! Я самогонку вообще не пью.

— А из какой газеты корреспонденты?

— Из «Спид-инфо».

Пермяки, конечно, народ преимущественно тихий, но на взрыв негодования, на жертвенное упорство вполне способный. В Гражданскую Ошиб шесть раз переходил от белых к красным и обратно.

...В Первую мировую ошибские жители сражались храбро, но, бывало, тоже попадали в плен. Одному такому пленному разрешили получить через Красный Крест посылочку из дому. Но откуда ж в лесном Ошибе взяться грамотеям? Так что жене его пришлось пешком двадцать верст идти в Кудымкар и у тамошних знающих людей выведывать, как на крышке посылки написать по-немецки требуемый адрес...

Самая дальняя деревня в ошибской округе носит название Эрна. Знатоки родного языка коми-пермяцких корней в нем обнаружить не могут, а потому рассказывают такую историю. Во время Первой мировой войны сюда на лесозаготовки пригнали пленных австрийцев. И был среди них один офицер, который почему-то угодил сюда вместе со своей дочерью Эрной. Девушка заболела и умерла, здесь же и была похоронена. А когда уже при советской власти здесь создали лесопункт, то к нему и приклеилось немецкое имечко.

Есть на ошибском кладбище могила, на памятнике написано, что похоронен в ней герой Гражданской войны Егор Титович Батин, зверски замученный колчаковцами. Но устное предание свидетельствует, что красноармейцем или большевиком Егор не был, а считался за деревенского чудака. После революции ходил по Ошибу и всем доказывал, что сейчас начнется счастливая жизнь, Строгановых не будет, лес делается общественным, строй себе хоромы, белок стреляй, собирай грибы — в общем, полная воля.

Когда пришли белые, то деревенского утописта предупредили, чтоб кончал свою вредную пропаганду. Но Батин не унимался. Тогда его жестоко выпороли шомполами и бросили умирать. Но мужик оклемался, дополз до дому, а как пришел в себя, снова принялся рассказывать сказки про счастливое будущее. Вот тогда Егору Титовичу пули не пожалели, и сделался он политической волей местных советских властей героем Гражданской войны и колчаковской жертвой.

С установлением советской власти и объявлением НЭПа разбойничьи инстинкты у жителей Ошиба и окрестных деревень пробудились с новой силой.

В деревне Сизево две зажиточные семьи, Лунеговых и Поповых, держали лавки. Причем, памятуя об инстинктивных наклонностях односельчан, часть добра прятали в лесу, в яме. Но все равно однажды ночью мужики налетели на лавки, вывезли на подводах все товары, про схран в лесу тоже проведдали, и его обчистили. После чего по-робингудовски разделили хабар между всеми жителями Сизева. Одна из местных барышень по имени Маланья не придумала ничего лучше, как нарядиться в новый сарафан, закутаться в цветастый полушалок и в таком праздничном виде явиться в ошибскую Свято-Дмитриевскую церковь. Там ее и застукала дочка ограбленного нэпмана: «Это же наше добро!» После чего при людях стала срывать с нее обновки и всяко позорить...

В Сизеве нынешние зажиточные хозяева и посеичас овец держать не решаются. Потому как печальный опыт имеют: выпустишь овечек поутру, а вечером они не вернутся. И не найти их уже... Но на крупные злодеяния местное население все же не решается. Например, уже несколько лет стадо деревенских коров пасется без пастуха. Просто уходят с утра на луга, а потом вечером сами возвращаются. Ну, или заночевав где-нибудь в перелесках, являются домой на вторые сутки. Из чего можно сделать вывод, что неумные робин гуды и крупные лесные хищники, медведи да волки, в Ошибе и окрестностях перевелись.

А ведь недавно еще считался этот таежный угол дремучим, медвежьим. Набродившись по чащобам, поэт Ян Кунтур окончательно почувствовал себя ошибским тотемным зверем:

Я обнажаю клыки,
глаза поднимая к небу
из дремучих урманов...
И горб мой косматый — выше
кедров, старых, как жизнь...
Ты грозный мой рёв услышишь
вестью благожеланной —
как суд справедливый, верный
в мире страха и лжи...

Не то что колчаковцев, даже матерых медведей здешние мужики совершенно не боялись. Был случай после Гражданской: двое приятелей отправились на охоту, подняли зверя из берлоги, а топтыгин одного охотника под себя подмял. Товарищ бегаёт вокруг, стрельнуть боится, вдруг в приятеля попадет. А тот ему из-под медведя кричит: «Так у тебя ж трехлинейка со штыком! Да не тычь его, а коли с разбега!»

С разбега-то охотнику зверюгу и удалось заколоть.

А еще не так давно по Ошибу ходил мужик с вывернутым ухом. Тоже неудачно медведя поднял. Пришлось вокруг соснового ствола от косолапого бегать, уворачиваться. Медведь дотянулся, чуть ухо охотнику не оборвал. А мужичок по лапе, ствол обнявшей, топориком — тюк.

Оружие в Ошибе и окрестных деревнях до сих пор считается сакральным родовым достоянием. Даже самодельное ружье с кованым восьмигранным стволом — шомпольное, капсюльное — умудрились, передав от прадеда к правнуку, сберечь до нынешней поры. Хоть медведи на одноименном поле уже перевелись, да и пальнуть из полторастолетней «пищали» (коми-пермяки до сих пор так называют любое ружье) вряд ли осмелится даже самый отчаянный ошибский охотник.

Бригадирская плетка

Крестьяне в ошибской округе были государственными — чернососными. А вот леса находились в частной собственности у Строгановых. Недалеко от Ошиба, только через речку перебраться, в деревне Косьва на угоре стоял дом, который называли «господским»; там находилась строгановская контора. Мельничная плотина принадлежала богатым сельчанам, фамилия которых в истории не сохранилась, а вот кличка помнится: Пась торов, т. е. «кусочек шубы». После революции, когда лес можно было заготавливать без оглядки на строгановских управляющих, Ошиб и окрестные села начали строиться и разрастаться. А у мельников-кулаков неделю вывозили добро на двадцати подводах. Ни кусочка прежних «богатых шуб» не оставили.

Межколхозную ГЭС строили напротив разрушенного «господского дома», на остатках мельничного заплота этих самых Пась торов в конце сороковых годов. Согнали людей с двадцати двух окрестных колхозов, руководил строительством талантливый самоучка Степан Лунегов. Четыре года продолжался каторжный труд, сохранилась память о бригадире, который в качестве аргументов употреблял не ругань, а короткую плетку. Наконец, летом 1952-го пришли в движение две вертикально-радиальные турбины, и ГЭС дала свои проектные сто пять киловатт. В каждой избе разрешалось иметь только одну электролампочку, светилась она едва-едва, только утром и вечером. Днем включать ее запрещалось. Летом для бытовых нужд пользоваться электричеством возбранялось вовсе, ток подавался только на колхозные гумна. Но все же в ошибских избах стали появляться радиоприемники «АРЗ» — Арзамасского радиозавода, потом электроплитки. Интересно, что счетчиков в домах не было, за электроэнергию расплачивались из общей колхозной кассы. Так что неслучайно день пуска ГЭС отмечали летом 1952-го всеобщим гуляньем на велвинском берегу.

Перед тем, как в Ошиб протянули линию электропередач, в некоторых избах даже и телевизоры голубыми огоньками уже мигали. И хоть плотина сейчас разрушена за ненадобностью, все же жители округи до сих пор вспоминают тусклые огоньки своих лампочек, просигналивших о решительном наступлении цивилизации на заповедно-таежный край.

Впрочем, Ошиб не был вовсе уж глухим углом. Внушительную, хоть и деревянную, Свято-Дмитриевскую церковь освятили в 1862-м году. Библиотека здесь появилась еще в 1905-м. Хотя, признаемся, косы-литовки стали известны только в начале 1920-х, когда этот инструмент завезли сюда нанимавшиеся батраками русские мужики, бежавшие от голода из Поволжья, до той поры здесь косили «горбушками». Этот коротенький инструмент, напоминающий серп, впрочем, и сейчас употребляют, когда надо чисто выкосить траву на кочках и между пнями.

Дремучая судьба

Багрово-фиолетовые плети «девичьего» винограда ползут по вросшим в землю сараям, тянутся по крышам деревенских бань. На велвинских омутках застыли лодочки-«пыжи» местных рыбаков. Пыж — это такое утлое, коротень-

кое и узкое корытце, чтобы просто удержаться в нем — требуется индейское чувство равновесия. Хорошо хоть, крупной добычи в Велве для рыбаков уже нет, только плотва, а щуки остались в преданиях — как и обитавшие в омутах пермяцкие водяные-«вакули».

Едва ли не на каждом пригорке, уберегающем себя от недооцененных ошибских бальнеологических ресурсов, высажены петунии, бархатцы, а то и ампирно горделивые георгины. У каждого общественного здания путника встречает железная бадья с аккуратно уложенными по краю квачами. О, этот вечный ритуал отмыwania резиновых сапог перед вхождением в библиотеку, клуб или церковь!.. Ошибскую старую Свято-Дмитриевскую порушили еще в 1975-м, на ее фундаменте воздвигли сельсовет, а нынче сельсовет переделали обратно в храм. К сожалению, большой девяностопудовый колокол где-то сгинул, но не так давно одна ошибская старушка, почувствовав приближение смерти, наказала: как помру, копайте на моем огороде в таком-то месте... И выкопали один из церковных колоколов! Он, хоть и небольшой, снова служит прихожанам Ошиба.

То ли глухой его звон, то ли дальние эманации магического Ен Иза заморочили лирического Яна Кунтура до верлибров:

Роскоши пёстрых школьных газонов
завидует неприглядное
мрачное небо
лежащее точно серый камень
среди пермяцкого леса
над толщами красной
октябрьской глины.
Нет
наоборот это тот
единственный на всю округу
валун.
Есть осколок от беспросветной тучи
отбитый косматым Еном
и брошенный на Медвежье Поле
для успеха этих
дремучих судеб.

...Порождения запекшейся, как кровь, глины, сгнившей рыжей хвои, заросших речной травой заводей никогда не оставляли здешних жителей, даже под крестовой сенью христианства, даже под инверсионными хвостами авиалайнеров, что чертят пермяцкое небо, перелетая над глиняным краем из одного цивилизованного мегаполиса в другой, даже в фокусе параболических антенн, что разносят по деревням нивелирующее наваждение сотни телевизионных каналов и соблазны интернета.

P.S. Прошу прощения, если кое-где в очерке неправильно употребил пермяцкий падеж, их в этом языке аж семнадцать штук.

Гасан Гусейнов

Русский язык в современном мире

В современном мире русским языком как родным пользуются не менее ста пятидесяти миллионов человек. Считается, что еще для ста миллионов, живущих на территории бывшего СССР, русский является относительно свободным основным языком общения. Для сравнения: языком хинди, по данным официальной статистики, пользуется не менее полумиллиарда человек. А вот носителей греческого языка совсем мало — всего тринадцать миллионов. Древнегреческим и санскритом владеет еще меньшее число людей, измеряемое в лучшем случае десятками тысяч.

В советское время русский был региональным глобальным языком. По-настоящему глобальным он был формально — как один из главных официальных языков Совета безопасности ООН. А фактически изучали его в мире не так широко, как, например, французский или испанский. Регионально-глобальным он был в бывших социалистических странах и в странах, как тогда говорили на одном дыхании, Азии-Африки-Латинской-Америки, где с помощью СССР выращивались кадры для построения социализма. И сейчас еще в самых неожиданных точках планеты можно столкнуться с людьми, которые когда-то учили русский по Владимиру Маяковскому — «только за то, что им разговаривал Ленин».

Позднее, когда идеология обветшает, все пойдет по формуле уже Владимира Высоцкого:

Проникновение наше по планете
Особенно заметно вдалеке:
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке.

Берлинский таксист из Ирана, изучавший русский в Баку в 1970-х, или врач-афганец из Бремена, освоивший русский в криворожском медучилище в 1980-х, — это не только осколки разлетевшейся империи, но и часть глобальной сети друзей русского языка.

Конечно, не численность говорящих делает язык мировым. Есть что-то другое, не менее важное. Можно говорить о двух сферах — сфере внешнего

Гусейнов Гасан Чингизович, филолог-классик, доктор филологических наук, профессор факультета филологии НИУ-ВШЭ. Автор нескольких книг и более ста статей по классической филологии и истории культуры, современной политике и литературе.

приложения, которая измеряется количественно, и сфере внутреннего приложения, которая определяется качественно. К внешней сфере относятся люди, занимающиеся военным делом и промышленностью, наукой и образованием, но также и переводами с других языков, и управлением, и тысячами других дел. Ключевую роль играет здесь доля тех, для кого твой язык — второй или даже третий. Мировым в сфере внешнего приложения делают свой язык политики и ученые, которые решают, скажем, что больше не будут принимать к печати в своем журнале статьи по той или иной отрасли знания на родном языке, а, например, только по-английски. Сложился даже отдельный жанр глобальной антиимпериалистической публицистики — жалоба на «засилье» английского языка.

Такова судьба фундаментального и прикладного естественно-научного знания на немецком или на русском языках. Часть научного сообщества решает, что для развития науки родной язык этого сообщества перестал быть релевантным. Между тем, первичные математические операции человек совершает на родном языке. Почему это так, другой вопрос. Дело не в бессмысленном патриотизме, а в сознательном ограничении области применения родного языка. Этого опыта у русских, живущих в метрополии, пока еще не было. Здесь задевается главное идеальное качество родного языка — полное и, в идеале, безотказное обслуживание всего насущного опыта человека.

Что такое качественная сфера, или сфера внутреннего применения?

Понимание носителем языка, что только на этом языке ему доступно нечто такое, чего он не получит ни через какой другой язык, каким бы богатым тот ни был.

Для того, чтобы подступиться к ядру проблемы, необходимо преодолеть несколько общих мест.

Пусть на греческом и санскрите читают только десятки тысяч человек, но задачи, поставленные перед человечеством на этих языках, остаются открытыми для каждого следующего поколения. Эти задачи — философские, логические и кибернетические, иначе говоря, задачи понимания, образования и управления. Люди, читающие и пишущие на так называемых живых языках, не покидают рамок, заданных аристотелевскими категориями, даже если ничего не знают об этих рамках, потому что о них, может быть, забыли не только их школьные учителя, но и учителя этих учителей. Видимой делает эту качественную сферу только настоящий кризис репрезентации языка в сознании говорящих на нем людей. Все помнят басню «Мартышка и очки», но как же неприятно сознавать, что мартышка — это ты сам, а очки — это твой родной язык, которым ты владеешь, как выясняется, на очень небольшую глубину.

Под репрезентацией я понимаю высказанное в авторитетных текстах отношение к родному языку и как к дифференцированному инструменту выражения, коммуникации, познания, управления, и как к интегративной символической персоне. В России, как правило, такой персоной, или персонализацией идеальной сущности, выступает «великий и могучий русский язык» из стихотворения в прозе И.С. Тургенева.

Тургенев, скорее, удивлен, как это в таком рабском и неразвитом обществе, как Россия середины XIX века, вообще возможен такой богатый, свободный, великий и могучий язык. Тем не менее, на протяжении всего нескольких

десятилетий на русском языке появились тексты, знакомство с которыми стало обязательным элементом образования.

Из чего состоял русский сегмент тогдашнего мирового гипертекста? Мы вряд ли ошибемся, если скажем, что этим сегментом была русская критическая литература и публицистика. К концу XIX века олицетворением символического персонажа по имени «русский язык» были Толстой, Достоевский, Чехов, а чуть позже — политические деятели, прежде всего — марксисты — Троцкий и Ленин.

В своей глобальной функции русский язык стал языком социальной революции и интернациональной, в определенном смысле даже анациональной, коммунистической экспансии. При этом идеология интернационализма, деколонизации, социального равенства, которую можно считать «ранней глобализацией», интегрировала и русский гипертекст прошлого столетия. Для изучавших русский язык в мире имена Пушкина как певца свободы, Толстого, Достоевского и Горького как аналитиков человеческой души и критиков социального устройства, Маяковского и Пастернака как певцов революционной эпохи и, наконец, Ленина, Троцкого и Сталина как строителей справедливого будущего для всего человечества — эти столь разные имена представляли язык — носитель права на глобальную функцию. Это была функция идейного объединителя человечества на почве самого справедливого и вместе с тем, как тогда говорили, «научно обоснованного» государственного устройства.

Конечно, имена Ленина, Троцкого и Сталина в этом списке покорабят очень многих. И меня они — больше первое и третье, чем второе — коробят. В самом деле, то, что было менее известно при их жизни и стало прозрачно и доступно для всех желающих знать сегодня, например, о методах насаждения «всеобщего счастья человечества», мало кого сделает поклонником строителей советского государства. Но русская пословица не зря гласит: из песни слова не выкинешь.

Как бы мы ни сожалели об этом, как бы нам ни хотелось, чтобы большинство иностранцев мечтали изучать русский язык ради того, чтобы прочесть Пушкина или Ахматову, в XX веке это было не так. Одно из важнейших социо(контр)культурных явлений эпохи — международный терроризм — тоже держалось во второй половине XX века на интересе к большевизму и сталинизму, к маоизму и иным «измам». Один из самых известных международных террористов — Ильич Рамирес Карлос получил свое первое имя — Ильич — в честь Ленина (его брат получил в честь Ленина имя Владимир).

Конечно, были тысячи и тысячи людей, изучавших русский для того, чтобы прочитать Солженицына или Цветаеву. Но тренд определяли не они, а те сотни тысяч людей в мире, которые видели в Советском Союзе не просто символ обновления их жизни, но непосредственный пример осуществления мечты, не утопию, а реальность. Не их вина, что эта реальность в самой стране, излучавшей международные прогрессивные идеи, оказалась, по большей части, иллюзией.

Мы сейчас не говорим о реальном содержании деятельности перечисленных в списке людей: очевидно, что поэт и сановник Пушкин не отвечает за преступления бандита и палача Сталина или визионера и палача Ленина. Но есть по меньшей мере два измерения, в которых язык всех троих интегрирован в сознании больших групп людей. Одно измерение — это взгляд на Россию извне, взгляд человека, нашедшего ультимативную легитимацию для изучения данного языка. Другое измерение — отношение Сталина к Пушкину, точнее — узурпа-

ция сталинским режимом пушкинского наследия, вообще русской классической литературы как источника внутри- и внешнеполитического авторитета.

Претензия идеологов и политиков языка опиралась на холистское¹ представление, у которого открылось неожиданное внутригосударственное измерение. Несмотря на доктринерскую пропагандистскую цель и исходное лицемерие официальной идеологии, сами политики языка и языкового строительства, следуя букве своего учения, и в самом деле всемерно поощряли так называемую культуру речи, развивали переводческую деятельность в невиданных прежде объемах, обеспечивали русский язык статусом универсального языка научного знания.

Вся международная номенклатура наук, за исключением разве что психоанализа, получала выражение на русском языке советской эпохи. При этом институты авторитетности языка номинально имели в обществе чрезвычайно высокий статус, хотя и были рассредоточены. Опыт этот до сих пор еще абсолютно не изучен. Между тем, речь идет о том пласте русского литературного языка, который создавался в естественно-научной и математической среде. Это язык ученых, не просто переводивших (с латыни, немецкого, французского, английского) научные труды на современный русский язык, но создававших русскую версию языков своих наук. Два роковых заблуждения пленяют исследователя языка, привыкшего считать, что настоящий литературный язык это прежде всего язык поэзии и прозы, ну, еще философии, а язык химии и физики, почвоведения и биологии — это чуть ли не профессиональный жаргон, вторичный по отношению к литературному языку. Известно высказывание Эйнштейна, которым довольно бездумно размахивают литературоведы. Мне, говорит Эйнштейн, больше дал для понимания физики Достоевский, чем Гаусс. Если додумать мысль Эйнштейна до следующего логического витка, то станет ясно, что «понимание физики» и «понимание литературы» опираются на некую более общую культурную платформу, что между ними существует свой «большой язык». Вот о знании этого «большого языка» и говорил Эйнштейн, а после него великий русский (а также советский и французский) математик Владимир Арнольд. Это язык, на котором о себе говорит и наука. Достаточно вчитаться в сочинения, например, Д.И. Менделеева (в том числе в его небольшие статьи по астрономии или винокурению в словаре Брокгауза), чтобы понять: эпоха великих химических достижений держалась на великих ученых, которые участвовали в развитии русского литературного языка никак не меньше, чем современные им романисты. Эта незаметная реальность языка быстро растущей страны создала за XIX век ту почву, которой позже воспользуется советская власть для строительства глобально значимой научной платформы. «Третий мир» поехал учиться в Советскую Россию не только языку Пушкина и Сталина, но и языку естественных наук.

В повести Михаила Булгакова «Роковые яйца» живой русский язык науки зоологии противопоставлен засушенному деревянному языку идеологии. При этом советские власти, которые сам писатель считал связанными с нечистой силой, осознавали необходимость «взять» у ученых их язык, оприходовать не просто наличные знания, но и превосходивший собственные возможности властей механизм порождения нового знания. Чекисты в кожанках и прочие

¹ От философского понятия «холизм», или целостность.

дети нечистой силы у Булгакова уважают профессора Персикова за его способность описать предмет своего знания и передать его другим. Но позволить этому языку свободно развиваться они все-таки не могут: тогда развалится вся система контроля над обществом. Хотелось глобальной науки «на уровне мировых стандартов», но с сохранением власти над языком и общественным сознанием.

Вот почему у этой ранней советской языковой глобализации был только один изъян, который не очень бросался в глаза внутри страны: вокруг советских «эйнштейнов» не было советских же «достоевских». Науки, которые создавались в идейной неволе, не могли дышать родным воздухом. Советские чиновники очень рано это почувствовали, а Михаил Булгаков еще в начале 1920-х годов описал. Но чиновники понимали дело слишком вульгарно — как задачу обеспечить своим «засекреченным ракетчикам» дефицитный досуг. Этого оказалось мало. Важнейший сегмент литературного языка — язык науки — начал дрейфовать у крупных и средних ученых в сторону английского. Вся культура технарского самиздата, попытка помириться с мировой культурой через научную фантастику и бардовскую песню, как и некоторые другие литературные жанры, не обеспечивали культурного саморазвития ученых на родном языке и внешнего общественного диалога, который хотя бы отдаленно велся бы на том же уровне, на каком обсуждались внутренние задачи соответствующих наук.

Феномен А.Д. Сахарова и С.А. Ковалева — это и голод по свободному, открытому языку общественной свободы. Звучит несколько высокопарно. Но в нынешнем противостоянии массового человека с его куклами и кукличками силы, крови, почвы, нации и тому подобных обманок для людей языка, людей права, людей культуры, людей исторической памяти основная проблема — разномыслие.

Во внутренней культурной и социальной политике русский язык даже не нуждался в формальном статусе государственного — он всюду на территории бывшего СССР представлял общедоступный воздух коммуникации, познания, выражения и, главное, управления.

И только исчезновение СССР раскрыло большинству людей, говоривших на русском языке, насколько противоречивым, сложным и проблематичным является в некоторых случаях тот факт, что русский — родной или второй язык для этих людей.

Как только Советский Союз распался, вскрылось несколько болезненных противоречий. Оказалось, что, чем лучше ты как носитель языка понимаешь деревянный язык Сталина или Брежнева, тем хуже ты понимаешь язык Толстого или Чехова.

А двуязычные носители других родных языков почти принудительно построили свою новую языковую стратегию на отторжении русского — как языка колонизаторов или языка коммунизма. Нечего и говорить, насколько болезненно такое восприятие русского языка для тех, у кого именно он — родной. Первый и единственный.

Официальный русский язык нес идеи равенства народов; неофициально, фактически СССР был феодальным обществом, в котором процветали всевозможные предрассудки и суеверия — от расизма до культа потребления во внеправовом пространстве.

Официальный русский язык обещал свободу — фактически в СССР свирепствовала цензура.

Официальный русский язык обещал поддержку «трудящимся Запада и Востока» — фактически он поддерживал правящие репрессивные режимы или устанавливал таковые по своему усмотрению везде, где мог.

В течение XX века Россия накопила новый опыт. Тоже бесценный, но — другой. Миру нужно было понять и то, как устроен ГУЛАГ, и то, как возможно (если возможно) выживание человека в страшной, бесчеловечной среде. Поэтому нужны были Андрей Платонов и Василий Гроссман, Александр Солженицын и Варлам Шаламов, Осип Мандельштам и Анна Ахматова, Всеволод Некрасов и Лев Рубинштейн, чтобы точнее понимать язык... Ленина и Сталина. Художественная литература была в России не только инструментом критики исторической эпохи и социального устройства, но и единственным остававшимся у людей инструментом трансляции знания о недавнем прошлом.

А для миллионов людей в мире советский русский язык в последние десятилетия выступал в двойном обличье — как инструмент интернационализма, или международный механизм построения будущего, и как язык оккупантов, подавляющих свободное развитие других, «младших» языков. Не иначе выглядело это противоречие и для самих русских. Так, советское государство национализировало для своих идеологических нужд Пушкина и Толстого. Но благодаря школе русской классической литературы в СССР родились и выросли литераторы, описавшие советский режим. Пусть иногда и в устаревших и даже эпигонских формах.

Но язык устроен так, что целый век он может спать и не порождать текстов, которые имело бы смысл принести в мир. Возможно, последние, позднесоветские и первые постсоветские наши десятилетия именно таковы. «Разбор полетов» не только не закончился, но в основном даже и не начался.

И дело здесь не в традиционном для России алармизме: мол, когда вырубают вековой лес, на его месте вырастает кустарник. И сейчас в России и в мире на русском языке создаются замечательно интересные локальные литературы. Правда, тексты, публикуемые на русском языке сегодня, невозможно в полной мере понять по школьным и университетским учебникам второй половины XX века.

И вместе с тем остается вопрос: каков же тот глобальный месседж, который делает тексты, написанные на русском языке сегодня, жизненно необходимыми для других?

Переформулируем вопрос.

Какой сегмент русской речи сегодня значим глобально и массово? Все еще язык ракетно-космической техники или поэзии Серебряного века? Или сейчас важнее язык Русской православной церкви или жаргоны политиков и дальнобойщиков, сутенеров и наркоторговцев, силовиков и боевиков? Их надо изучать всем, кто любит и хочет лучше понять современную Россию, — от предпринимателя до историка. Конечно, бывают и другие мотивации — и более скромные, и, наоборот, более амбициозные.

Советский Союз распался, физическая территория России сократилась, а русский язык, наоборот, стал стремиться к настоящей глобальности. Он облегчает бегство из постсоветских «национальных раёв» в другие миры. Может быть, не всегда и не слишком дружелюбные, но все-таки дающие дышать. Вектор движения, кстати, не обязательно — на Россию. Есть русские и русскоязычные, которым намного свободнее, чем в Москве или в Воронеже, дышится в Киеве

или в Тбилиси, Нью-Йорке или Париже, Хельсинки или Берлине. Везде, где и сегодня можно прожить жизнь по-русски, в русской инфраструктуре, от роддома до реанимации. Ведь свободу определяет не язык, а только политическая система.

Бросается в глаза центральное противоречие нашей эпохи по сравнению с большей частью двадцатого, советского века. Независимо от того, насколько оправданными были эти амбиции, приманкой для многих стало отождествление русского и советского в остальном мире. Изучать русский для многих означало вырабатывать в себе идеологию нового, справедливого и передового общества.

Делегитимация языка как носителя коммунистической идеологии вынуждает некоторых прибегать к неожиданным изоляционистским проектам — попыткам представить русский язык как окно в закрытый «собственный мир». Эта попытка осуществляется на многих уровнях. Так, язык может быть рекрутирован на роль проводника православия и тех традиций, разложение которых застали революции 1905–1917 гг. С другой стороны, в регионах распространения ислама в России общим языком этой религии парадоксальным образом оказывается язык межнационального общения, каковым, например, в Дагестане является русский (сообщение А. Ярлыкапова). Но национализация языка или попытка на новом витке привязать бывший «язык межнационального общения» к его предполагаемому домашнему этносу, наносит, возможно, наиболее опасный удар по русскому языку. Искушению взять правильный, традиционный, восходящий к предполагаемым культурным ориентирам XIX века язык и с его помощью вытеснить деревянный русский советский язык — с его словарем и мыслительными конструкциями — поддаются многие писатели и мыслители. Пример наиболее авторитетного проекта такого рода — это «Словарь языкового расширения», составленный Александром Солженицыным. Чтобы понять, почему этот проект провалился — без всякого треска, а просто утонул в болоте, — нужно посмотреть вокруг. Другой пример изоляционистского толка — попытка клерикализации обывденного языка, которая тоже началась еще в позднесоветское время: такие проявления многообразия, как религиозное мракобесие, кликушество и пустосвятство, в какие бы конфессиональные одежды они ни рядились, вышли из позднего СССР. На дрожжах традиционных религий, попавших в питательную среду позднесоветского парарелигиозного синкретизма и идеологии нетерпимости к «чужому», поднялось небывалое еще в истории России тесто. Здесь неожиданно вновь выпекаются герои Достоевского, здесь церковь наделяет себя репрессивными функциями, говорит на новом языке, который паства понимает по-своему, иррелигиозное светское общество — по-своему, а иностранцы — по-своему. Но все слышат в нем угрозу, словно ожил Великий Инквизитор из «Братьев Карамазовых». Только одни радуются, что теперь, в кои-то веки, угрожать могут они сами, а другие — печалуются, что угроза пришла с такой неожиданной стороны — от адептов религии любви, покаяния и прощения.

Особое место занимает русский язык «всемирной паутины». Русскую сеть в мире поддерживает не просто многомиллионная диаспора. Говорят, что большая часть грамотных пользователей русскоязычного сегмента Интернета находится за пределами России. Не будь «паутины», русскоязычные анклав, возможно, давно утонули бы в иноязычном окружении. А отдельные фрагменты образования на русском языке, доставшиеся еще от советского времени, продол-

жают быть образцами для родителей, дедушек и бабушек с нормативным школьным опытом. Сейчас русский сегмент всемирной сети — это новая кузница языка.

Но не только виртуальное сообщество определяет судьбу языка. Меняется, то есть платит свой налог на глобализацию, языковое сообщество реальное. Тот, кто радуется, что с ним в португальском ресторане на живом русском объясняется молдаванин-официант, не должен раздражаться на только еще осваивающего русский язык нового московского таксиста из Душанбе. Даже самое косноязычное и апатичное большинство способно заметить, что квалифицированные и грамотные люди куда-то уезжают, а неквалифицированные и малограмотные — откуда-то приезжают. Какой новый культурный продукт возникнет в этой новой среде, сейчас установить невозможно, но включенное изучение процесса — одна из важнейших новых задач современной русистики.

Глобальные функции язык приобретает только тогда, когда его не просто хотят, но не могут не изучать другие. Сейчас конкуренты русского на международном рынке языков — немецкий, французский, итальянский. Они нужны для жизни и работы в этих странах. А как с русским? Кого из стремящихся осесть в России больше — инженеров, нанятых для работы в Сколково, или бежавших от войн и произвола собственных властей жителей, например, Средней Азии? Или беженцев из Афганистана? Результаты переписи населения 2010 года обработают не завтра, но всякому ясен ответ. В любом государстве хотят, чтобы к нему ехали состоятельные люди, знающие язык принимающей страны. Но разве такие едут из Сомали — в Финляндию, из Пакистана — в Норвегию, из Средней Азии — в Россию? Иммигранты меняют речевой портрет города и страны. И новая глобальная русская речь вовсе не похожа на ту, которой учили иностранцев дипломированные специалисты-филологи на протяжении предыдущих десятилетий.

В начале «нулевых» один отлично говорящий по-русски американский солдат признался мне, что в Афганистане, особенно в некоторых регионах этой большой страны, говорить с местными жителями при определенных обстоятельствах лучше по-русски, чем по-английски. «В плане выживаемости оно сподручней», — коряво, но убедительно выразился мой собеседник. «Да ведь и тем, кому он родной, их язык тоже нужен для выживания», — подумал я. Но промолчал. Потому что получил еще один ответ на вопрос, глобален ли русский язык сегодня.

Однако веских причин изучать русский язык и теперь может быть много, очень много. Тут возникает другой насущный вопрос. А на основе каких текстов сегодня лучше всего этот язык изучать? Однажды, это было почти две с половиной тысячи лет назад, тиран Сиракуз Дионисий попросил философа Платона объяснить ему, как устроена жизнь в Афинах. Вместо ответа Платон прислал на Сицилию свиток с избранными комедиями Аристофана. Давно нет на свете Дионисия, Платона и Аристофана. Но мы изучаем настоящую жизнь в Афинах V—IV веков до н.э. действительно скорее по Аристофану, чем по трактатам о государственном устройстве. Так было всегда, так будет и впредь.

Мы можем хотеть понять речь политических деятелей. Но осуществить это желание сами эти политики нам не помогут. Вот почему для понимания Сталина и Ленина нам и нужны Булгаков, Зощенко и Солженицын.

И сегодня для понимания языка политиков, глав Российского государства

и правительства — всем, и тем, для кого русский — родной, и тем, чей родной язык — другой, нужны не сами эти в общем довольно косноязычные люди, научившиеся камуфлировать свои мысли еще у своих советских учителей. Тем и другим нужно изучать язык улицы, саркастическую стихотворную публицистику Дмитрия Быкова или абсурдистские романы Владимира Сорокина, язык блогосферы и социальных сетей с их словарями жаргонов — бизнесменов и проституток, беженцев и врачей, торговцев поддержанными автомобилями и недвижимостью, тайный словарь геймеров и торговцев наркотиками.

Новые и примечательные трудности возникают у изучающих современный живой русский язык и там, где по-новому заговорила Россия многоконфессиональная. Несмотря на риторику «возрождения» или «обращения к корням», а также внешние признаки архаики в речевом габитусе представителей православного или мусульманского духовенства, перед нами — попытка сохранить прежний статус духовного лидерства с новым, на этот раз религиозно-национальным наполнением. Риторика православия и, в меньшей степени, ислама подпитывает политическую риторику, насыщает и повседневную речь «обскурантизмами». Например, риторика Московского патриархата вскормлена позднесоветской идеологией. Доктрина языковой политики светской РФ гласит: повсюду там, где говорят по-русски, находится кусочек российской государственности. Эта доктрина все живее прикрывается духовным камуфляжем. В результате главным государственным человеком чувствует себя предстоятель церкви, по Конституции отделенной от государства. Неразрешимое логико-политическое противоречие выражено в языке: речь предстоятеля церкви более подобает военачальнику, а руководитель государства покровительствует церкви как своему политическому ресурсу.

Для освоения этой новой ситуации исследователям и преподавателям языка предстоят большие организационные и содержательные перемены. Это как раз тот случай, когда можно говорить о смене парадигмы во всех основных областях производства и потребления текстов на русском языке: и на уровне определения приемлемости/неприемлемости выражения, и на уровне жанров, и на уровне синтаксиса и морфологии высказывания, и на уровне допустимости/недопустимости применения графических и визуальных средств вербального высказывания. Главное, что это касается не каких-то маргинальных явлений речевого опыта и языковой нормы, но центральных, сущностных высказываний на русском языке, или языковых действий, совершаемых международно признанными авторитетными персонами — от Виктора Пелевина с его эзотерикой, или Татьяны Толстой с ее архаично-готическим Russian style до Владимира Путина с его «мочить в сортире», или Валентины Матвиенко с ее «сосулями», или священнослужителей РПЦ с их брежневской риторикой «всеpravославного единства» и партийно-государственной стилистикой («Русская церковь получила возможность свободного осмысления пройденного ею исторического пути. Итогом его стали важные концептуальные документы, обобщающие опыт церкви в таких сферах, как церковно-государственные и церковно-общественные отношения...» (патриарх Кирилл /Гундяев/, речь 4 июля 2009 года).

Одна из гипотез, которая могла бы объяснить скорость вторичного «одеревенения» русского и одновременно утраты им некоторых глобальных функций, — та, что языковая политика на протяжении почти целого века была политикой унификации, нивелировки и обслуживания государственного интереса — вся-

кий раз нового. В самом начале советской фазы русской истории из повседневности вытеснялся и изгонялся язык церкви. В «12 стульях» И. Ильфа и Евг. Петрова этот процесс показан в фельетонном ключе. Другие авторы видели источники снижения уровня культуры в изменении этнокультурного состава аппарата власти. Рельефнее других этот ужас перед новыми хазарами и печенегами вылепил Булгаков, составивший коллаж нового хозяина русского языка из «наркомздрава, наркомзема, заведующего животноводством товарища Птахи-Поросюка, профессоров Персикова и Португалова... и товарища Рабиновича». Из малограмотного говора великорусского простонародья и языка марксизма изваять что-то новое, по возможности «очищенное» от «южнорусского говора», «еврейского» и прочих «азиатских» акцентов, создать язык нового человека можно было, только внедряя представление о норме, обозримом стандарте, никому не дающем увернуться — ни вниз, в матерную преисподнюю языка, ни вверх, ни в сторону — в направлении постепенно стираемых диалектов. Метафору «куриной чумы», напавшей на Россию в первое пореволюционное десятилетие, или торжество языка зощенковского Назара Ильича господина Синебрюхова, героев Платонова можно трактовать как правдоподобное объяснение новой политики языкового строительства. Вот что вынудило советские власти сопровождать это языковое строительство параллельным «повышением культурного уровня». Сведения о возникшей в результате такого повышения-понижения сложной форме полиглоссии прорывались в литературу (от популярного рассказа Александра Яшина «Рычаги» до поэмы Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки»), но по-прежнему теоретически не осмыслены. Точнее, они не осмыслены с применением как раз тех современных лингвистических теорий, которые так продвинули философию языка в США, где фундаментальная теория языка и сознания позволила развить критику, например, политического языка. От Н. Хомского до Дж. Серля — если говорить только о живущих и активно участвующих в создании социальной теории философов-лингвистов — в России берут только «лингвистику», считая политику и социальную действительность вообще делом не научным. Одним из редких исключений был рано умерший математик и гуманитарий Юрий Иосифович Левин, но школы он, кажется, не оставил. Взаимообусловленность лингвистических и социальных феноменов мы найдем в работах В.И. Беликова. Но основное поле держат носители идеологии «культуры речи» и такого научного исследования языка, адепты которого должны научиться не видеть, не замечать текущую живую речь.

Это-то парадоксальное политическое скопчество современного российского языкознания лишило целую отрасль науки всякого политического авторитета. Фантазмагорический алогизм, вызывающее мракобесие политического класса современной России, наглый нахрап людей, которые просто в силу их малограмотности не должны были бы пройти квалификационный отбор в собственные клерки, это и следствие воздержания языковедов как сообщества от борьбы за авторитет. Само представление о смысле гуманитарных наук задержалось в своем развитии в России на уровне советских 1970-х—1980-х годов, и даже раньше — на этапе фиги в кармане, так что к встрече с новой и пугающей реальностью исследователи языка оказались не готовы. Даже в большей степени, чем так называемые рядовые носители языка.

Несмотря на наличие очень хороших исследований по истории языкознания недавнего прошлого (книги В.М. Алпатова о Марре и марризме, о языковой

политике в СССР), все же до критического анализа идеологической роли важнейшего цеха гуманитарной науки еще очень далеко. Одновременно с просветительскими усилиями развивалось сочетание «тайной вражды языков», приводившее к постепенному угасанию, например, литературного, философского и т.п. творчества языковых меньшинств. Еще не написана история официального обращения в СССР с «младшими» славянскими языками, история превращения русского языка и его институтов в инструмент репрессий. Но и о роли русского языка как политического инструмента в становлении других культур бывшего СССР написано поразительно мало. Тем временем эпоха СССР миновала, оставив не изученными важнейшие пласты русского языка — «низ» речи и ее казенный «верх». В Википедии носители других языков спокойно анализируют свои национальные сквернословия. В русской Википедии мат табуирован. Зато существует портал «Лукоморье» (недавно переехавший с домена «.ру» за границу) — матерная пародийная эмуляция википедийного знания. Тем временем Госдума России, не потрудившись изучить вопрос, приняла закон, запрещающий публичное применение сквернословия. И это после 70 лет тотального запрета даже на просторечие в советской печати и в разгар беспримерной для носителей языка речевой сквернословной агрессии.

Минуя государственную регуляцию, на культурных руинах советских речевых навыков и языковой политики складывается новая коммуникация. Школы больших городов страны не справляются с культурными последствиями иммиграции людей, не говорящих, не читающих и не пишущих по-русски. Новое русское койнэ¹ пока, может быть, не очень заметно, вызывая отдельные всплески привычного алармизма в блогах и почти никем не читаемых газетах и журналах. В этих условиях все более заметно, что для изучения России и ее языка (языков) уже нужно больше читать по-английски, чем по-русски.

Чтобы пройти путь от приблизительного понимания языка «всех этих людей» до способности говорить на русском языке, оставаясь в контексте и «в теме», нужно преодолеть большое расстояние — от начал языковой политики России и СССР в прошлом, XX столетии, до принципиального слома, сознательными участниками или свидетелями которого стали люди, родившиеся в середине и второй половине прошлого века, до слома, острая фаза которого пришлась на девяностые и нулевые годы.

Если в начале XX века изучать русский было важно для тех, кто хотел определенного будущего и обновления социальных условий по конкретной модели, то в начале XXI века русский язык важно изучать тем, кто опасается как раз грядущей неопределенности, кто пытается понять, откуда может исходить угроза хрупкому социальному равновесию, достигнутому кое-где в мире ценой ухудшения положения в странах, которые раньше называли «развивающимися». Сегодня развивающейся страной, пока не определившей вектор своего развития, стала сама Россия. Куда она пойдет и что будет из-за изменений ее капризной траектории с остальным миром? На эти вопросы невозможно ответить, не изучая русского.

Но глобален он и на более крупном историческом лаге — в сто лет.

¹ Койнэ (греч. «общий греческий», или «общий диалект»); первоначально — распространенная форма греческого языка, возникшая в постклассическую античную эпоху; расширительно — язык, используемый при общении носителями разных диалектов и вбирающий в себя в упрощенном виде признаки разных диалектов.

Незадолго до Первой мировой войны и начала финальной стадии распада многонациональных империй — Османской, Австро-Венгерской, Британской и Российской — в 1900 году в Вене вышла книга австрийского дипломата графа Генриха Куденхове под названием «Изучая политику Австро-Венгрии». Рассуждая о главном тогдашнем источнике беспокойства для своей страны, Куденхове, сын которого станет через четверть века идеологом паневропейского движения, высказал предложение сделать русский язык... одним из государственных языков Австро-Венгерской империи. Так Вена, по мысли экстравагантного полиглота, одним ударом убила бы двух зайцев — подорвала бы влияние России и уничтожила на корню панславянское движение, раскачивавшее лодку Какании¹ — так издевательски называла свою империю тогдашняя критически настроенная австро-венгерская интеллигенция. Спасаемая лодка развалилась, однако же, в 1918 году. На ее месте образовалось несколько государств, в том числе — вполне славянских, но бесконечно далеких от панславянской солидарности. Русскому языку предстояло сначала спаять их силой танков Т-34 и автоматов Калашникова. А потом, когда наступила свобода и выводили из славянских стран уже и танки более новых моделей, и даже ракетные установки — все эти материальные инструменты (по Куденхове) мирового языка, — оказалось, что русский все-таки сохраняет некоторые важные признаки языка-посредника, по крайней мере, все еще желанного «языка цивилизации», или *Cultursprache*, как пишет Куденхове в своей книге.

По статистике 1900 года, английский язык был глобальным языком гигантской Британской империи. 100 миллионов говорили на нем как на родном, 300 миллионов владели им в мире свободно. В Европе немецкий язык был на втором месте: на нем говорили 80 миллионов — всего на 20 миллионов меньше, чем сейчас, через 60 лет после Второй мировой войны! Предлагая австрийцам равняться на британцев, Куденхове сравнивал тогда русский язык с урду в британских заморских владениях. Русский — язык, на котором говорят 120 миллионов человек между Карпатами и Тихим океаном, между Ледовитым океаном и Афганистаном, — нужно было насаждать, считал он, еще и потому, что владение им как вторым родным совершенно «безопасно» для немцев, а вот остальных славян он заставил бы отказаться и от идеи общеславянской культурной самобытности, и от мечты о политическом суверенитете «смехотворных карликовых наций».

Читая Куденхове, физически ощущаешь, что свой родной язык он воспринимает как коллективную политическую личность, некое «лицо». Главный враг этого лица — британцы с их всепроникающим английским. А вот русский можно попробовать развернуть и против его собственной метрополии, Петербурга, и против младших славянских братьев, превратить в «мировой» язык. Только не скрепляющий политически огромную Россию, а обслуживающий малые враждующие народы, которые стали бы не способны сопротивляться германскому гению.

Можно сказать, что такие химеры сознания поражают реалистичностью многих оценок, но только если брать эти оценки по отдельности. Да, балтийские немцы свободно говорили на русском как на родном. Но из этой среды и мог

¹ Какания (Kakanien — нем.) — воображаемая страна в романе Музиля «Человек без свойств» — намек на Австро-Венгрию.

появиться какой-нибудь Розенберг, автор «Мифа двадцатого столетия», и, наоборот, русский министр иностранных дел Нессельроде мог так до конца дней и не выучиться по-русски, но сорок лет оставаться самым настоящим русским министром, проводником, как недавно у нас писали, махровой русской самодержавной шовинистической политики. Язык не является коллективной политической личностью, и злоупотребление им как инструментом политического или административного влияния сулит огромные неприятности в первую очередь тем, чьи интересы хочет защитить политтехнолог в духе старшего Куденхове или британских колониальных администраторов, оставивших на Индостане и вокруг него целый букет этноязыковых и религиозных конфликтов.

И сейчас, в фазе выхода из старого русского имперского статуса, тонкая материя соседства с неродственными миноритарными языками России и родственно-неродственными государственными языками бывших колоний остается почти не изученной, подменяется политическим конструктивизмом вполне в духе Куденхове.

Пусть из планов Куденхове ничего не получилось. Но его изрядно устаревшая теория «мирового языка» могла бы быть вполне востребованной и в сегодняшней формально грамотной России. А вот научная теория Ноама Хомского¹, интегрирующая его политические и лингвистические взгляды, — нет. Культурная отсталость — вот имя главной угрозы для русского языка сегодня. Каким бы нарядным и пестрым ни был реквизит новых Победоносцевых и Нессельроде.

¹ *Аврам Ноам Хомский* (Avram Noam Chomsky, часто транскрибируется как Хомски или Чомски) — американский лингвист, политический публицист, философ и теоретик.

Эмиль Паин

Метаморфозы политической напряженности в России

От политических митингов к этническим бунтам

Центр стратегических разработок (ЦСР), влиятельная в России аналитическая организация, в середине 2012 г. определяла обстановку в России как «политический кризис» и «утрата доверия населения к власти», а в июле 2013-го тот же ЦСР представил доклад под названием «Возможно ли новое электоральное равновесие в России?», противоречивший прежним выводам экспертов. Теперь ЦСР отмечал, что «за год после протестов, если взять последней его датой события на Болотной площади 6 мая 2012 года, президент Владимир Путин, "Единая Россия" и в целом власть смогли "успокоить" население». Авторы доклада констатировали факт радикального снижения уровня протестов в Москве и совершенно неожиданного взлета непонятных для них протестов в форме этнических бунтов в периферийных регионах России. На первой же странице эксперты ЦСР признавались: «...в отличие от предыдущих докладов, мы даже не пытаемся дать обоснованное объяснение причин происходящего». Мне же перемены, о которых идет речь, не кажутся непонятными и непредсказуемыми. Попытка объяснения этих перемен и составляет содержание этой статьи.

Пять «кондопог»

Перемены действительно заметные. Если в 2006 г. в России за пределами Северного Кавказа было лишь одно крупное межэтническое столкновение, в Кондопоге (Карелия), и его обсуждали несколько лет, то в 2013-м уже к ноябрю вспыхнуло сразу пять «кондопог» — пять крупных многодневных столкновений, так или иначе связанных с насилием, включая в некоторых случаях и человеческие жертвы. В июле — в городах Пугачево (Саратовская область), Среднеуральске (Свердловская обл.) и Нурлате (Татарстан), а в октябре митинги и беспорядки на этнической почве, сопровождавшиеся поджогами автомобилей, погромами торговых заведений и избиением людей, произошли в Бирюлеве

Паин Эмиль Абрамович, доктор политических наук, профессор кафедры теории политики и политического анализа и кафедры прикладной политологии Высшей школы экономики, генеральный директор Центра этнополитических и региональных исследований.

Западном (микрорайон на юге Москвы) и в Петербурге на крупнейшем вещевом рынке «Апраксин двор».

Кроме того в 2013 году зафиксированы: столкновение кавказцев с полицией в Москве на Матвеевском рынке, вызвавшее много шума в СМИ; не менее широко комментировавшийся в прессе митинг с требованием выселения кавказцев в станице Вешенская (Ростовская область, родина нобелевского лауреата Михаила Шолохова), а также десятки менее заметных столкновений русских с кавказцами, местного населения и приезжих по всей России.

Все эти крупные и мелкие столкновения представляют собой лишь малую часть проявлений обострившейся межэтнической обстановки в России.

Еще в марте 2013 года генеральный прокурор России Юрий Чайка огласил шокирующую статистику по стране: с 2004-го по 2012-й год количество преступлений экстремистского характера выросло в пять раз, и наибольшая их часть была направлена на «разжигание национальной розни». Причем феноменальный рост подобных преступлений зафиксирован в самых неожиданных регионах, например, в недавно еще относительно благополучном Сибирском федеральном округе — аж на 84 процента. Все эксперты в один голос утверждают, что сегодня невозможно предсказать, где именно возникнет очередной конфликт. Копившееся массовое недовольство, еще год назад проявлявшееся у части граждан в политических протестах, дало крен в этническую сторону. И этого следовало ожидать: ведь до политических выступлений конца 2011 — начала 2012 года все протестные движения, даже те, которые начинались с критики властей и возмущения тотальной коррупцией, быстро обретали форму этнического или религиозного противостояния. Когда политические митинги угасли, протесты вновь вернулись в привычное этническое русло. Оно заманчиво не только тем, что предлагает простые объяснения — во всех бедах виноваты «чужаки». Главное, что и решения проблем кажутся понятными и легко выполнимыми — «изгнать чужаков, не пускать новых». По сравнению с ними политические требования оппозиции, например, «честные выборы», кажутся оторванными от жизни и нереализуемыми. Простота нынешних этнических лозунгов в чем-то привлекательна и для властей: «гнать и не пускать» — привычные слова из российского чиновничьего лексикона, куда более понятные и приятные их слуху, чем слова «модернизировать» или «реформировать».

Есть целый ряд социальных и психологических факторов, влияющих на разрастание ксенофобских настроений. Например, люди, испытывающие внутреннюю неудовлетворенность своим статусом, своими жизненными перспективами, склонны самоутверждаться за счет кого-то, кто, по их мнению, стоит еще ниже на социальной лестнице. В разных регионах возникает иерархия унижаемых. Так, потерявший человеческий облик московский бомж на Казанском вокзале самоутверждается, обзывая «чурками» прибывших южан; таджикский гастарбайтер кричит вьетнамскому — «убирайся откуда приехал»; в Чечне случались столкновения чеченцев с таджикскими мигрантами, а в Центральной России чеченцы и другие представители народов Северного Кавказа в разы больше вызывают к себе ксенофобскую неприязнь местного населения, чем выходцы из Средней Азии. Наше общество — общество догражданской культуры, и оно крайне незащищено перед любыми стереотипами. В таких обществах даже политические разногласия зачастую приобретают форму этнических или религиозных конфликтов, как например, в Египте летом 2013 года. Стереотипы—

групповые, неосмысленные — распространяются как лесной пожар. Однако, сколь бы ни было велико значение социально-психологических факторов, главнейшими в раскручивании спирали межэтнической ненависти являются факторы политические. Проблема в том, что роль властной риторики в «вертикальных обществах», подобных российскому, во много раз выше, чем влияние СМИ, популярных телеведущих, разного рода известных общественных деятелей и других подобных лиц. Поэтому и тревоги больше: если ошибку совершает власть, это немедленно сказывается на социальном климате.

Политики на поводу у ксенофобии или в ее авангарде?

Октябрьская волна этнических погромов накрыла обе столицы России, Москву и Петербург, продемонстрировав, что власти всех уровней готовы пойти на значительные уступки погромщикам. Беспорядки в Бирюлеве продолжались трое суток. Они начались с убийства местного жителя Егора Щербакова, совершенного, предположительно, мигрантом-азербайджанцем, и завершились убийством: на железнодорожных путях недалеко от Бирюлевской плодоовощной базы был найден труп узбека-мигранта со множеством ножевых ран. Если первое убийство вызвало массовое негодование, то по поводу убийства мигранта не наблюдалось каких-либо существенных проявлений общественного внимания.

Хочу отметить, что в основе этих беспорядков лежала не только ксенофобия. Концентрация мигрантов (легальных и нелегальных) на Бирюлевской базе, где они не только работали, но и жили, нарушала множество российских законов и действительно представляла собой отнюдь не мнимые угрозы для местного населения. А как могло быть иначе, если предприниматели завозили сюда молодых мужчин и держали их почти в тюремных условиях? У многих из этих парней еще дома сложились патриархальное отношение к «чужим» женщинам и архаичные представления о праве на них. Кстати, эти особенности нельзя называть этническими — это социально-культурные особенности, свойственные лишь *определенным группам* внутри разных народов. Так или иначе, обо всех нарушениях закона и угрозах для населения власти всех уровней были давно осведомлены, но ничего не предпринимали. Еще бы, Бирюлевская база — доходное предприятие, принадлежащее концерну «Новые Черемушки», почетным президентом которого является Магомед Толбоев, Герой России, известный политический деятель, один из доверенных лиц Владимира Путина на последних президентских выборах. И только после погрома база была закрыта, а мигранты (демонстративно, как в боевике) загнаны в автозаки для последующей депортации. Такая форма удовлетворения требований «народа» неизбежно провоцировала следующие погромы. И они не заставили себя ждать.

Погром «Апраксина двора» в Петербурге 21 октября даже самими его участниками позиционировался как продолжение Бирюлевского. Те же формы самоорганизации, то же название («народный сход»), те же лозунги, вот только собрался этот сход не на окраине города, а в самом его центре, на Марсовом поле. Многое в этой акции поражает, ведь в обеих столицах даже одиночного пикетчика немедленно схватят, если он будет заподозрен в организации «несанкционированной акции», а здесь колонна молодых людей с растяжками спокойно шествовала по центру города, и со стороны блюстителей закона не предпри-

нималось никаких попыток их задержать. Они еще понаблюдали, как «ребята» с Марсова поля, прибыв в «Апраксин двор», принялись громить витрины, избивать мигрантов, жечь дымовые шашки, и только после этого шестнадцать самых активных погромщиков были задержаны.

Случившееся подтолкнуло депутатов законодательного собрания Петербурга принять обращение к губернатору с просьбой закрыть торговлю на рынке «Апраксин двор», в народе называемом «Апрашка». Так ведь не в первый раз. Нарушения законов об использовании труда мигрантов, ужасающая криминальная обстановка на этом рынке, его антисанитарные условия и явное несоответствие облику центра культурной столицы России — все это уже давно побудило власти города принять решение о переносе рынка на улицу Руставели. Даже здание нового рынка было построено и кем-то обжито, но торговля на «Апрашке» не прекращается. Этот рынок стал аналогом московского Черкизовского рынка, который с 2001 года пытались закрыть трижды, но сумели это сделать лишь спустя восемь лет. Понятно, что отнюдь не мигранты обладают таким влиянием, которое парализует волю властей. Тем не менее, ненависть населения падает не на чиновников и не на их финансовых лоббистов, а на мелкий люд, мигрантов, отнюдь не жиреющих на подобных «хитровках» нашего времени.

О московской Хитровке полезно вспомнить подробнее.

Хитров рынок (Хитровка) просуществовал в центре Москвы почти век с того времени, как в 1824 году генерал-майор Н.З. Хитрово установил на территории своего поместья, простиравшегося от Яузского бульвара до Петропавловского переулка, первые торговые ряды. С 1860-х годов Хитровка превратилась в ярчайший образ социального дна, о котором можно судить, например, по пьесе Горького «На дне». Это было скопление убогих, грязных и страшных лабиринтов-трущоб, в которых ютились спившиеся деклассированные люди. Полицейские протоколы подтверждали, что большинство беглых преступников из Сибири в Москве скрывались именно на Хитровке. В апреле 1873 года московский обер-полицмейстер Н.У. Арапов подал рапорт генерал-губернатору В.А. Долгорукову, в котором, изложив положение на Хитровом рынке, предлагал перенести его на Конную площадь, однако это предложение не было принято по тем же причинам, по каким в наше время не закрывали Черкизовский рынок. Такие рынки (базы, склады) приносили и приносят огромные доходы их владельцам, легальным и нелегальным. Часть этих доходов передается должностным лицам, вплоть до самых высших чиновников. Внизу этой пирамиды находились городовые. Как писал В. Гиляровский в своих знаменитых очерках «Москва и москвичи», всем Хитровым рынком заправляли двое городских — Рудников и Лохматкин, которые знали в лицо всех преступников, собирали с них дань, но в некоторых случаях, если начальство требовало, передавали их правосудию. Тогда это, правда, еще не снимали телекамеры.

И сегодня рынки зачастую контролируются такими же «городовыми». Трудно определить их статус: то ли коррумпированные чиновники, то ли нелегальные бизнесмены. К сожалению, мало что изменилось в России за полтора века с точки зрения подконтрольности властей и бизнеса обществу.

Традиция или прагматический интерес?

Приступы безволия у российских властей, позиционирующих себя как «сильная власть», как во времена, когда затягивались решения по Хитрову рынку, так и ныне, когда нужно разбираться с «Черкизонами», «Апашками» и Бирюлевым, обусловлены не только, да и не столько традицией, согласно которой мужик крестится лишь после того, как гром грянет. Куда сильнее эта «нерешительность» обусловлена прагматическими интересами бизнеса и властей, не контролируемых обществом. Но если власть крестится, чешется и принимает важные административные решения только после погромов, то не нужно быть знатоком примет и народных традиций, чтобы предсказать новые погромы.

К тому же власть куда меньше озабочена погромами и убийствами, чем тихими политическими демонстрантами. Этим объясняется и бросающееся в глаза различие в реакции властей на политические события — и на погромы. Парней с битами, цепями, дымовыми шашками и другими орудиями погромщиков власти уважительно именуют народом, а демонстрантов, легально вышедших на Болотную площадь, — не иначе как хулиганами и преступниками и соответственно с ними обращается. Такое различие в оценках весьма существенно влияет на массовое сознание. Оппозиционных политических демонстрантов пока поддерживает меньшинство горожан даже в «просвещенной» Москве, а к погромщикам отношение иное. По результатам социологического опроса 81% москвичей поддерживает требования жителей Бирюлево, а половина из них (41%) одобряет методы, которыми действовали погромщики.

Скоротечные московские выборы 2013 года сильно разогрели мигрантофобию, а вслед за ней испортили межэтнические отношения. О проблеме мигрантов говорило большинство участников избирательной кампании. Лишь Сергей Митрохин ни разу не был замечен в антимигрантской риторике, хотя и он стал говорить о нелегальной миграции больше, чем раньше. Но другие... Николай Дегтярев из ЛДПР обещал через полтора года очистить московские рынки от мигрантов, Николай Левичев из «Справедливой России» призвал московскую полицию ужесточить борьбу с этнической преступностью, коммунист Иван Мельников сулил дополнительные привилегии исключительно коренным москвичам. Это предложение меня особенно заинтриговало. Как его понимать: неужели и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, не коренной москвич, выходец из орловской деревни, будет ограничен в правах или даже вынужден вернуться из столицы на родину? Стоило ожидать, что отметится и Алексей Навальный, которого молва и постановление партии «Яблоко» называют «националистом». Да, кандидат от либеральной партии «Парнас» Навальный тоже использовал антимигрантскую риторику на встречах с избирателями, однако в прессу ничего режущего слух вроде не просачивалось. Известно также, что «истинные» националисты его риторикой и имиджем в кампании были недовольны. Д. Ольшанский в Фейсбуке написал, что для семидесяти процентов избирателей были бы привлекательны такие идея и образ: «Только национал-социализм. То есть, образ "я точно такой же суровый парень, как Путин, и точно так же буду давать вам деньги, как Путин, но только я еще и выгоню всех чужих"». И далее этот любитель национал-социализма выражает разочарование: «Но Навальный этим путем не пошел... Вместо этого он создает все тот же самый до боли

знакомый образ "лидера молодых, энергичных, открытых, ответственных и эффективных менеджеров, активных граждан и налогоплательщиков"...» Однако то, что для националистов плохо, для остальных граждан радостно. Меня и моих учеников приятно удивил факт: в последний год Алексей Навальный резко сократил националистическую риторику. Мы проанализировали 1347 его выступлений за последние три года, из них только 40 посвящены этнополитической тематике, при этом девяносто процентов его высказываний на эту тему относятся к ситуации на Северном Кавказе и связаны с критикой не этнических общностей, а порядков в тамошних республиках и их руководителей.

Тогдашний и.о. мэра, а нынешний мэр Сергей Собянин на этой площадке оказался самым активным. Уже 13 июня, в день начала кампании, он назвал мигрантов «главной проблемой города». 14 июня заявил, что московское ЖКХ может обойтись без мигрантов, а к 20 июня от его частого употребления антимигрантской риторики затоснило даже националистов. Дмитрий Демушкин, представитель националистического объединения «Русские», в сердцах воскликнул: «Эмигранты и Собянин — последний месяц я только это и слышал. Более того, они умудрились своровать даже у нас несколько пунктов из программы и выступить с ними...»

Формирование стереотипов массового сознания

Власть не только опускается до стереотипов массового сознания, она их еще и формирует. Опросы Левада-Центра показали, что в июле 2013-го, впервые за все годы наблюдений, проблема мигрантов была названа главной для москвичей. Между тем еще в феврале в списке главных проблем лидировали «уличные пробки» (54%), «высокие цены на товары первой необходимости» (48%) и «рост коммунальных платежей» (44%). Эта первая тройка проблем сохранялась с 2009 года, иногда лишь меняясь местами внутри себя. Так что же произошло в Москве с февраля по июль?

Тарифы, цены и пробки на дорогах только возросли, а массового притока мигрантов в столицу не наблюдалось. Почему же вдруг так обострилась именно миграционная проблема? Давайте вспомним еще один интересный факт. В марте только что минувшего года прокурор Москвы Сергей Куденеев рапортовал о достижениях правоохранителей и сообщил, в частности, что за последние пять лет количество преступлений среди мигрантов в столице снизилось почти вдвое. «Доля мигрантской преступности в общегородской стабильно составляет 20 процентов», — говорил Куденеев. Но вот настал август. И тот же прокурор рассказывает нам, что за последние полгода сорок процентов преступлений в Москве совершили иностранцы и еще десять — какие-то другие «не москвичи». Так что же произошло в столице за эти несколько месяцев, если пять лет до того преступность среди мигрантов снижалась и упала в два раза, а за последнее полугодие вдруг в те же два раза выросла?

Я довольно долго занимался изучением так называемой «этнической преступности» и знаю железный закон: этнические меньшинства — они и в сфере преступности меньшинства. Мартовские данные прокуратуры куда ближе к данным независимых экспертов, чем августовские, которые к тому же появились как «рояль в кустах» уже после того, как исполняющий обязанности

мэра заявил: «Если убрать преступления, совершаемые приезжими, то Москва будет самым законопослушным городом в мире». Единственное летнее событие, которое могло заставить так плясать статистику преступности и взвинчивать общественное мнение — это столичная избирательная кампания.

Впрочем, в Москве и до выборов уровень мигрантофобии был выше, чем в среднем по России. Это показали майские 2013 года исследования центра «Ромир», сделанные по заказу международного академического проекта «Национализм и национализм в современной России»: с утверждением «русский народ должен играть ведущую роль в российском государстве» было согласно 85% опрошенных в России и 95% в Москве. Лозунг «Россия для русских» поддерживали почти 60% граждан страны, а в Москве — 70%.

Слово «мигрант» используется в российском политическом лексиконе как псевдоним для зашифрованного обозначения некоторых этнических и региональных групп. Это советская традиция. При Сталине декларативный интернационализм запрещал считать какие бы то ни было национальности врагами, а фактический государственный антисемитизм требовал этого. Тогда в ход был пущен термин «космополиты». И все понимали, кто имеется в виду, когда сажали и расстреливали, например, врачей-космополитов. Сейчас новые враги и новые термины. В Москве выходцев из Петербурга, Тюмени или Орла мигрантами не называют, так же как татар или башкир, приехавших из соответствующих республик. И даже граждан Белоруссии и Украины в быту мигрантами никто не называет и никто не требует ограничения их въезда. Слово «мигрант» в политическом лексиконе заменяет бытовые ругательства типа «чурки». Термин предназначен для «южан», в частности, российских граждан, прибывших в Москву из южных регионов страны и юридически ничем не отличающихся от петербуржцев или ростовчан. Антимигрантская кампания, устроенная во время московских выборов, фактически легализовала ксенофобию и разожгла межнациональную рознь. Но ксенофобию нельзя строго направить только против определенных этнических групп, она неизбежно расплывается. Некий пермский журналист, который призывал не выгонять кавказцев из города Пугачев, а сжигать их в собственных домах, одновременно выступал и за закрытие в городе синагоги. Дело учителя из Тверской области Ильи Фабера показывает, что антисемитизм вновь возрождается в органах власти. Кавказцы, азиаты, евреи, вьетнамцы. Кто следующий?

«Проблема мигрантов» — это эвфемизм, который подменяет еще одну проблему: несправедливую и неэффективную региональную политику. Данные Счетной палаты РФ указывают на гигантские масштабы разворовывания бюджетных средств, выделяемых республикам Северного Кавказа. А это деньги из кармана налогоплательщиков, их диспропорциональное распределение и разворовывание напрямую затрагивает интересы москвичей, однако об этой проблеме на московских выборах говорили лишь два кандидата в мэры. Сергей Митрохин назвал такую региональную политику «контрибуцией, которую Москва выплачивает кадыровской Чечне», а Навальный отстаивал лозунг: «Хватит кормить Кавказ». Трудно увидеть существенные различия в словах: «хватит платить контрибуцию» и «хватит кормить». Важно, что такое «кормление» приводит к формированию определенного социального типа — разжиревших нуворишей, которые позволяют себе демонстративно плевать на законы и моральные нормы. При этом речь идет не только о высших руководителях, но

и об их обслуживании вроде тех дагестанских телохранителей, которые избили на дороге депутата Государственной думы только за то, что он не позволил обогнать себя. Понятно, что подобное поведение должно возмущать любого нормального человека. Это возмущение рационально, в нем нет проявления ксенофобии. Но она возникает тогда, когда образ недостойного человека распространяется на всю этническую или религиозную общность — «все они такие».

Русский национализм и исламский терроризм — сообщающиеся сосуды

Если же перейти от бытовой ксенофобии к поведению политиков, то в России мы имеем дело с явлением, которое можно назвать «политической шизофренией», — явно выраженным раздвоением сознания. Вот лишь некоторые примеры. МИД, выражая волю российского руководства, прилагает усилия для создания экономического и политического союза с государствами Средней Азии, а Сергей Собянин, являющийся видным членом нынешнего российского «политбюро», выступает за введение визового режима для граждан тех самых государств.

Россия пытается привлечь союзников на Кавказе. Для этого федеральная власть подтолкнула «Роснефть» к подписанию в августе 2013 г. не очень выгодного для нее контракта с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (ГНКАР). Но в политическом плане российские уступки оказались напрасными. Бирюлевский погром за три дня нанес отношениям с Азербайджаном урон, который трудно будет восстановить за месяцы и годы. Так, посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль-оглы в связи с Бирюлевским погромом заявил, что не следовало устраивать «истерии» из-за обычного бытового убийства. Он также подчеркнул, что задержание подозреваемого в убийстве азербайджанца Орхана Зейналова было произведено с нарушениями закона. Правительство Азербайджана по этому поводу дважды, 17 и 19 октября, направляло в МИД России ноты.

Государства Центральной Азии никаких нот по поводу антиисламской истерии в России не предъявляли, но их дрейф от России в сторону Китая, под его покровительство, и без того заметен. Например, 18 сентября 2013 г. в рамках проходившего в Душанбе юбилейного (десятого) заседания Межправительственной комиссии транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия главы министерств транспорта Афганистана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана подписали совместное заявление о внедрении в Центральной Азии двух приоритетных проектов: 1) ТРАСЕКА — «Шелковый ветер» и 2) «Модельное шоссе». Смысл обоих проектов многими экспертами трактуется как «транспортные коммуникации в обход России». Если посмотреть на карту железнодорожных и автомобильных маршрутов, которые планируется развивать в рамках этих проектов, то становится очевидным, что не последней их задачей является «присоединить» Китай к транспортным коммуникациям, обеспечивая ему таким образом выход в Европу в обход России через Казахстан и Турцию, а также в Афганистан и Иран через Таджикистан.

В региональной политике России явный приоритет отдается Северному Кавказу: полпред в этом федеральном округе — единственный, кто имеет еще и

статус вице-премьера, а дотации республикам региона из федерального бюджета в расчете на одного жителя почти вдесятеро превышают средние по стране показатели. Однако вопреки этой политике идут массовые зачистки на московских рынках, и в перспективе — их закрытие. Больше всего от этого пострадают северокавказские республики, жители которых в своем большинстве получают доходы вовсе не от работы на промышленных предприятиях. Власть, конечно, не заинтересована в появлении новых Кондопоги, Пугачева или Среднеуральска. Однако в условиях конфликтных отношений со многими социальными группами ресурсы консолидации у нее крайне ограничены, и она вынуждена искать поддержку у наиболее конформистских групп, поэтому и сама использует лозунг «долой понаехавших», под которым и происходили все перечисленные конфликты.

Антикавказские выступления в центральных районах России вызывают растущее недовольство у населения и властей республик Северного Кавказа. 24 июля в селе Новомихайловское Туапсинского района Краснодарского края в детском оздоровительном лагере «Дон» несколько сот местных жителей напали на детей и тренеров юношеской сборной Чеченской республики. Были жестоко избиты несколько подростков и шестидесятилетний тренер Руслан Гиназов. В ответ на это в Чечне вспыхнули демонстрации протеста, люди выкрикивали: «Это настоящий террор и бандитизм!» Президент Чечни Рамзан Кадыров выразил «серьезное беспокойство» по поводу случившегося, а уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев отправил соответствующие обращения в адрес генерального прокурора России, прокуратуры Краснодарского края и Южного федерального округа.

Подъем ксенофобии и русского национализма оказывает не только прямое воздействие на рост ответного недовольства этнических и религиозных меньшинств. Еще опаснее его косвенное влияние на рост терроризма, прикрывающегося якобы исламскими идеями. Разумеется, было бы неверным считать, что террористические акты на Северном Кавказе обусловлены только ростом русского национализма, но связь между этими явлениями очевидна. Русский национализм, рисующий кавказцев и всех мусульман как прирожденных врагов русских людей, является очень удобным предлогом для обоснования справедливости концепции лидеров «Имарата Кавказ»¹, согласно которой все население России признается врагом будущего эмирата.

Со времен взрыва в московском аэропорту «Домодедово» в январе 2011 года почти три года в крупных городах России не было громких терактов. Сравнительно длительный перерыв в террористической активности привел к тому, что российское население несколько успокоилось. Опрос, проведенный в августе 2013 г. Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что две трети россиян не опасались терактов. Социологи констатировали тогда, что боязнь терактов среди россиян за последние годы стала значительно меньше. Похоже, период затишья кончился. После взрыва в Волгограде страна вспомнила об угрозе со стороны исламистов. В понедельник, 22 октября, в городе Волгоград на юго-западе России террористка-смертница Наида Асиялова,

¹ 31 октября 2007 года было опубликовано видеообращение Доку Умарова, в котором он провозгласил единственной легитимной силой на Северном Кавказе новое государство Имарат Кавказ, а себя объявил единоличным амиром этого государства.

родом из Дагестана, взорвала себя в автобусе, полном пассажиров. По меньшей мере шесть человек, кроме самой смертницы, погибли, около сорока были ранены. Практически все эксперты связывают возобновление активности террористов с приближением Олимпийских игр в Сочи. Основная версия следователей по делу об октябрьском теракте в Волгограде — подрыв совершила террористка-смертница, принадлежащая к кругам исламистских радикалов из организации «Имарат Кавказ». Этот теракт можно считать первым ответом террористического подполья на призыв лидера «Имарата Кавказ» Доку Умарова сорвать Олимпиаду в Сочи. Его видеообращение с таким призывом распространялось в Интернете с 3 июля 2013 г. Не только российские власти, но и многие эксперты недооценивали влияние Доку Умарова на характер террористической деятельности. Только сейчас становится понятной связь между его заявлением, сделанным в начале 2013 года, об отмене моратория на проведение терактов против мирного населения и подрывом рейсового пассажирского автобуса в Волгограде. Во времена, когда была заметна политическая активность россиян против своей власти, Умаров дал приказ своим подчиненным «избегать атак на мирные цели», ныне же, когда население нападает на мусульман в Москве и в других городах, лидер «Имарата Кавказ» отменяет его и дает добро на теракты, направленные на уничтожение как можно большего числа мирных граждан. Сравните ситуацию в 2012-м и в 2013-м годах. В течение всего 2012 года жертвами нападений становились преимущественно полицейские, судьи, солдаты внутренних войск и другие представители органов государственной власти. Ныне же цели террористов изменились. В Волгограде им удалось то, что они планировали совершить еще весной. Тогда, в мае, правоохранители сообщили о разоблачении террористической ячейки в одном из пригородов Москвы. По информации следствия, участники группы готовили теракты в российской столице. Весьма опасным мог быть теракт в Кировской области. Здесь 15 октября были задержаны двое выходцев с Северного Кавказа, которых подозревают в подготовке теракта на химическом предприятии. При этом целью преступников было не столько нанесение ущерба производству, сколько массовое отравление населения химическими веществами. Посеять страх среди населения — вот задача, которая сейчас ставится террористами. И им в значительной мере удастся ее осуществить, при этом растущее недовольство населения направляется не на власти, а на мусульман.

На следующий день после теракта 21 октября, а точнее, уже в ночь на 22 октября, в Волгограде неизвестные забросали «коктейлями Молотова» здание мечети по адресу улица Лавровая, 16, принадлежащее региональному духовному управлению мусульман Волгоградской области. Еще через два дня в Волгограде произошла вторая попытка отомстить за теракт поджогом мечети, уже другой, на улице Поворинской, 22. Пока никто из злоумышленников не найден. Высока вероятность, что попытки поджогов мечетей или других мест скопления мусульман будут продолжаться как в Волгограде, так и в других городах России.

Так запускается цепная реакция: русский национализм усиливает исламский терроризм, который, в свою очередь, провоцирует новые вспышки русского национализма.

В России действует своеобразный закон сохранения энергии: протестные настроения нарастают, при этом постоянно меняя форму, то проявляясь в форме

политических движений, то превращаясь в этнические бунты, погромы и религиозно окрашенный терроризм.

Что же ждет нашу страну, если эта метаморфоза будет воспроизводиться снова и снова?

По мнению известного социолога Льва Гудкова, общий кризис политической системы в России будет углубляться, сопровождаясь ростом недовольства населения. Оно уже проявляется и будет проявляться не только в виде взрывов фобий, то есть в болезненных иллюзорных страхах и ненависти к этнически и религиозно «чужим», но и в форме вполне рациональных претензий к сложившимся социально-политическим условиям. Вот уже несколько лет устойчиво растет доля россиян, выражающих недоверие «партии жуликов и воров». Последние два года лозунг: «Нет ПЖиВ» — поддерживает более половины населения, причем недовольство вызывает не только сугубо экономическое, но и политическое жульничество. Политические мотивы выводили на демонстрации в Москве в 2012 году десятки тысяч человек. При этом политические акции, в отличие от этнических беспорядков, продемонстрировали удивительные консолидирующие ресурсы. На Болотной площади, на проспекте Сахарова, в демонстрации «Оккупай Абай» принимали участие представители разных идеологических течений, политических взглядов, этнических общностей и религиозных воззрений. В какую сторону сдвинется общественный протест: в политически-объединительную или в этнически-разъединительную? Неизвестно. Вполне определенно история свидетельствует лишь о том, что на «национальный вопрос» есть единственный ответ — гражданский. Солидарность граждан в решении общих для всех вопросов всегда снимала болезненность восприятия культурных, этнических и религиозных различий, сохраняющихся веками. Но для этого в обществе должны появиться *граждане* — люди, осознающие свою решающую роль в государстве, свой, народный суверенитет.

Бомжи на стройке литпамятников. Специфика момента

Заочный «круглый стол»

Литературные итоги 2013 года в этом номере «ДН» подводят: Евгений АБДУЛЛАЕВ, Николай АЛЕКСАНДРОВ, Роман АРБИТМАН, Григорий АРОСЕВ, Ольга БАЛЛА, Павел БАСИНСКИЙ, Игорь БОНДАРЬ-ТЕРЕЩЕНКО, Алексей ВАРЛАМОВ.

Мы предложили писателям и критикам из России и стран «ближнего зарубежья» два вопроса:

- 1. Каковы для вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2013 года?*
- 2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей с постсоветского пространства?*

*Евгений Абдуллаев (Сухбат Афлатуни),
прозаик, поэт, литературный критик, г.Ташкент*

Теплохладная словесность

События? Наверное, были. Хотя заметно, что то, что еще несколько лет назад считалось событием, перешло в разряд рутины. Книжные ярмарки, например. Фестивали. Премии тоже. Рад за тех, кто в этом году их получал. За Майю Кучерскую. За Юрия Буйду. За Фигля-Мигля. Рад, что премия Белого возобновила номинацию за критику (получил Кирилл Корчагин). Но на *событие* это все как-то не тянет. Текучка.

Или, например, информационный повод под названием «Российское литературное собрание». Да, неделю в сети стояли людская молвь и конский топ. Сольют ли все писательские организации во что-то большое и единое — или нет (сливное отверстие засорится)? Кого звали — кого не позвали. Кто отказался, и по каким идейным соображениям. (Меня, кстати, тоже звали. Отказался, но не по идейным. Просто стараюсь быть дальше от сабантуев, на которые тебя приглашают за десять дней до и непонятно, для чего.)

Или считать событием «Манифест нонконформизма», который выдал по свежим следам Литсобрания Захар Прилепин? Талантливый, кстати, прозаик. Хороший эссеист. Пока не вспомнит, что должен нечто манифестировать. «Быть левым — правильно. Быть левым — модно. Левый — значит: свободный, смелый. Талантливый, открытый, самоуверенный. Левый — это поэзия, это юность». Борис Акунин — «дедушка» и «силиконовый пенсионер»: «...давно должны быть внуки: дедушка, а покачай меня на своей силиконовой ноге. Откуда такой скрип, дедушка? Ой, у тебя нога отвалилась». Шепнул бы Прилепину (38-летнему) кто из товарищей по борьбе, что и в его лета тоже внуки вообще-то бывают.

«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым». Было. Теперь нам предлагают ту же горкомовско-буфетную осетрину, только в другой сервировке. Потертые джинсы, кеды, интересная небритость.

Левацкий гламур.

Что еще? Не событие, конечно, но упомянуть — стоит. Тихо и незаметно исчез жанр обзора толстожурнальных публикаций. Еще года четыре назад этим занимались несколько критиков. Ермолин и Щеглова в «Континенте». Анкудинов на «Часоре». Игрунова на «Радио России». В «Сибирских огнях» и «Детях Ра» какие-то обзоры возникали. Дольше всех продержался Анкудинов, с «Любовью к трем апельсинам». Но и он в этом году объявил, что «любовь» закончилась. Осталась — в «радиоформате» — Игрунова... Какие-то обзоробразные пузыри всплывают на Colta.ru, но не регулярно. Жаль.

И совсем печальное. Потери года. Человеческие. Куратор «Журнального зала» замечательная Татьяна Тихонова. Поэт Павел Белицкий. Литературовед и прозаик Вадим Баевский. Поэт — и больше, чем поэт, — Наталья Горбаневская. Обозревая книгу Горалик «Частные лица», писал совсем недавно: «...захватывает, пожалуй, только беседа с Натальей Горбаневской. Именно захватывает. Тут и драматизм, и масштаб, и почва, и судьба (притом что к стихам Горбаневской отношусь сдержанно)». О добавленном в скобках теперь немного жалею.

И еще один уход, о котором не уверен — упоминать, нет? Критик Виктор Топоров. То, что он писал — и как он это писал, — мне было предельно не близко. Отстаивание своего мнения легко переходило у него в травлю. Критика — в памфлет. Пару раз полемизировал с ним. Два года назад видел его вблизи на Волошинском фестивале. Знакомиться не хотелось совсем. Уход его отношу к утратам года. Еще более теплохладной сделалась словесность.

О книгах 2013 года — поэтических — обещаю отдельный обзор-разговор.

И совсем коротко — о русской литературе по постсоветскому «периметру». Не потому, что ничего не читал, а потому что уже писал (или упоминал) о том, что удалось прочесть. И о грузинских книгах. И о замечательном рассказе алмаатинца Ильи Одегова «Овца» (см.: «ДН», № 10, 2013. — *Прим. ред.*). К тому же предстоит работа в жюри «Русской премии», так что еще начитаюсь. Пока — все. Ставлю точку.

-
1. Каковы для вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2013 года?
 2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей с постсоветского пространства?

*Николай Александров, литературный критик,
обозреватель радио «Эхо Москвы», г. Москва*

Чемодан Луи Виттона и сорокинская «Теллурия»

Слово «итоги» всегда звучит несколько угрожающе. Впрочем, можно сказать просто — чем был богат прошедший год. Мне трудно говорить о закономерностях, хотя каждый раз при размышлении о всех текстах, выходявших на протяжении года, легко заметить некоторую закономерность.

Одна из особенностей не только прошедшего года, но последнего времени вообще — поиск адекватного художественного языка. Не просто история или конструкция художественного мира, но способ повествования о нем или построения его — вот что наиболее любопытно. Собственно, чувство исчерпанности литературного языка, выработанности литературных канонов, способов наррации — едва ли не доминанта последнего времени вообще. В конечном счете именно от языка зависит художественная убедительность произведения. Кажется, что современность способов убедительного письма не дает, наоборот, ставит перед писателем вопросы — как и каким языком рассказывать о современности, погруженной в лингвистический хаос. Выходов из этого тупика, наверное, может быть множество. Один из наиболее востребованных сегодня — обращение ко времени историческому, то есть до смешения языков и смыслов. Второй, не менее распространенный, — создание некоей условной, отвлеченной от конкретного времени художественной действительности. Или использовать и первый, и второй способ. Что касается «нового исторического письма», то среди множества текстов большей или меньшей ретроспективной глубины два романа, на мой взгляд, заслуживают внимания: «Лавр» Евгения Водолазкина и «Возвращение в Панджруд» Андрея Волоса. Забавно, что обе книги были замечены литературными премиями (в этом смысле, наверное, можно сказать, что сегодня каждое более или менее художественно значимое произведение попадает в поле зрения литературных премий). Интересно же и в том и в другом тексте, как мне кажется, вот что. Оба романа лишь используют фактуру исторического времени, но не претендуют на собственно историчность («историческая эпоха, развитая в вымышленном повествовании», согласно классическому определению исторического романа Пушкиным). Не эпоха и не история как таковая интересует авторов. История лишь дает язык, то есть способ повествования, способ рассказывания. А на первом плане — история человека или даже так — притча о человеке. Притчевый характер и того и другого романа очевиден. Причем Андрей Волос более классичен, то есть в большей степени следует канону исторического романа. «Лавр» же Водолазкина лишь касается истории, создает «около-историческую» достоверность. И в этом смысле автор демонстрирует

-
1. Каковы для вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2013 года?
 2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей с постсоветского пространства?

удивительный такт в обращении с материалом, что свидетельствует в первую очередь именно об исторической компетентности.

Что касается условного внеисторического (синтетического, если угодно) письма, то, как мне кажется, выдающийся роман написал Владимир Сорокин. Это «Теллурия», разумеется. Сорокин продолжает обустривать открытую им вселенную футурологического средневековья, то есть средневековья ближайшего будущего, продолжает развивать найденный им синтетический фельетонно-псевдоисторический язык. Удивительно, но Сорокин с его намеренным смешением всего и вся: готики и советской риторики, карликов и великанов, православия и советскости, Китая и древней Руси — оказывается гиперактуальным. По меткому выражению художника Андрея Бондаренко — он «притягивает действительность к себе». И, правда, не успел выйти в свет сорокинский роман, как разыгрался грандиозный скандал с чемоданом на Красной площади. Я абсолютно убежден, что этот огромный чемодан в центр Москвы переместился из «Теллурии».

Роман Арбитман, литературный критик, г.Саратов

Жанрообразующие события в стилистике букваря

Среди литературных событий ушедшего года нет хороших событий — есть лишь сносные, умеренно плохие и очень плохие.

К сносным, как ни странно, следует отнести романы двух сиамских близнецов — Виктора Пелевина и Владимира Сорокина. Да, «Бэтман Аполло» конгениален «Теллурии», а «Теллурия» — «Бэтману»: обе новинки 2013 года, хоть и названы романами, таковыми не являются (первый — рассказик, растянутый в длину на прокрустовом ложе коммерции; второй и вовсе конфетти). Да, оба живых современных классика хватают друг друга за виртуальные фалды и отражаются друг в друге, как в зеркалах; система этих отражений, множась, уходит мимо читателя в дурную бесконечность. И все-таки будем радоваться: могло быть хуже. По крайней мере, Виктор Олегович с Владимиром Георгиевичем еще хотя бы не вполне забыли, что такое тропы и как ими пользоваться, — в отличие от прочих их коллег, которые сегодня тоже подвизаются на ниве фантастики, но перешли уже к стилистике букваря. У них если морозы, то трескучие, если ветер, то пронизывающий, если запах трав, то пьянящий, если седина, то благородная, если твердый, то как камень, а если расплющится, то в лепешку. Собственно, я о «Заставе» Сергея Лукьяненко, но, разумеется, не только о ней. Правда, по сравнению с валом «попаданческой»

-
1. Каковы для вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2013 года?
 2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей с постсоветского пространства?

ненаучной фантастики, заполнившей прилавки, даже Лукьяненко выглядит огурцом. У него, по крайней мере, всего три строчки в романе про мудрого товарища Сталина, а у его товарищей по горячему цеху — десятки и десятки страниц подобного бреда...

К сносным событиям следует также отнести результаты «Нацбеста» и «Большой книги». То есть, разумеется, победа Фигля-Мигля в городе Гоголя и Достоевского кажется дурным анекдотом в духе покойного Виктора Топорова; да и награда, присужденная в Москве жизнеописанию фантазера-мизантропа, который славен не столько реальными заслугами перед миром, сколько великими родителями, выглядит двусмысленной, но... К счастью, не случилось на премиальном фронте главного позорища: злобная, мелочная и агрессивная графомания Максима К. Кантора, которую раскручивали во всевозможных СМИ, осталась за рамками премий. Победа романа Кантора «Красный свет» означала бы полное забвение принципа художественности, лукавого вытеснения интерпретациями текста самого текста — огромного по объему и микроскопического литературно. С тех самых пор, как видный архитектурный критик и тонкий эстет Григорий Ревзин (не гнушающийся, впрочем, прилюдно произнести словечко «хачи») залез в литературную епархию ради продвижения сочинений Максима Карловича, прошло уже несколько лет, и за все эти годы усилия группы пиарщиков не пропали даром: автор, которого еще вчера не взяли бы фельетонистом в «Вечерний Урюпинск», ныне считается крупным писателем-мыслителем, а ворох яростных банальностей, усеивающих текст-гидроцефал, выдается чуть ли не за новую историософию. Самозаводящаяся ненависть к бяке-закалке, которую автор выдает за современный либерализм, превращает традиционный для России и СССР «антинигилистический роман» (от «На ножах» до «Тли») в немыслимую пародию на самого себя. Даже машина Агитпропа имени Владислава Юрьевича удивленно замирает всеми шестеренками, наткнувшись на сочинение, где английские спецслужбы с помощью столетнего друга покойного немецкого фюрера организуют и спонсируют очередной «болотный» митинг в Москве...

К событиям года, которые можно назвать плохими, отнесем торжество министерского гения еще одного писателя-фантаста, Владимира Мединского — автора романа «Стена», где пароксизм патриотической гордости за родные ковыли стал жанрообразующим. Как известно, после Луначарского прочие вожди советского Минкульта все-таки не занимались собственно литературной деятельностью. Оглядывая творчество Мединского, понимаешь вдруг, что товарищи Фурцева и Демичев были, в сущности, добрыми людьми. По крайней мере, они все же не сочиняли прозы, а ведь могли бы, ох, могли...

Очень плохое событие 2013 года — это, в общем, не одно событие, но процесс. Речь идет об очередном скукоживании шагреновой кожи литпространства (2013 год мы встретили уже без журналов фантастики «Полдень, XXI век» и «Если») и очередное сокращение ареала серьезной литературы — хотя, казалось бы, куда меньше? Достаточно вспомнить, что тома с интереснейшими, редчайшими материалами из архива братьев Стругацких — письма, черновики, варианты и пр. — выходят теперь не в Москве (фирма «АСТ» отказалась от

-
1. Каковы для вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2013 года?
 2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей с постсоветского пространства?

публикации), а в Волгограде, и тираж каждого тома исчисляется не сотнями экземпляров, а одной сотней. Конечно, потенциальных читателей такой литературы в русскоязычном пространстве гораздо больше, но издательства-мейджоры, воображая себя на капитанских мостиках «Титаников», отказываются от всех «умных» проектов, если их нельзя окупить за месяц, и выбрасывают на рынок издания для интеллектуальных калек, прибитых пыльным мешком. Именно эта категория потребителей книжной продукции и станет, боюсь, *главным* читателем России. Вот тогда в магазины с вывеской «Книги» можно будет заходить ради стыдноватого любопытства — как в кунсткамеру, где выставлены заспиртованные двухголовые телята.

Григорий Аросев, прозаик, г. Москва

Залыгин и Шаповалов

1. В минувшем году мне предложили написать для журнала «Новый мир» статью к 100-летию Сергея Залыгина. Так как мое знакомство с его книгами ограничивалось повестью «На Иртыше», пришлось прочитать довольно много. Удивило (позитивно) меня почти все, но главное — я так и не понял, как Залыгину удалось писать об ужасах коллективизации, о жестоких красных командирах, об отношении советской власти к интеллигенции — и в то же время не то что не сесть в тюрьму, а оставаться на вершине, пользоваться всеобщим уважением и даже стать главредом «Нового мира». Однако самое сильное впечатление произвели не его романы о 1910—20-х годах, а вполне себе современная история о середине семидесятых. Речь о произведении под названием «Южно-Американский вариант» (написание «Южно-Американский» верно).

История эта уникальна, но не столько сюжетом, сколько тем, что Залыгин по сути был первым советским автором, открыто заявившим о трагедии женщины именно как женщины, не матери и не вдовы. Времена «Крейцеровой сонаты» давно прошли, а «Казуса Кукоцкого», наоборот, еще не настали. Важно еще и то, что герои действуют подчеркнуто в современных автору обстоятельствах, да и в целом они полностью советские люди (в связи с этим «Южно-Американский вариант» не стоит сравнивать, к примеру, с «Темными аллеями» или «Доктором Живаго»). Чтобы адекватно оценить смелость Залыгина, необходимо постоянно держать в голове время написания романа — 1973 год. Нет ничего героического в том, чтобы *сейчас* написать повесть или роман о женщине, внешне полностью успешной, но страдающей. А вот сорок лет назад не только представить супружескую измену как нечто обыденное, но и полностью оправдать совершенное, а также дать ему моральное оправдание — для этого требовалось немалое писательское мужество. Которым, впрочем, Залыгин обла-

-
1. Каковы для вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2013 года?
 2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей с постсоветского пространства?

дал сполна. После долгих лет, посвященных научной работе (совсем не романтической науке — мелиорации), после масштабнейших романов о сибирских крестьянах, шестидесятилетний Залыгин написал сугубо городскую историю о любви, вдобавок — от лица женщины.

Я полагаю, что многие современные авторы, развивающие так называемую «женскую» прозу, смогут многое почерпнуть для себя из «Южно-Американского варианта». Роман очень полезен в первую очередь тем, что представляет нам мышление и логику женщины семидесятых годов. Как ни парадоксально, но эта эпоха, не очень далеко отстоящая от нас на временной оси, для многих представителей молодого поколения кажется землей не очень хорошо изведанной. Шаблоны работают и помогают: в тридцатых годах все несложно, с военными и послевоенными разобраться еще проще, пятидесятые также более-менее ясны. Начиная с восьмидесятых все уже слишком очевидно, к тому же можно расспросить непосредственных участников. А вот шестидесятые и семидесятые представляют собой своего рода темное пятно, поскольку в стране не было явных трудностей (таких как репрессии, война, развенчание культа личности, «перестройка»), и, следовательно, не так понятно, чем были заняты умы тех, кто не боролся с системой, не читал самиздат и тамиздат, и не стремился во что бы то ни стало взяться за руки, чтоб не пропасть поодиночке. Залыгин в «Южно-Американском варианте» как раз о таких людях и говорит. Выше было сказано, что герои романа — полностью советские. Это так, но без ложного и лишнего пафоса. Они просто живут в СССР. Тем и интересны.

2. В ноябре мне довелось в качестве ассистента ведущего мастер-класса побывать в Бишкеке, на фестивале молодых писателей Киргизии (поездка была организована Фондом социально-экономических и интеллектуальных программ). Вниманию участников фестиваля был предложен журнал «Литературный Кыргызстан», три номера которого я с огромным интересом прочитал. Именно на страницах этого издания я впервые увидел стихи Вячеслава Шаповалова, а через полтора дня последовало и личное знакомство. Шаповалов — единственный в стране автор, который, будучи русским по национальности, удостоен звания «народный поэт Кыргызстана». И это совершенно по заслугам. Существой в России такое же звание, Шаповалову следовало бы присудить и его. Он — «скрещенье» классической поэзии с современной, а также киргизской мудрости с русским характером. Точные, умные наблюдения, идеальная техника, строгие, но не застывшие формы, ни одного лишнего слова — у Шаповалова все на месте, все великолепно. Подробнее говорить бессмысленно — надо читать.

Шаповалов присутствовал на встрече участников фестиваля со студентами. Взяв слово, он мгновенно приковал к себе всеобщее внимание. А еще произвел впечатление его взгляд: острый и безжалостный. Можно лишь позавидовать его студентам...

Вернувшись домой, я прочитал все его стихи, которые нашел в интернете. Очень рад, что список моих любимых поэтов пополнился еще одной фамилией.

-
1. Каковы для вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2013 года?
 2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей с постсоветского пространства?

*Ольга Балла, редактор отдела философии и культурологии
журнала «Знание-Сила», г. Москва*

Работа философского порядка

1. В качестве наиболее значительных художественных книг 2013 года я бы вспомнила прежде всего два вышедших в этом году (оба — в издательстве «Центр современной литературы. Русский Гулливер») больших романа: «Матрос на мачте» Андрея Таврова и «Адамов мост» Сергея Соловьева. В моем восприятии они укладываются в одну смысловую нишу не только потому, что оказались прочитанными одновременно и даже не потому, что будучи выпущены одним издательством, они явно осуществлены в рамках одного большого проекта (а «Русский Гулливер» — конечно, издательство со своим проектом, и все его книги в конечном счете — слова одного развернутого, продуманного высказывания).

Оба — формально будучи романами «о любви» — достойны названия романов онтологических: об устройстве мира (любовные отношения героев — всего лишь своего рода оптическое средство, позволяющее это устройство не столько даже рассмотреть, сколько пережить в собственном опыте). В нашей литературе такое, насколько я себе представляю, чрезвычайно редко. Рискну выразиться даже более категорично: ничего сопоставимого с ними в этом отношении в русской словесности последних лет я, пожалуй, не припомню. Прежде всего это касается «Матроса на мачте», который работает с гностическим мифом, вращивает его в структуру романа на правах полноценного смыслообразующего начала. Обе эти книги восполняют нехватку на русской почве большого модернистского романа, который европейская литература выработала и прожила как собственную реальность еще в первой половине XX века, и должны быть продуманы в этом качестве.

Среди поэтических событий первым приходит на ум издание «Гилеей» двухтомника Тихона Чурилина (1885—1946) — столь же особенного, сколь и, по сути, не прочитанного еще поэта (достаточно сказать, что с конца 1930-х до 2010 года он не издавался у нас вообще, а основная часть его литературного наследия ждет публикации по сей день). Эта книга вышла, если не путаю, в конце ноября 2012 года, но читалась — и получила первые рецензии — в 2013-м, так что может рассматриваться в ряду его литературных явлений.

Лично для меня важным оказался сборник стихов и переводов Бориса Дубина «Порука» (СПб., Издательство Ивана Лимбаха) — именно не с переводческой его стороны, известной мне и ценимой давно, а с поэтической: он впервые открыл, и, думаю, не только мне, Дубина как сильного, значительного поэта.

-
1. Каковы для вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2013 года?
 2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей с постсоветского пространства?

Если уместно здесь говорить о переводах (по-моему — уместно, поскольку перевод — все-таки событие русской словесности и что-то меняет в ее составе), очень хочется назвать сборник-билингву: «Поэтический мир прерафаэлитов. Новые переводы» (М., Центр книги Рудомино). Подготовленная к выставке прерафаэлитской живописи в ГМИИ, эта книга дала возможность увидеть своих авторов объемно, как эмоциональную, стилистическую и ценностную общность, понять, из какого чувства жизни росли их живопись и литература как взаимопереплетенные ветви.

Среди самых существенных исследовательских текстов надо отметить прежде всего «Поэзию неомодернизма» Александра Житенева (СПб., Инапресс)— фундаментальное исследование по истории новейшей русской поэзии, над которым автор работал десять лет. Вышедшая в самом конце прошлого года, эта книга тоже вполне может быть отнесена к числу читательских событий 2013-го. Важна она прежде всего тем, что автор дает целостное описание по видимости разнородных русских поэтических процессов второй половины XX века (1960-х—2000-х гг.) — и собственную, обоснованную концепцию этого периода в истории культуры и самосознания, для которого предлагает название «неомодерн». Фактически это заявка на радикальное переписывание устоявшейся к первой половине двухтысячных «картины истории литературы». Несомненно литературоведческая и очень тщательно в этом качестве выстроенная, эта работа выходит за рамки филологии как таковой (хорошо, без зазоров эти рамки притом заполняя). Она по существу — философская: рассматривает поэзию как (культурообразующую) антропологическую практику, как особого рода работу с опытом («неомодерн» же как культурное состояние видится автору следствием метафизической катастрофы). Это — история мысли и исторического самочувствия, рассмотренная через подробно настроенную оптику истории поэзии.

Очень нетривиальное явление гуманитарной мысли этого года — книга Сергея Ситара «Архитектура внешнего мира: Искусство проектирования и становление европейских физических представлений» (М., Новое издательство). Говоря очень коротко, это — книга о том, что естествознание и теория архитектуры в Европе развивались во взаимной обусловленности, как части одного исторического и смыслового контекста, и уходят корнями в — менявшиеся со сменой культурных эпох — представления об устройстве Вселенной. То есть это исследование — нечастый на нашей почве пример объемного теоретического зрения, которое охватывает одновременно, притом без огрубляющих схематизаций, историю художественной, научной и философской мысли.

Теперь надо сказать о трех вышедших в этом году книгах, которые представляются мне важными для самопонимания людей, относящих себя к русской культуре и отождествляющих себя с русской историей.

Одной из ключевых в этом отношении мне видится книга Александра Эткинды «Внутренняя колонизация: Имперский опыт России» (М., Новое литературное обозрение). Будучи переведенной с английского, она имеет все права быть признанной событием русской мысли, хотя бы уже потому, что автор, профессор Кембриджского университета, по происхождению — наш соотече-

-
1. Каковы для вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2013 года?
 2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей с постсоветского пространства?

ственник. Это — осмысление русского имперского опыта в его становлении: того, как Россия, осваивая чужие и собственные территории, подчиняя многие народы, включая русский, приобретала качество империи (а заодно и того, насколько выработанные западной мыслью понятия «колониализма» и «ориентализма» применимы к нашей истории).

Далее, это — книга Михаила Эпштейна «Религия после атеизма: Новые возможности теологии» (М., АСТ-пресс книга), посвященная судьбам религиозной мысли и религиозного чувства в посттрадиционном мире, особенно у нас, после эпохи официального атеизма. В частности, интересно, что советский массовый, общеобязательный и агрессивный атеизм Эпштейн включает в религиозную историю не в качестве ее перерыва, но на правах ее, в своем роде, полноценного звена. Кстати, эта книга (подобно книгам Житенева и Ситара) — тоже пример объемного теоретического зрения. Она построена так, что ход мыслей в ней движется от культуры и культурологии — к онтологии и к (неотъемлемой от нее в глазах автора) теологии. Притом, говоря о культурных состояниях, Эпштейн рассматривает их как часть «судьбы Бытия», как ее культурные проекции. Начав с культурного, он выходит к над- и предкультурному, к тому, что составляет основу всякой культуры и об устройстве чего мы, внутри культуры живущие, можем только догадываться и строить предположения.

И, наконец, важным событием следует признать выход книги Андрея Тесли «Первый русский национализм... и другие» (М., Европа; датирована 2014 годом, но вышла позднее осенью 2013-го). Формально — это сборник статей и рецензий на книги, притом не все из них касаются национализма (например, один из лучших текстов сборника, «Беспошадно зрячая», о Лидии Гинзбург, совсем не на эту тему, зато показывает общие принципы отношения Тесли как исследователя к предметам своего внимания). По сути же, это — начало большого исследования русского национализма (по преимуществу в его корнях, уходящих в 30—40-е годы XIX века, к славянофилам) как явления интеллектуальной и ценностной истории, — не оправдывающего, не осуждающего, вообще свободного от публицистических и политических интенций, но стремящегося понять его смысловое устройство и всю систему его мотивов и последствий. Тесли — человек молодой, ему едва за тридцать и еще далеко до больших синтезов, этот сборник — только начало работы, за развитием которой стоит следить.

2. Из литературы ближайшего постсоветского зарубежья самым большим впечатлением стал сборник стихотворений и эссе ферганца Шамшада Абдуллаева «Приближение окраин» (М., Новое литературное обозрение), в котором, на мой взгляд, тоже — поэтическими средствами — ведется работа философского порядка.

-
1. Каковы для вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2013 года?
 2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей с постсоветского пространства?

*Павел Басинский, литературный критик,
обозреватель «Российской газеты», г. Москва*

«Не было читателей. Кто их знает — почему»

Отвечаю только на первый вопрос. На второй у меня ответ отрицательный. Назвать одно главное литературное событие уходящего года я не могу. Такого главного, смыслообразующего события, на мой взгляд, просто не было.

Но вот несколько:

1. Весной 2013 года Максим Амелин был удостоен премии Александра Солженицына «за новаторские опыты, раздвигающие границы и возможности лирической поэзии; за развитие многообразных традиций русского стиха; за обширную просветительскую деятельность во благо изящной словесности».

Максима я знаю уже немало лет, и он всегда меня не удивлял — изумлял! Это не просто поэт, критик, переводчик и один из самых энергичных издателей нашего времени, но и прежде всего личность, собранная в какой-то цельный сгусток творческой энергии, которая направлена не только вовнутрь себя, но и вовне, питает не только лирическое «я» поэта, но и электризует собой достаточно обширное пространство вокруг.

Максим — человек запредельно далекий от политики. Но он, как верно выразился о нем автор предисловия к его книге «Гнутая речь» Артем Скворцов, — «государственный человек». Потому что мыслит широко, масштабно и неравнодушно.

Два таких разных писателя, как Майя Кучерская и Захар Прилепин, пишут о его стихах:

«Сегодняшняя поэзия легко разложима на три, от силы четыре поэтические манеры. Максим Амелин — поэт, чей голос распознается сразу, потому что его манера — пятая» (Кучерская);

«Тут кто-то написал, что "читать Амелина — это труд". Я бы добавил: полезный труд. Нет, серьезно, я, когда читаю стихи Максима Амелина, всегда как-то даже горжусь собой: вот, думаю, я занимаюсь делом, а не ерундой какой-нибудь» (Прилепин).

2. В «Издательстве Ольги Морозовой» вышла книга Владислава Отрошенко «Гоголиана и другие истории». Владислав Отрошенко — фигура в современной русской литературе весьма редкая и сложно объяснимая. Он родом из Новочеркасска, потомственный донской казак, автор нескольких книг прозы, часть которой посвящена культуре и истории донского казачества, но совсем не в шолоховском ключе, а скорее — казачества как особенной эстетики, сродни эстетике японского самурайства. Живет в Москве и, как это говорится, широко

1. Каковы для вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2013 года?
2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей с постсоветского пространства?

известен в узких литературных кругах. Между тем в Европе книги Владислава Отрошенко переведены на несколько языков, рецензии на них выходят в газете «Фигаро», и он является обладателем одной из самых престижных итальянских премий в области литературы «Гринцане Кавур». Но вот на родине литературная карьера писателя не то что не сложилась, но сложилась не соразмерно его таланту. Если бы книга Владислава Отрошенко «Гоголиана» вышла в семидесятые — в начале восьмидесятых, слава «русского Борхеса» или «нового Андрея Битова» была бы автору обеспечена.

Книга написана в жанре, которому трудно подобрать определение. Это и не проза, и не филология, и не «филологическая проза». Я бы условно назвал этот жанр «опытом идеального чтения». Своего рода тренингом по прочтению русской и мировой классики. Только треть книги посвящена Гоголю, хотя он и является безусловно главным ее героем. Другие ее части (не скажешь: статьи или рассказы) посвящены Пушкину, Тютчеву, Платонову, Овидию, Катуллу, Ницше и другим персонажам мировой литературы. И связано это все только одним — каким-то удивительно восторженным, я бы сказал, детским изумлением автора перед собственными открытиями, которыми он и заражает читателя, превращая его из потребителя литературы в ее своего рода жреца и молитвенника.

3. Ушел из жизни замечательный и истинно народный писатель Борис Васильев. Его похороны прошли довольно скромно. В связи с этим известный публицист Александр Минкин написал: «...Панихида прошла в Центральном Доме литераторов. Множество венков, ордена на подушках, почетный караул в парадной форме, военный оркестр — все было как полагается. Все было очень достойно. Были телекамеры, фотографии, телеграммы от руководителей страны (их не стали зачитывать, но сказали, что есть). Все было, только не было очереди. Не было народа. Не было однополчан. Те, кто не погиб в боях, умерли потом. Не было писателей. Кто их знает — почему. Некоторые, впрочем, пришли; может, десять, может, двадцать. Но ведь в Москве несколько тысяч писателей. И вряд ли найдется хоть один более знаменитый, чем Васильев. И уж точно нет более благородного.

Не было читателей. Кто их знает — почему. Пришли вряд ли более трехсот. В четырехсотместном зале ЦДЛ было полно пустых мест. Триста из 15 миллионов москвичей — две тысячных доли процента (0,002 %).

Умри он на 25 лет раньше — очередь тянулась бы от Манежа. За эти годы в России умерло около 50 миллионов. И несколько миллионов уехало. Эти умершие и уехавшие были читателями.

За эти годы в России родилось около 40 миллионов. И несколько миллионов приехало. Большая часть родившихся и приехавших — не читатели».

4. Вышло два тома антологии «Поэт в России — больше чем поэт. Десять веков русской поэзии», составленной Евгением Евтушенко. Новую антологию Евтушенко, без сомнения, будут хвалить и будут ругать. Будут говорить о его нескромности. Еще бы: назвать собрание всей русской поэзии своей стихотворной строчкой! Еще будут говорить, что это дурной вкус — предвирать каждого поэта своим эссе и даже своим стихотворением по случаю... Но все эти разговоры ничего не стоят. Взглянем на вещи проще. То, что сделал Евгений Евтушенко, мог сделать он один с помощью одного научного редактора

-
1. Каковы для вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2013 года?
 2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей с постсоветского пространства?

Владимира Радзишевского, одного издателя-энтузиаста Вячеслава Волкова («Русский мир») и маленького издательского коллектива. И лучше задумаемся над тем, почему в богатейшей стране мира вдруг не находится средств на то, чтобы знаменитый русский поэт, которому в этом году исполнилось 80 лет, спокойно и без нервов издал подобную антологию? Почему эти деньги приходится собирать по крохам, почему ее полное издание все время затягивается? И главный вопрос: дойдет ли она до учителей-словесников и городских библиотек?

5. В Подмоскowie в г. Пушкино открыт шестой по счету в России вообще памятник Льву Толстому. Его поставил на свои деньги настоятель местного храма Целителя Пантелеймона близ городской больницы Андрей Дударев. До этого отец Андрей был инициатором и спонсором установки в Пушкино бюста Маяковского. И еще он возродил из пепла дачу Маяковского — любимое место отдыха поэта. Именно в Пушкино, правда, на даче Румянцева, на Акуловой горе, было написано его хрестоматийно известное стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче»: «Я крикнул солнцу: / «Погоди! / послушай, златолобо, / чем так, / без дела заходить, / ко мне / на чай зашло бы!» Ну, оно и зашло: «Ты звал меня? / Чаи гони, / гони, поэт, варенье!»

Дача Маяковского, в которой была местная библиотека, в свое время сгорела. Отец Андрей с энтузиастами построили ее заново, по точным чертежам.

«Откуда у батюшки такие деньги?» — спросят. Брал кредиты, продавал собственную машину, работали энтузиасты. Строительство памятника Толстому, например, ревностно охраняли местные бомжи, потому что до этого здесь был натуральный бомжатник. Бомжи очень гордились своей работой охранников стройматериалов. Они пришли на открытие памятника «пьяненькие», но максимально прилично. И они гордо посматривали на народ, когда отец Андрей в микрофон принес им личную благодарность.

6. Евгений Водолазкин получил первую премию «Большая книга» за роман «Лавр». Но об этом уже много написано.

Игорь Бондарь-Тереженко, литературный критик, г.Харьков

Линия отреза: тонкая красная и жирная белая

1. ...Являясь в некотором роде санитаром любого из литературных пространств — то ли российского лесного царства, то ли пресловутых постсоветских дебрей, куда не хаживала нога столичной критики, если там не знают о кафе «Жан-Жак» и Льве Рубинштейне, автор этих строк любит редкие подвиги

-
1. Каковы для вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2013 года?
 2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей с постсоветского пространства?

литературной флоры. Не того, кто наскоком осваивает целину, портит борозду и несется огородами в атаку, а кто скромно и целенаправленно обрабатывает жанровую ниву без особой надежды на широкую известность. Так, например, в жанре альтернативной истории всем надолго запомнились лишь две книжки о будущем — «Кысь» телеведущей Татьяны Толстой и «2017» журналистки Ольги Славниковой. Довольно конспективные, стилизаторские, былинно-сказовые притчи в духе голливудских апокалиптических картин. То ли утопии, то ли антиутопии. У Толстой обыгрывался модус Чернобыля, у Славниковой — ранний Пелевин и малахитовые сокровища сибирских сказаний. Причем роман «2017» — весьма актуальный для нынешних российско-украинских революций — отнюдь не утопия. Поскольку утопия, даже взывая к октябрьскому топору, обещает лучшую жизнь, а в романе Славниковой, наоборот, констатируется деградация. И такую антиутопию можно искоренить лишь напалмом любви — никаких самоцветов по ночам не искать, а усиленно думать, как заморозить социальный конфликт, потревоживший сказочных духов.

А вот как быть, если данная присказка молвит словечко за последователей и Толстой, и Славниковой, аккуратно подчищающих за ними «конспективное» поле и не по диагонали, а с циркулем в руках исследующих языковые лакуны будущего? Речь, конечно же, о «Логопед» Валерия Вотрина, сюжетным перипетиям которого отчего-то веришь больше, чем взятым из космического далека реалиям «Кыси». То есть, в Чернобыле все так и есть, как у Толстой, и двухголовые коровы, и радиоактивные грибки водятся, но вот нафантазированная государственная система не греет душу читателя, поскольку ему милее близкое ретро. Которое колосится как раз в «Логопед». С одной стороны, среди цехового разнообразия ученых сюжетов этой занимательной лингвистической антиутопии весьма мастерски выделены две линии повествования: тонкая красная и жирная белая, словно слетевшая с недавних несогласных митингов, где гласные смешались с фрикативами, паллиативами и общим потоком грассирующего обличения власти. С другой стороны, в «Логопед» просто взят образец советского управленческого механизма, чьи идеологические составляющие — от Союза писателей до жилищной конторы — во все времена были филиалами более внутренних органов государственного организма, и показаны его историко-филологические частности. И все! Схема работает, читатель оживляется и, вспоминая Скуперфильда с кляпом во рту из «Незнайки на Луне», посмеивается над скользким будущим русских коротышек: «Неполядок. Где дволники? Ублать мешок! Лазвелось мусола, хоть сам бели метлу в луки и убилай. И это на плавительственной улице! В стальные влемена небось такое бы не позволили. Влаз нашли бы, чей мешок, и пливлекли к ответу. Сейчас не то. Полядка не стало. А погода-то! Ишь как плимелзло».

А по ночам герою «Логопеда» снится несчастная буква «р», которую он, как котенка, поит молоком из блюдечка.

2. Сегодня вышеупомянутые кухонные сюжеты имперской истории продолжают жить благодаря фабульным вливаниям некогда молочных братьев с постсоветского пространства. Говорят, «Московский дивертисмент» Владимира

-
1. Каковы для вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2013 года?
 2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей с постсоветского пространства?

Рафеенко из Донецка читают и дают почитать знакомым и соседям сердобольные, соскучившиеся по кухонным посиделкам российские столичные филологи. Ведь именно на вышеупомянутой «футурологической» теме въехал Рафеенко в российский литературный истеблишмент, получив сразу две премии одного и того же творческого конкурса для бывших литературных республик СССР. Неудивительно, что его сразу полюбили знающие и понимающие литературоведы, соскучившиеся по мифологическим сказкам и притчам. Их любовь к прозе донецкого автора сопоставима... ну, например, с ажиотажем вокруг фильма «Географ глобус пропил». Не зная, кому и куда передают привет авторы картины, современный зритель, не ведающий о «Полетах во сне и наяву», «Осеннем марафоне» и «Утиной охоте», уверен, что речь о герое нашего времени. Так же «безвременны» чувства российской критики к прозе Рафеенко — ее вряд ли поймут, ориентируясь лишь на поздние тексты, а ранние не догонят и не осилят, потому что в них нужно было жить, а не заглатывать сейчас, задним числом. Кстати, помните пятую жену одного из героев фильма «Черная кошка, белый кот» Кустурицы? Ту самую, единственную голубку из пяти избранниц, которую муж, легендарный цыган-мафиози дядя Гарга носил за пазухой, о чем любил рассказывать своим внукам? Кажется, задолго до выхода фильма, у Рафеенко в неоконченном «Романе об Оли» был герой, который превратил свою любимую жену в булавку и хранил в нагрудном кармане. Мелочь, конечно, носящаяся, словно пыль метафоры, в ворованном воздухе столетия, но все равно приятно. И главное, объясняет личный момент в общественной охоте за улетевшими составляющими мифа.

Ведь к текстам Рафеенко, честно говоря, относишься с известной толикой ревности. Точно так же никто, кроме тебя, ну никак не мог понять (полюбить, вживить-вписать в себя) «Золотого тельца», «Бравого солдата Швейка» и «Мастера и Маргариту» — романов с ароматом эпохи, которые ты, единственный, «правильно» читал — соответственно, в детстве, отрочестве, юности. И каждый раз, оказываясь в компании, где обговаривали, козыряли цитатами и просто хвалились знанием этих нетленок, ты лишь таинственно и самовлюбленно улыбался, не желая ни с кем делиться «истинным» пониманием этих текстов. На подобном историко-генетическом принципе, когда, возможно, в силу временной константы не знаешь, но, как в том анекдоте, сильно чувствуешь — время, эпоху, влияния-настроения и пр. — писались последующие твои книги вроде «Зазеркалья 1910—30-х годов». Которым, в свою очередь, вменяли отсутствие библиографии. Ответ вроде того что «дедушка рассказывал», не принимался, дворянская память поколений еще не бралась во внимание, а принцип бытописания в духе «живой», «устной» истории еще не имел официального статуса в соответствующей дисциплинарной нише.

-
1. Каковы для вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2013 года?
 2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей с постсоветского пространства?

*Алексей Варламов, прозаик,
главный редактор журнала «Литературная учёба», г. Москва*

Читательский сюжет

Боюсь, что я несколько опрометчиво пообещал ответить на вопросы анкеты «ДН», поскольку меня усадили в Казахстан, откуда я и пишу. Разумеется, прочти я что-то казахское, как было бы славно, но я плохой читатель.

Что я в этом году успел прочесть? Перебираю в памяти, и немногое остается. Может быть, год был плохой — не знаю. Но разочарований было немало, в том числе и от тех писателей, кого очень люблю, и потому имена их называть не стану. (Наталья Борисовна Иванова удачно ввела понятие «коррупции дружбы».)

На первое место я бы поставил «Лавра» Евгения Водолазкина — книгу заслуженно награжденную, что можно считать ее единственным недостатком. Это я к тому, что мы привыкли: все подлинно ценное должно быть при жизни не признано, а еще лучше гонимо. А тут нет. Хотя это тоже повод для размышления. Как истосковался современный читатель, если так на эту книгу накинута и единодушно высоко ее оценил. Увидел героя, поверил автору, восхитился языком и почувствовал, что наконец-то его не обманули. У меня-то, собственно говоря, в этом году был свой читательский сюжет, я читаю лекции по современной литературе в университете и потому больше перечитываю, чем читаю новое. Это очень увлекательный процесс — сопоставлять свои ощущения девяностых и нулевых годов с нынешними. Какие-то имена и книги проваливаются, какие-то остаются и возвышаются еще отчетливей (как, например, «Генерал и его армия» Георгия Владимова — великий роман!). И я думаю, «Лавр» как раз из тех книг, что стали не сиюминутной сенсацией, а вошли в русскую литературу прочно и надолго.

А вот что еще войдет, не знаю. Мне чрезвычайно симпатичен Роман Сенчин с его семейной историей «Чего вы хотите?», но об этом я уже писал (см.: «ДН», № 4, 2013. — *Прим. ред.*). Необыкновенно интересный роман написала Олеся Николаева — «Меценат». Я читал его как детектив — а он такой и есть, — но после прочтения много что в душе осталось. А это самое важное — что осталось, что запомнилось. Там очень интересные образы, вообще живой, горячий, тревожный роман. То же самое я сказал бы и о книге совершенно другой породы — «Идиоте нашего времени» Александра Кузнецова-Тулянина. Вообще эта попытка в лоб писать о современности, не бояться ее, не уклоняться от ее вязкости, не бояться загрязниться или отравиться самому — вот что заслуживает похвалы.

Как главный редактор «Литературной учебы», естественно, переживаю за своих авторов и с удовольствием назову тех, кто мне особенно дорог из напечатанных в 2013 году: Альбина Гумерова и Мария Ченцова.

А про постсоветское пространство знаю мало, очень мало.

-
1. Каковы для вас главные события (тексты любых жанров и объемов) 2013 года?
 2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей с постсоветского пространства?

Галерея Татьяны Назаренко



Мы открываем новую рубрику «Галерея», которую будет вести Татьяна Назаренко — заслуженный художник России, действительный член Российской академии художеств, профессор



Татьяна Назаренко

ВОЖДЕЛЕНИЕ. ЛОТ С ДОЧЕРЬМИ. 2012
х.м. 100x200



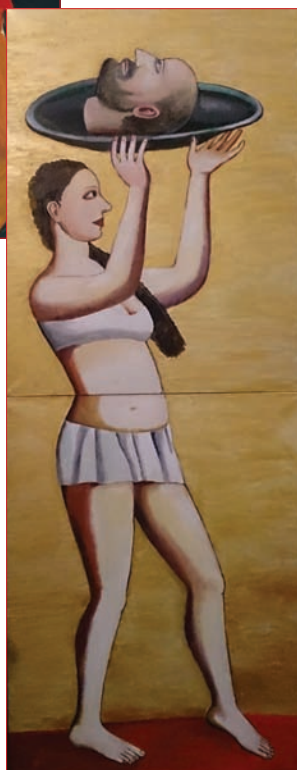
Татьяна Назаренко

ОСЕНЬ. 2013.
х.м. 100x80



Татьяна Назаренко

НОЧЬ ТИХА. 2012.
х.м. 100x120



Татьяна Назаренко

ЮДИФЬ И ОЛОФЕРН. 2011.
х.м. 160x120

САЛОМЕЯ . 2013.
х.м. 160x120

Павел Кузнецов

Юдифь и Олоферн: кроваво-красный цвет

«И по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь»
(Мф. 24, 12)

В начале 2000-х гг. на Западе вышло удивительное издание — пятитомная «История женщин», выполненная коллективом авторов, по преимуществу университетских профессоров-феминисток.

Естественный вопрос: почему «История женщин»? Тогда ведь должна быть и «История мужчин». Но дело в том, что все известные нам «Истории...», начиная с Фукидида и Геродота, трактуют мировую историю как историю мужского сообщества. Подобно тиранам и диктаторам, сочиняющим историю под себя, репрессивная мужская цивилизация творит собственный миф о прошлом, где женщинам отведена ничтожная роль. «Что мы знаем о женщинах? Незначительные следы, которые они оставили, им не принадлежали, — пишут редакторы издания, известные французские историки Ж. Дюби и М. Перро. — Их описывали мужчины... Менее всего им было разрешено говорить о себе».

Чтобы не быть голословным, одна цитата: «Есть начало доброе, сотворившее порядок, свет и мужчину, и злое начало, сотворившее хаос, мрак и женщину». Это — Пифагор. Примерно так же думали Платон, Аристотель и примкнувший к ним Плутарх. Средневековых богословов, на одном из известных соборов всерьез обсуждавших проблему — «есть ли у слабого пола душа?» (постановили — все-таки есть!), цитировать не будем.

Столетиями прекрасный пол был обречен на молчание, и даже христианство, которое в идеале должно было изменить все, в судьбе женщины мало что переменяло, ибо как всем известно, зловерная Ева ввела Адама во грех. Этот главный сюжет иудео-христианской истории толкуется Татьяной Назаренко весьма неоднозначно. «В райском саду» (2007—2013) Ева активна, выразительна, хитроумна, Адам, напротив, предельно пассивен, отстранен — если не сказать недалеко, его полусонное лицо устремлено куда-то вдаль. Кажется, ему нет дела до происходящего, а внешние черты его лица странным образом напоминают Искусителя, лукаво подглядывающего из листвы. Ева, наоборот, похоже, чувствует, что творит, — именно она начинает человеческую историю. И только ангелы в образах современных женщин оплакивают роковой момент...

Образ Евы в культуре двоятся: Ева — это *жизнь*, и она же является символом искушения, греха и несчастья, и одновременно именно она — родоначальница языка: ее слова были первыми; Данте считал Еву основательницей человеческой речи.

Итак, когда же женщинам было именно *позволено* говорить о себе, в данном случае женщинам-художникам? Мы не будем углубляться в муть истории, но очевидно, что намного позднее, чем писательницам, поэтессам, женщинам-политикам и даже женщинам-богословам. Уже столетиями существовали женская проза и поэзия,

женская католическая мистика, коронованные особы вершили судьбами мира, а художницы молчали... Почему? В этом есть нечто необъяснимое, загадочное. Пожалуй, только голос женщин-композиторов зазвучал еще позднее, и даже сегодня он едва слышен. Что же касается художниц, если не считать несколько маргинальных имен в эпоху позднего Возрождения, или Ангелики Кауфман в XVIII столетии, и некоторых художниц в XIX, им по-настоящему было позволено заговорить (или же они сами заговорили?) лишь в XX. Амазонки русского авангарда, художницы 20-х — 50-х гг. на Западе и на Востоке заставили услышать *свои* голоса. Но именно советская эпоха, с ее утопией тотального равенства полов, возможно, позволила зазвучать голосам многих замечательных женщин-художников: они обрели способность *говорить* так же свободно, как и мужчины...

Выставка Татьяны Назаренко «Он и Она» свидетельствует именно об этом. Я не думаю, что здесь можно говорить специфически о женской живописи, просто речь идет об ином взгляде на мироздание. При этом изначально в творчестве Т. Назаренко чувствуется сильное «мужское» начало, о чем свидетельствуют ее работы 1970-х—1980-х гг., в ее главных полотнах основными персонажами являются «настоящие мужчины» — трагические, жестокие, страстные. Жертвы и герои, творцы и свидетели истории («Народовольцы», «Пугачев», «Суворов»).

Ее современники в 1970-е говорили о чем-то значимом и существенном, а она наблюдала за ними с искренним, но чуть отстраненным любопытством («Мои современники», 1974). Герои картин 1970-х вплетались в живую ткань истории («Вечерний ужин») и соединялись с ностальгической одухотворенностью начала XX века. И даже расставание Ее и Его было исполнено красоты, нежности и грусти. («Прощание», 1981) (достаточно сравнить эту работу с «Прощанием» 2013 года — никаких чувств не осталось, только пустота). Мужские особи были еще человечны, а женские — изящны, значительны, выразительны...

Но потом что-то сломалось, рухнуло, рассыпалось. Когда? Почему? Судя по всему, где-то в конце 1980-х — начале 90-х... Что произошло? Социальные катастрофы, гибель Империи, драматически совпавшие с личной судьбой художника? Мы можем лишь об этом догадываться. Но в любом случае, радикально изменилось все. Мужчины, съеденные политикой, потеряли лица («Московские новости», 1990) или обернулись монструозными людоедами (цикл «Люди-животные»). В свою очередь, женщины превратились либо в толсто-бесформенных теток, неотличимых от своих сожителей, или же в более колоритных, но страшноватых девушек с Тверской.

Коммуникация утрачена, взаимопонимание исчезло, все перемешалось в человеческом стаде, остались лишь монстры, людоеды, пожирающие то, что им было некогда дорого. Даже не души, как прежде, а живую человеческую плоть. Канныбалы, поедающие женщину, — либо на десерт, или же как основное блюдо — сквозной мотив творчества художника 1990-х — 2000-х. Она же видит себя в образе канатоходца, балансирующего на канате над безликой и прожорливой толпой.

Сегодняшних назаренковских мужчин можно разделить на три группы. Первые изображены с традиционно русскими атрибутами — бутылкой, рюмкой, закуской, время от времени угощающими «даму сердца» от щедрот своих. Отдохнув от трудов праведных, выпив и закусив, они могут обнять ее или же снисходительно приласкать. Что еще надо?..

Другие — это вечно *спящие*, погруженные в почти летаргический сон, тогда как *она* вынуждена бодрствовать. Именно так: получив свои удовольствия, Адам спит, а Ева бодрствует («Сон», 2013). Ей ничего не остается, как заснуть рядом, или же пребывать в полусне, или наблюдать за ним, как за странным, непостижимым, но одновременно желанным и недоступным животным, которому почему-то Господь дал во владение весь этот мир («Осень», 2013).

И, наконец, последние, самые тривиальные персонажи современности, человекообразные существа, зачастую не имеющие пола, поклоняющиеся исключительно Мамоне и Власти, и пожирающие все, что ни попадаете на пути. Художника, женщину, душу и плоть, — существа, устраивающие языческие пиршества, изображены более чем карикатурно, ибо всерьез о них говорить невозможно.

Но нельзя сказать, что и к женщинам Назаренко комплиментарна. Они все вовлечены, к несчастью, в этот квази-маскулинный мир, из которого нет выхода. Они, по преимуществу, жертвы, рабыни, наложницы — или же существа, как и мужчины, потерявшие собственную идентичность — рыхлые, бесформенные, совсем не похожие на ее утонченных женщин 70-х—80-х (достаточно вспомнить ее великолепные портреты и автопортреты этого времени).

Сегодня Назаренко как художник может позволить себе быть какой угодно: не думать о мейнстриме и художественной моде, быть вызывающе старомодной, небрежной, или, напротив, тщательно прописывать детали, второй и третий план своих работ; стать ностальгически-сентиментальной (цикл «Фамильный альбом»), или даже позволить себе неудачу. Ей решительно все равно, что сегодня «в ходу», что продается, или нет, она делает только то, что исключительно интересно ей самой.

Новейшая выставка, в основном, заостряет и углубляет прежние мотивы, оставляя лишь смутную надежду, что Он и Она когда-нибудь смогут стать иными и вновь обрести друг друга. Работы, представленные здесь, достаточно разноплановы: все те же угрюмые неандертальцы с неизменными мужскими радостями (бутылка, стакан, закуска), самодостаточные в своем доисторическом пространстве. Колоритное мужеподобное существо, поработав, выпив и закусив, имеет право приласкать свою подругу, взяв ее за ляжку — наверное, это и есть любовь? («Строительство дачи», 2013). Две тетки и девушка плещутся в одиночестве в озере, а мужчины, устав от «трудоу праведных», отдыхают на его берегу («Жаркое лето», 2013). Этот почти хемингуэвский сюжет — не только «мужчины без женщин», но и «женщины без мужчин» — существует в творчестве художника достаточно давно, приобретая все новые и новые формы.

Параллельно звучит иная, более высокая, тема — излюбленные автором карнавальные маски, одинокая «любовь» (возможно в гареме?); превосходные по цветовой насыщенности три азиатские женщины («Ветер»); и великолепные «Вещи» — два восточных халата, как два тела, повернувшиеся друг к другу спиной. Казалось, они должны были быть наполнены плотью и кровью, но внутри ничего нет — ни тел, ни душ, одеяния пусты, — смысл более чем прозрачен.

И, наконец, прежний мотив Прощания сегодня оборачивается мстостью — современной Юдифи... Мужчина вновь спит, положив голову женщине на колени, она ласково придушивает его алой подушкой. Умрет он, или останется жить — ей выбирать... («Ночь тиха», 2013) (Библейскими аллюзиями насыщена вся выставка — «Пожар в Содоме и Гоморре», «Сусанна и старцы», «Вождение. Лот с дочерьми»).

Олоферн, согласно библейскому преданию, очарованный Юдифью и потрясенный ее красотой, устраивает роскошный пир. Ассирийский полководец выражает классическую триаду мужских ценностей: «власть, пир и женщина на десерт». Когда же они остаются одни и опьяненный Олоферн, желавший овладеть Юдифью, ждет ее на своем ложе, она его же мечом отсекает ему голову и кладет в корзину со съестными припасами. Древний апокриф преломляется в современности — снова и снова Юдифь заносит меч над Олоферном, и... пока останавливается. Мы не знаем, что будет дальше. Но насыщенная кроваво-красная гамма, увы, не оставляет нам выбора. Цвет крови — знак трагедии. И, начав с грехопадения, с Адама и Евы, мы заканчиваем если не очередным концом Истории, то драматическим финалом «войны полов».

Простор в наследие

Рубрику ведет Лев Аннинский

— В стране идет война — а они поют песенки!
Что будет со страной, их не волнует! А ну встать!
Встать по моей команде!

Мария Ряховская. «Записки одной курехи»

«Куреху» Мария Ряховская придумала, отталкиваясь от «дурехи». Значение нового слова обозначила с продуманной неопределенностью: «нелепая романтическая девочка-подросток... в вечном поиске». Интонирование этих слов в прозе Ряховской по ходу «вечного поиска» придает термину «куреха» загадочную объемность. Не исключено, что тут имеется в виду и чемпионка яйценоскости на птичьем дворе. А может, чемпионка по пусканию табачных колец в студенческом кругу. А может, однофамилица знаменитого в 80-е годы чемпиона питерского рок-джаза, создателя «Поп-механики» Сергея Курехина... Все возможно!

Что еще надо объяснить — так это место действия. Деревня Жердяи. То ли жерди, то ли жители, похожие на жерди... Главное — что под Москвой. Но и в контраст с Москвой. Контраст настолько важен, что соотносят себя жердяйские не столько со столицей, сколько с Тверью, в которой обитают карелы. Не надо придирается: Тверь, конечно, не Петрозаводск, но карелы среди героинь Ряховской (среди родственников романтической девочки) необходимы, чтобы легче было ей оторваться от места действия и воспарить в мечтах над хламной и необъяснимой российской реальностью.

Не менее важно, чем место, — время действия.

«Мне некогда — я веду за собой поколение».

Не проверял, была ли эта реплика в той повести, которую в 1993 году второкурсница Литературного института представила на семинар Александра Рекемчука, — но в романе такая самоаттестация принципиальна. Повесть когда-то опубликовал журнал «Юность», писательница «проснулась знаменитой», — но через два десятка лет после того первого триумфа расширение повести в роман оказалось необходимым именно потому, что приход «курех» все более осознается как приход поколения.

Это то поколение, которое окончательно отрывается от советской эпохи и ощущает небывалый *простор наследования*, уже не связанный жестко ни с верностью социалистической диктатуре, ни с яростью ее отрицания.

Отрицали — яростно! — пасынки первой «оттепели», объявившие, что готовы уйти хоть в сторожа и дворники, лишь бы не иметь никаких дел с оголтелой властью.

С новой властью, перестроившейся на либеральный лад, пришлось иметь дело следующему поколению, которое стало искать виноватых, и нашло: сначала Сталина, потом Ленина, каковых и обличило.

И вот подросли их младшие братья-сестры, лишь в детские и школьные годы заставшие Советскую власть и получившие в наследство страну, сменившую и имя, и систему ценностей.

Мария Ряховская — из этого поколения. Ее роман — одна из первых серьезных попыток осознать его приход. Советские реалии еще пестрят в памяти, но уже не саднят и не заворачивают. Не болят и не пугают. Драмы, кровавившие память отцов и дедов, понемногу отодвигаются в историю.

Прадеда чекисты в революционные годы расстреляли как царского офицера. Сын его (дед рассказчицы) был за это «обижен» на органы. Но была у него еще одна обида: писал жалобы в сельсовет и выше — на бесчинства соседей. Никакого результата. И эти обиды уже где-то рядом, уже равнозначны!

После войны дед обозвал чекистов эсэсовцами, но его не посадили, потому что он был в списке специалистов, отправляемых в Германию: «на бумаге стояла подпись Сталина».

Вот так постепенно имя деспота понемногу нейтрализуется. Дочь Сталина Света и дети Кагановича учатся в школе, где им преподает еще одна родственница Марии Ряховской. И что? Сладкие пайки с липкими конфетами-подушечками. Никаких других чувств.

И все — с улыбкой. «Партийные шишки» когда-то были, где они теперь? «Стройотрядовские куртки» еще есть, отрядов нет. 7 ноября был праздник, теперь кто его помнит?

« — Хм, а покрывало у вас на столе точно такое, какой у нас в школе флаг стоит, возле Ленина, — сказала я.

— А это и есть флаг. Видишь, на нем вождь вышит.»

Флаг стал скатертью. Советские реалии доживают в словесах. Деревенские собираются, чтобы помолиться, проповедник кладет очки на красное сукно. «Совсем как в школе или на партсобрании...» И называют молитвенный дом «собранием».

Еще одна деталь:

«Мой отец (отец рассказчицы. — Л.А.) достал для нее (для деревенской односельчанки. — Л.А.) тексты заговоров у одного кандидата наук, специалиста по фольклору».

Потрясающе! За годы советской власти народ настолько привык все делать «по науке», что теперь у фольклористов добывает — что же? Тексты колдовских заговоров!

Поистине не вдруг поймешь в какой эпохе душа застряла!

Белорусская гостья заламывает руки:

« — Нам терять нечего! Я писала в газеты, в Бел-ту, в ЦК комсомола! Но комсомол глух к нашим просьбам! Просьбам разобраться! Я была у секретаря райкома комсомола! У помощника прокурора! Все молчат! Все повязаны! Сначала Чернобыль! Потом Цой! И это социализм? Помогите! Я себя советским чувствую заводом! Вырабатывающим счастье! Маяковский написал это и застрелился!...»

Приехала в Москву искать правду...

Другие тоже едут. Идут к Мавзолею. То ли помолиться, то ли помочиться. Возможны опечатки.

Вот я и говорю: все возможно. Простор! Пришло поколение и озирается в поисках.

В поисках чего? Правды? Истины?

Ответ на этот вопрос — первая острая мысль, вокруг которой собирается душевная энергия Курехи.

В поисках... знаете чего? Клада!

Какого такого клада? Откуда он, где, кем запрятан?

Неважно, кем. Может быть, наполеоновским генералом, когда французы уходили из Москвы (естественно, через Жердя и уходили), а может быть, буржуинами эпохи экспроприаций, а то и богатеями давно прошедших царских времен. Наша деревня, конечно, лучшее место для клада. Главное — узнать, где он, и схватить, пока другие не схватили.

Найти то, чего не положил. Присвоить то, что плохо лежит. А поскольку плохо

лежит в отечестве все, что еще не заграбастано, — то все это клад. Клад — это все, чего у тебя нет. В полном соответствии с вековым народным образом жизни. «Умеючи и заклятый клад вынимают». «На клад знахаря надо». «Кто знает, достанет».

Не положил — а ищи! Изумительная вариация извечной мечты: перехватить задарма. Прожить на халяву.

Повальное воровство наше — вовсе не нарушение закона. Это именно образ жизни. Кто где чем занялся, тот оттуда и «потаскивает». Берет без разбора, если по случаю. Или — с разбором, если есть возможность пошарить на пепелище. «Украсили шляпы, — причитает погорелица. — А старые пальто оставили...»

Да и пожар-то вряд ли случаен. Наверняка поджог. Пьяница знакомый запалил. И не скрывался: как бы в шутку, куражась, обещал поджечь, и в ответ владельцы брошенного дома, куражась, «не верили».

Пьяницу потом все-таки решили посадить, и он, сменив вольную жизнь на казенный кошт, исчез на *просторах* родины чудесной (ныне СНГ).

А может, сделал вид, что исчез. Получил справку об «инвалидности» и продолжает пропивать то, что по случаю заработал, а больше — перехватил опять же на халяву. Без пропойцы ведь ни одно дело у нас сладиться не может. «Выпить, украсть — вот и все радости».

Колотят в дверь.

Хозяйка:

— Батюшки! Гантелей колотит! Господи, — взмолилась ведьма, — что мне с ним делать? Сосед мой! Опять напился!.. Сначала гантелей колотит — а потом в дверь трезвонит, пока не откроешь. А откроешь — орет и матюгается, да по морде норовит съездить. Гром его разрази!

Гром его не разразит, просто гром — это деталь народного пейзажа, овеванная своеобразной героикой. Предмет непрестанных шуточек, когда не поймешь, что говорится для понта, а что всерьез.

Этот бесконечный притворный базар — общий фон общения. Все играют роли. Притворяются простаками. Неграмотными, потому что грамотность — повод для подозрений. Простоватая бабка вдруг вернет что-нибудь из Бодлера или из Цветаевой — но такое лучше «не заметить»: она ж, бабка, неспроста скрывает свое прошлое, наверняка оно «барское», то есть «буржуйское», то есть «господское», или, как теперь скажут: «интеллигентское».

Сквозь притворный треп о том, кто красивей: Рейган или Штирлиц, и на кого из них больше похож умирающий дедушка, пробивается дедушкина фраза:

— Не переживайте. Все идет как надо. Глупо сопротивляться законам природы... — Потом дед добавляет: — У Маши приданое теперь есть, значит, все в порядке.

Эта реплика, полная достоинства и старинной душевной силы, пробивается сквозь нынешнюю притворно-балаганную трепотню.

«Однажды она позвонила и спросила, ем ли я яблоки, а потом сказала, что дедушка умер».

То ли жестокость прикрыта благодушием, то ли благодушие жестокостью.

Ссорятся ритуально. Дерутся насмерть. Едва не покалечив друг друга, пьют на мировую. И опять ссорятся. Опять ритуально. И от всей души.

Сходятся парни, местные и приезжие. «Некоторое время уходит на то, чтоб придумать повод для драки. Когда он находится, бьют друг друга до крови. Девкам при этом нечего делать».

Девки, возненавидевшие друг друга «из-за парня», договариваются выпить, чтобы выяснить отношения. Одна подсыпает другой какую-то гадость в стакан. И та — выпивает! Хотя ясно, что без гадости тут не обойдется! Из-за отравы делается инвалидом. И что же, родные, пришедшие в отчаяние от такой беды, пытаются ее

вылечить у медиков? Да неизлечима же она! И не пытаются. Ищут колдунью, ведунью, знахарку — снять проклятье. У филологов заговоры выверяют. «По науке».

Жизнь продолжается.

«Один пьяный хмырь лягнул другого, и тот, падая, повалил два стула. Грохот».

Нормальный грохот.

Что поразительно в описаниях жердяйской жизни у Марии Ряховской: этот образ жизни понят не как навязанный той или иной властью, а как всегдашний, природный. Независимо от того, царь ли сидит в столице или Наполеон стоит на Поклонной горе. Этот образ жизни — не советский, не просоветский, не антисоветский и не постсоветский. Более того, он — при всех «пейзажных» различиях — не городской и не деревенский. Он всеобщий.

Это становится видно, когда из жердяйских каникулярных наездов героиня Ряховской выбирается в столичную молодежную круговерть.

Тут уж вам не бестолочь деревенская, когда не поймешь, не кабаны ли это вылезли на тропу, а надо в темноте поостережться.

«Отец набрал соломы, связал пук и поджег. С факелом над головой побежал по тропе. Мы видели, как он с клоком огня в руках добежал до ближнего кабана. Постоял там и медленно вернулся к нам. Кабаны оказались тюками сена. После я рассмотрела. Полукруглый тюк, высотой с меня, стянут железной проволокой. Только тут мы увидели, что поле голое. Новая модель комбайна выстреливала такие тючки.

Отец шел последним, посмеивался над собой, оправдывался:

— У нас на Урале стог сена так и называется — кабан!»

Замечательно. Сквозь бестолочь продолжают торчать модели комбайнов колхозной эпохи. И все равно — бестолочь. Там кабаны и тут кабаны! Жердяйство.

А теперь — Москва, теперь — Ленинград! И не Штирлиц, который, засланный в Германию, сохранял там верность московской законной жене. Теперь у Курехи новые кумиры.

И первый из них — Цой.

Почему именно Цой? Почему именно он — первый среди кумиров грандиозной столичной тусовки?

— Идет на меня-а война-а!..

Цой — воин. Борец с мировым злом. Он злу не поддается. В его песнях — противостояние той белиберде, которая вечно нас окружает и накрывает. В его песнях — обещание прорыва.

— Если есть стадо — есть пасту-ух... Если есть тело, должен быть ду-ух... Если есть ша-аг, должен быть — сле-ед!

Все резко и определенно, все просто.

Высшая точка творческого слияния:

«Зачем парни и девки употребляют наркотики, когда есть Цой?»

Дальше некуда. Парни и девки продолжают свое дело, то есть свое безделье, подпертое наркотой и одурением саморекламы. Хлещут вино только для того, чтобы хлестать, хотя ценители знают: вкус грейпфрута тоньше и сложнее. Но проще — тусовки, хипповские, панковские. Делят пространство. Здесь же анархисты в красно-черных феньках. И специалисты по имитации сумасшествия. Притвориться сумасшедшим — лучший способ сказать миру: «Я не ваш!» Да и от армии закосишь. Тогда уж простор — весь твой!

Что-то тут знакомое слышится, ведомое по странствиям среди веселых заплаток Жердяйки. Заплата заплатке рознь. Веселые ситцевые заплатки притворных городских сумасшедших — не то, что неподдельная рванина деревенских забулдыг. И все же общая ниточка тянется из тех и этих прикидов, и из этой общепринятой манеры подкатываться со знакомством. Попросить сигаретку. А если повезет, то и «вписку». То есть жилье поклянчить — приткнуться. А то ведь и приткнуться некуда.

Правда, у жердяевских пьяниц вопрос не стоит так фатально: те и в брошенном обгоревшем сарае перебудутся, а вот жажда задарма срубить закусь — все та же. Как и закосить бабло за здорово живешь. Кругом ксивники, хайратники, феньки. А сверхзадача у всех одна: проскочить на халяву.

— Покормите меня, девчонки!

Он ест, а на нем все класает и звенит: зубы, цепи, молнии на рукавах. Может, он металлист.

— Слушай, а вот растолкуй нам, почему ты панкуешь, а не хиппуешь.

— Да потому, что фигово жить, и денег нет.

А заработать?

Где? Как? Да и неохота.

«Парадокс жизни — жить не хочется, а есть хочется».

Ну, устроился бы на какую-никакую работенку. Нет, запахло. Да и найди такую непыльную, чтоб ничего не делать, а получать. Хорошо, если родители кормят (мать на почте работает, про отца речи нет), а если и родителям запахло, и жене:

«Боб хочет есть, но ей лень готовить».

Боб — очередной гуру, приковавший воображение Курехи после того, как Цой героически погиб в войне с мировым злом (разбился на мотоцикле). Новый властитель дум маячит под загадочными литерами: «Б» или «Бо», потом наконец реализуется как всамделишный и элементарный «Борисов».

Наконец, героиня романа пробивается послушать своего нового гуру.

Немного поперебивав струны, гуру возвещает:

— Россию-то спасать надо. Русь спасать. Русь, понимаете? — хихикнул, театрально загрузил. — Объединяться надо русским, и никакие нам казахи не нужны.

Что извлекает любознательная Куреха из этого «полуназидания-полухохмы»?

— «Ни-че-го».

Однако я, читатель, знающий писательское родословие рассказчицы, извлекаю еще кое-что.

Почему нам «не нужны» именно казахи? Что такое было «в степях Казахстана», что засело в сознании героини.. или в подсознании? В предсознании?

Опыт отцовский. Опыт писателя Бориса Ряховского, дочь которого Мария и взялась за перо, унаследовав его талант и одержимость текстом.

У нее в сознании что отложилось? Жердяевская дурь и московско-питерское умничание. Что и описала она в романе. У отца другое отложилось — семейное предание о трех поколениях русских переселенцев, явившихся когда-то в Казахстан строить общую державу. Так что Марии Ряховской есть что наследовать в этих недостроенных просторах.

Пока же отец появляется на ее нынешних страницах в основном как благодушный комментатор описываемых там метаний. Оторвавшись от пишмашинки (теперь уже от компьютера), отец иногда включается в историософские споры, кипящие вокруг дочери («шпарите из Дионисия Ареопагита»), отец весело обнажает первоисточники... а глаза при этом смотрят тревожно...

Впрочем, на явление очередного кумира отец отзывается со стоическим юмором:

— Гляжу, поднимается медленно гуру...

Дочь описывает отца большей частью издали, когда его лысина мелькает в толпе, отцовы наставления воспринимает с фамильным юмором, но им следует: с юных лет записывает «услышанное-увиденное» в дерматиновую тетрадь, купленную ей для этой цели отцом.

«Услышанное-увиденное» овевается свечением кумиров, но от Цоя, Башлачева, Моррисона и... Борисова понемногу углубляется до таких «отдаленных предков»,

как... Цветаева, Георгий Иванов и другие... «нелепые идеалисты»... например, князь Мышкин...

— И граф Толстой? — не удерживаюсь я.

— Толстой был хиппи по духу! — радостно кричит рассказчица в один голос с подругой. Услышал бы отец этот перечень, добавил бы, выглянув из своего кабинета:

— Абай Кунанбаев.

В финале раздумий героиня романа приходит к такому самоопределению:

«Курешество — делаешь не то, говоришь не то... Если любовь — так обязательно выдуманная».

Замечательное самосознание, от которого уже только шаг к тому, чтобы делать *то*, говорить *то*, и любить *то*, что действительно любишь, во что веришь и что признаешь делом своей жизни.

Но как это может произойти с поколением, которое получило в наследство простор, очищенный от идей и опустошенный от химер?

Вот придет кто-нибудь крутой и скамандует:

— В стране война — а они поют песенки! А ну встать!

Этот приказ я — ради стилистического эффекта! — поставил в эпиграф. В нынешней реальности приказы отдаются мягче.

Зал, где выступает «Боб». То есть «Б». Напор фанатов. Давя друг друга, рвутся внутрь. Стоят в проходе, сидят на плечах, лезут на сцену. «Отойдите, вы же нам мешаете снимать!» — увещевают операторы. Полчаса не могут навести порядок. Наконец, появляется «Б», он же «Бо». Протискивается сквозь ряды поклонников и поклонниц. Одна из них лежит прямо на сцене, изнемогая от преданности. Он приседает рядышком на корточки, просит подвинуться: нельзя заслонять динамики. Лежит! «Ну, что за варварство», — увещевает он мягко и тихо. Все равно лежит! Тогда «Б», он же «Бо», он же просто Борисов, так же ласково берет ее за шиворот и оттаскивает вглубь сцены. Там она и остается лежать, парализованная от счастья, что он с ней общался на виду у всей тусовки.

Я хочу представить себе, что подумает об этой сцене трезвый наблюдатель, человек другого опыта, не связанный таким упоением попсы. Что он шепнет на ушко счастливице, которая готова лежать на звукодинамике, только бы все оценили ее любовь?

Я думаю, он повторил бы то, что сказал Курехе один трезвомыслящий собеседник:

— Не знаете вы настоящих несчастий.

Вот она, правда. На фоне тысячелетней истории, писавшейся слезами и кровью, выросло наконец неслыханно счастливое поколение. Такая безнаказанность выбора, такой простор самовыражения, такое пространство наследования...

А ну как история опять примет за свое, и нагрянут настоящие несчастья?

Бог не приведи.

The Golden Pages

In view of the jubilee of the magazine we open a new heading «The Golden Pages» under which some best works of our authors will be gathered — prose, poetry and translations which had been first published on the pages of «DN».

In this issue: lyrics by Oleg Chukhontzev and his translations from Paruyr Sevak and Oyar Vatzietis — the classics of Armenian and Lettish poetry of the second half of the XX century; and also the actual essay of Dmitrij Bickov on the novel «The Sign of Trouble» by Vasil Bickov who was awarded the Lenin Prize for it in 1986.

Anastasiya Ermakova. Plasticine

The characters of A. Ermakova are of those who need to take care of somebody: old people, children, homeless, people in trouble. In this new novel the wards of the narrator who stepped on the path of volunteers are the inmates of a children's home. An up-to-date woman, up-to-date children, not very lucky. They need so much to be warmed, petted, helped, molded into personalities — they are like plasticine, aren't they? But who models whom — this is the question.

Poetry

In this issue we present new poems by Inna Kabish, Ilya Falikov and Evgeniy Solonovich — the best-known translator of Italian prose and poetry into Russian. We also publish «Herbarium of Brightest Mornings» — collection of poems by Imant Auzin, the well-known Lettish poet, translator and regular author of our magazine who passed away last year. Translated by Irina Tzigsalskaya.

Our traditional yearly round-table by correspondence.

Writers and literary critics from Russia and «near abroad» are summing up the year 2013 — its main events, the new tendencies and new names on our home and wide postsoviet maps. As usually the judgments are subjective and partial: «the leftish glamour» is flourishing», «the experience of «ideal reading» has been noticed», «the kitchen plots» of the imperial history safely survive», «it's more interesting to re-read than to read something new», «the new interesting, vivid, hot, alarming novel has emerged»

Gasan Guseinov. Russian Language in Today's World

«What is the global message which makes the texts written in Russian vitally necessary for the others today?» — this is the question the author asks himself. To answer it he deepens into the history of functioning of the Russian language in the past and tries to look into its future.

Under the heading «Cultural Chronicle»

we open the new section — «The Gallery» which will be conducted by Tatyana Nazarenko — the Honoured Artist of Russia, full member of the Academy of Arts, professor. She will be introducing the best to her mind modern artists from Russia, CIS and the Baltic states.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

На журнал "Дружба народов"

можно подписаться с любого месяца во всех отделениях

Почты России

подписной индекс в каталоге "ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ" —

70250

подписной индекс в зеленом каталоге "ПРЕССА РОССИИ" —

91826

Также можно оформить подписку *online* на сайте журнала,

на его странице в Живом журнале и в Журнальном зале

druzbanarodov.com

<http://druzba-narodov.livejournal.com/>

<http://magazines.russ.ru/druzhba/site/podp/>

В ДН 12/2013 на стр. 211 в статье И.Б. Роднянской "Трудно не быть собой" ошибочно указана книга А. Василевского "Еще слова" вместо его книги "Трофейное оружие". Редакция приносит свои извинения читателям, автору статьи И.Б. Роднянской и автору книги А.В. Василевскому.

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой